

А.И. Левитов

*Жизнь
МОСКОВСКИХ
закоулков*



очерки и рассказы



Жизнь московских закоулков: очерки и рассказы / А.И. Левитов; предисл. и
коммент. Е.Савиновой //Индрик, Москва, 2013
ISBN: 978-5-91674-251-0
FB2: Наталия Цветкова "nvcvet", 13.08.2015, version 1.0
UUID: 29ebcf19-3b48-11e5-9717-0025905a069a
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Иванович Левитов

Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.

Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.

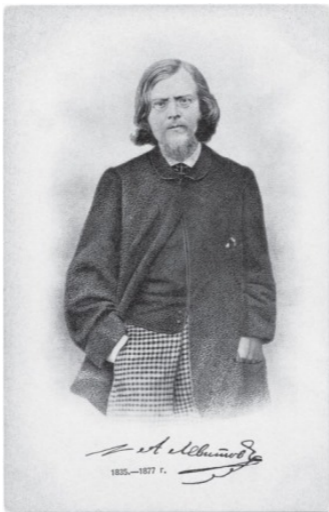
Содержание

#1	0007
Живописатель московских нравов	0008
Перед Пасхой (московский фельетон)	0038
Московские комнаты «снебилью»	0056
I Вступление	0056
II Съемщицы	0063
III	0073
IV Обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины коммерческие мистерии	0096
V Глава, имевшая было начертить легкую характеристику лиц, согнивающих в комнатах снебилью	0139
VI Наружный вид дома с меблированными комнатами	0143
VII Коридор комнат и его жильцы	0146
VIII Жильцы комнатные, или господа	0168
Крым	0204
I	0204
II	0216
III	0227
IV	0248
Грачевка	0258
Аркадское семейство , или Новая камелия в кепи (московская идиллия)	0303
I	0304

II	0340
III Как бы эпилог	0369
Погибшее, но милое создание	0374
I	0374
II	0383
III	0403
Московская тайна	0438
I	0438
II	0462
Нравы московских девственных улиц (писано, памятуя о погибшем друге)	0483
I	0483
II	0485
III	0502
IV	0514
Счастливые люди	0531
I	0531
II	0552
III	0565
Запивоха	0621
I	0621
II	0646
III	0662
Графчик	0685
I	0685
II	0690
III	0697
IV	0702

V	0704
VI	0707
VII	0725
Праздничный сон	0730
I	0730
II	0732
III	0735
IV	0743
V	0758
Верное средство от разорения (посвящается А. К. С-ву)	0776
I	0776
II	0781
III	0791
IV	0799
V	0817
VI	0832
Об авторе	0849

**Левитов А. И.
Жизнь московских
закоулков: очерки и
рассказы**



Александр Левитов. Литография. 1870-е гг.
Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

Живописатель московских нравов

Имя Александра Ивановича Левитова появилось на страницах русской периодической печати в конце 1850-х гг. Литературная критика благосклонно приняла самобытного писателя, правдиво отображавшего быт обитателей предместий, городских окраин и столичных трущоб[1]. Беллетристические опыты молодого автора обращали на себя внимание органичной связью с жизнью, ярким и образным языком, точностью описания деталей и характеров, за которыми чувствовался тяжкий личный опыт.

В период подъема революционных настроений перед Великой реформой закономерным было возникновение целого ряда беллетристов, которые сконцентрировали свое внимание на нескончаемой борьбе «маленького человека» за то, чтобы выжить в несправедливом мире. Произведения литераторов «народного реализма», таких как Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, Ф. М. Решетников,

И. А. Кущевский, М. А. Воронов, Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский и других, представляли собой социальные очерки, отличительной особенностью которых являлась скрупулезная документальность.

Писатели-разночинцы сделали комментаторами и исследователями народной жизни, привлекли внимание общества к человеку из низов, которому суждено было стать одним из основополагающих типов русской литературы. А. И. Левитов, являясь одним из самых ярких авторов в этой плеяде «певцов народного горя», считал важным без прикрас рассказать о своем герое: «Лик Божий, кажись, давно утерял, давно уж он весь от жизни измызган и заброшен за забор, как бабий истоптанный башмак, а эдак вот проживешь с ним, побеседуешь по душе, ан там, на глубито, внутри-то, она и светится, как светлячок, душа-то Божья, и мигает. А кто к нему подойдет, к этой бедноте-то, вблизи-то, лицом к лицу, кто это будет до души-то этой докапываться?»[2]

Однако вопреки ожиданиям современников, это драматическое направление в лите-

ратуре не стало мощным этапом в ее эволюции: беллетристы-народники, а среди них и А. И. Левитов, не создали значительных работ. Критик и публицист А. М. Скабический с разочарованием отмечал: «Вместо тщательно обработанных, художественно-стройных и законченных произведений, какими мы так избалованы всей предыдущею литературою, они подарили нас рядом неоконченных отрывков и бесформенных клочков, неуклюжих, нестройных, отягощенных местами длинными и скучными рассуждениями, местами фотографическим сырьем или бесконечными описаниями мелочных деталей» [3].

Вместе с тем именно эта подробность изложения и почти этнографическая точность делает работы подобных авторов, а Левитова более чем кого-либо, особенно интересными для историков и исследователей культуры и быта русского общества второй трети XIX в. Жизненная правда очерков Левитова объясняется тем фактом, что он не просто описывал мир городских закоулков и притонов: он находился внутри этой кошмарной яви и на своем пути к творчеству прошел тернистый,

«до кровавого пота трудный» путь[4]. «Он не фотограф, не простой наблюдатель со стороны, а человек, всецело принадлежавший той среде, которую изобразил он в своих поэтических и художественных созданиях», – писал его первый биограф, публицист и этнограф Ф. Д. Нефедов[5].

Александр Иванович Левитов родился в семье священника 20 августа 1835 г. в большом торговом селе Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии[6]. Семья была большая и работающая. Отец Иван Федорович содержал постоялый двор, где находили себе приют приезжавшие на ярмарки сельские жители, и открыл в собственном доме школу. Сыну, который очень рано выучился чтению и письму, он поручил преподавание среди самых маленьких, и тот восьми лет вел уже целый класс.

О своем детстве Левитов всегда вспоминал с теплотой, нередко вплетая впечатления раннего периода своей жизни в рассказы и очерки. Живописные окрестности родных мест, детские забавы, увлекательные путешествия в степь рождали в его романтической

душе светлые переживания и надежды. Даже в зрелые годы Левитов не искоренил в своем сердце чувства щемящей нежности к пережитому в Добром. «Мне вспоминается мое прошлое, когда я был не один, – в состоянии гнетущей тоски писал он в рассказе «Перед Пасхой». – Сельская церковь, думаю я, иллюминирована теперь общими стараниями прихода; на улицах веселая, детски радующаяся жизнь. Перед образами ярко горят свечи прихожан, еще ярче блестят им в глаза парчовые ризы священников. Мой десятилетний дискант валдайским колокольчиком звучит с клироса, заглушая доморощенный хор».

Когда мальчику исполнилось десять лет, отец задумал отдать его в Лебедянское духовное училище. В Лебедяни жило семейство деда по материнской линии – протопопа И. А. Щепотьева, с сыном и племянником которого Александр быстро сдружился. Каноны богословия Левитов осваивал без особого труда, так как обладал блестящей памятью. Свободное время мальчик посвящал чтению книг в библиотеке деда, увлекался поэтическим творчеством. Успешно проучившись

большую часть года, он получил разрешение осваивать науки дома и приезжать из родного села только для сдачи экзаменов. Таким образом, постижение азов церковного образования проходило для него необременительно и не сдерживало его возвышенной натуры.

Окончив училище, Левитов продолжил образование в Тамбовской губернской семинарии, где несколько лет находился в обстановке беспредельных унижений. В рассказе «Петербургский случай» он описывал эту среду тупой жестокости и бессмысленного доносительства, где обитало «коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель... Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими...»

Литературные занятия и поэтические опыты Левитова, увлечение его «светскими» книгами таких авторов, как Шиллер, Диккенс, Гете, Теккерей, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь,

вызывали недовольство «богомудрых» педагогов, видевших в этих пристрастиях «вернейший признак злохудоженой души». «Преступное», с точки зрения семинарского начальства, чтение стало предметом слезки за Левитовым и его единомышленниками. «Меня обвинили, без суда и следствия, – вспоминал он позже, – в приводе на квартиру женщин, в непотребном ругательстве своего начальника и приговорили к восприятию розог... С минуты приглашения меня и всего класса в экзекуторскую, я потерял сознание... Что было потом, я не знаю; знаю только, что я был приговорен к смерти; у меня открылась нервная горячка, и я очнулся только через месяц, и в больнице...»

В 1855 г. он бросил семинарию за год до ее окончания и решил отправиться в Москву, чтобы поступить в университет. За неимением средств он прошел почти 500 верст пешком, зарабатывая себе на пропитание случайными заработками. Но в число студентов Левитов зачислен не был и решил стать слушателем Петербургской Медико-хирургической академии.

На помощь из дома он более рассчитывать не мог: мать его внезапно умерла, отец вторично женился и оставил не только Александра, но и младших детей без материальной поддержки. Перебиваясь с хлеба на воду, Левитов в течение двух лет скитался по петербургским «комнатам снебилью», терпел болезни и лишения, продолжая и учение, и увлечение словесностью и литературным творчеством. В это время он написал несколько глав своего первого произведения «Типы и сцены сельской ярмарки» и вынес рукопись на обсуждение в маленьком литературном кружке товарищей, куда также входили Е. И. Щепотьев, И. М. Дмитриевский, Г. И. Архангельский, Н. В. Успенский и некоторые другие. Одобрение друзей вдохновляло Левитова, и современники вспоминали его яркие импровизированные выступления и рассказы на «беседах» в кружке, которые были проникнуты мягким юмором и большой любовью к своей малой родине.

Он был обаятельным человеком и приятным собеседником. Как писал один из его друзей, «наружность Левитов имел весьма

симпатичную; немного выше среднего роста, тонкий и стройный, с овальным лицом, щеки которого горели ярким румянцем, и длинными белокурыми волосами, падавшими локонами по самые плечи; глаза серые, вдумчивые и светившиеся умом; голос у него был грудной тенор, тихий, певучий и глубокий, словно он исходил из самого сердца!»[7]

Деятельность кружка вызвала неприятие охранного отделения, а Левитова, которому свойственны были обостренная впечатлительность и горячность в суждениях, в ноябре 1856 г. арестовали и препроводили в Вологду, а затем небольшой городок Архангельской губернии Шенкурск. В течение двух лет он находился в ссылке, исполняя там обязанности фельдшера, чтобы компенсировать Медико-хирургической академии казенные деньги, выплаченные ему ранее в качестве стипендии.

Оторванность от единомышленников, нелюбимый труд, глубокая разочарованность привели молодого человека к глубокому нравственному кризису. Он начал пить, пристрастился к игре в карты и все реже стал об-

ращаться к беллетристической деятельности. Друзья в письмах всячески ободряли его. Затем хлопотами доброжелателей он был переведен в Вельск и вновь в Вологду, где был освобожден в 1859 г. «Время, проведенное им на севере, несомненно, было одним из самых тяжелых в его жизни; он не любил говорить о нем, – с грустью вспоминал о Левитове публицист А. Н. Пыпин, – изредка только упоминал потом приятелям о своих тяжелых испытаниях... Здесь, по-видимому, началась и та несчастная слабость, которая, вместе с житейскими неудачами, так изломала внутреннюю жизнь и материальный быт Левитова: добрые сострадательные люди уверили его, что от всяких бед можно найти утешение в вине...»[8]

Весной 1859 г. Левитов почти без гроша тронулся в долгий путь, чтобы повидать родных, но добрался до Лебедяни он только через полгода, потому что, по своему обыкновению, преодолел это огромное расстояние пешком. Так же пешком он дошел затем до Москвы.

Первое время он мыкался без работы, голодал, ночевал на Москворецкой набережной

под лодками. Затем, получив от родных немного денег, смог снять жилье на Грачевке, и тут в его полной невзгод и лишений жизни наступил период сравнительного благополучия. Его соседом по меблированным комнатам оказался старый наборщик типографии «Русского вестника», который свел его с известным литературным критиком Аполлоном Григорьевым. Тот благосклонно принял рассказы Левитова, заметив: «У вас оригинальный талант. Есть что-то гоголевское, но это у вас свое, самобытное...»[9]

Александр Иванович произвел хорошее впечатление и на М. Н. Каткова, который предложил ему место помощника секретаря редакции и постоянный заработок. В 1861–1863 гг. очерки Левитова охотно печатали многие московские и петербургские журналы. В «Московском вестнике» были опубликованы «Сладкое житье», «Время» напечатало «Ярмарочные сцены». В «Русской речи» вышли «Целовальничиха» и «Проезжая степная дорога», а в «Зрителе» – «Мирской суд». Его «сцены» и «картины», как называл он свои очерки, брали к публикации издания различ-

ных направлений: «Развлечение», «Якорь», «Народное богатство», «Северное сияние», «Новое время», «Библиотечка для чтения» и другие.

Имя Левитова стало приобретать известность в литературной среде. Он приободрился, окреп, стал одеваться по моде. Изменения наступили и в его личной жизни – он встретил женщину, с которой не расставался до конца своих дней. Это была простая крестьянская девушка-сирота, приехавшая в город на заработки и трудившаяся в швейной мастерской. Робкая и неустроенная, она любила Александра Ивановича, но не стала ему опорой и не отвратила его от дурных привычек трудной молодости.

Вечному скитальцу Левитову не удалось надолго удержаться в редакции. Вскоре он вновь попал в тиски бедности, безысходной тоски и убогого прозябания в трущобах. Об этом времени он так писал в 1863 г. во вступлении к очерку «Московские комнаты снебилю»: «Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бед-

ность». В пореформенные годы многие московские журналы были закрыты по цензурным соображениям, и, живя в Москве, Левитов постоянно наведывался в Петербург в поисках литературного заработка. А в 1863 г. он решил туда переехать.

Жизнь в Северной столице значительно расширила круг знакомых Левитова: у него появились контакты с издателями и деятелями русской культуры. Однако он остался в стороне от полной идейной борьбы литературной жизни Петербурга, а нездоровье заставило Левитова вновь вернуться в Москву, где он решил попробовать себя как редактор нового общественно-политического альманаха «Звезда». Сотрудничать в журнале согласились известные писатели В. А. Слепцов, Г. И. Успенский, Марко Вовчок, но правительство запретило альманах, и Левитов потерпел страшные убытки.

Чтобы как-то свести концы с концами, он уехал в Рязск, где устроился преподавателем русского языка. Но и педагогическая карьера у него не сложилась. Ему было душно и тоскливо в атмосфере захудалого городка, где сво-

бодное творчество вызывало недоумение и подозрительность начальства. В 1866 г. он вновь вернулся в Москву, и с этого времени стал вести жизнь вечного странника, постоянно меняя места службы, переживая месяцы творческой беспомощности и беспробудного «запиво́йства».

Особенно мучительны были последние пять лет жизни Левитова. Его заработок был ничтожен, а здоровье окончательно надломлено. Литературная репутация писателя оказалась подорванной получением многочисленных авансов в редакциях, в уплату которых Левитов давал лишь наброски или отрывки из так и не завершенных произведений. Он угасал, терзаясь мыслью, что начатый им роман «Сны и факты» так никогда и не будет закончен, и, говоря о своем «ненаписанном» творении, плакал.

На последней стадии чахотки Левитов жил в сырой, нетопленной «клетушке», совершенно лишенной каких-то удобств. Чтобы добыть из какой-то мелкой редакции денег, он в декабрьскую стужу вышел из дому в летнем пальто и жестоко простудился.

4 января 1877 г. Левитов умер в Московской университетской клинике и был похоронен на Ваганьковском кладбище на средства, собранные «по подписке» среди его знакомых.

Смерть несчастного «пловца жизненной пучины», так и не создавшего крупных авторских работ, казалось бы, должна вызвать полное забвение его произведений. Однако этого не произошло: в 1884 г. были опубликованы многие из его рассказов, в 1905 г. – издано Полное собрание сочинений, а в 1911 г. литературное наследство писателя вновь было переиздано[10]. Очерки А. И. Левитова неоднократно печатались и в советское время, привлекая читателей впечатляющим описанием «темного дна» реальной жизни, жизненностью человеческих характеров и эмоциональностью языка.

Издание книги А. И. Левитова «Жизнь московских закоулков», которое предприняла Государственная публичная историческая библиотека, также станет большим подарком для любителей русской старины. Настоящий сборник включает тринадцать очерков и рас-

сказов писателя, объединенных одной темой и рисующих яркие жанровые «сцены» быта людей, населявших городские окраины и «меблированные вертепы».

Это издание 1875 г. повторило появившиеся в печати в 1868 г. «Московские норы и трущобы», составленные автором из публикаций более раннего времени. Таким образом, читатель сегодня имеет возможность познакомиться с произведениями этого «рисовальщика народных нравов», написанными им в годы наибольшего творческого подъема.

Каждый из рассказов Левитова представляет собой пестрый калейдоскоп явлений, собрание человеческих типов, отголоски воспоминаний, горьких мыслей, светлых фантазий, горячечных признаний, которые сменяют друг друга с непредсказуемой произвольностью. И хотя в его опусах нет ни интриги, ни четкого плана, ни захватывающего сюжета, они необычайно интересны благодаря умению беллетриста «оживить» каждую черточку своего повествования.

Писатель с большой достоверностью рассказывает о нравах, царивших на задворках

человеческой жизни, однако его произведениям не чужда и некоторая поэтичность. «Он поправляет быт своей грезой и в его тяжкие будни вносит свою неизменную внутреннюю праздничность», – писал об этой черте творчества Левитова публицист и литературный критик Ю. И. Айхенвальд[11]. Произведения этого бытописателя представляют собой яркие «лиро-эпические импровизации», в которых непостижимым образом соединены скрупулезная любовь к детали, красочность диалогов, сочность языка, автобиографические отступления и патетические «вопли души».

Особенностью произведений Левитова является их язык, содержащий подлинный колорит народной среды и подчас являющийся собой род гротеска. Так, уже одно только название последнего, опубликованного уже после смерти беллетриста очерка «Завидение муской, дамской и децкой обуви» является впечатляющим предисловием автора к рассказу о жизни вырванного из крестьянского мира ребенка, оказавшегося в смрадном чаду маленькой сапожной мастерской.

Ход повествования Левитова весьма при-

чудлив и поражает неожиданностью ассоциаций и их верностью. К примеру, описывая одиночество деревенской девочки-ученицы, попавшей в богатую Москву, он упоминает ее убогий «сундучишко», ставший для ребенка олицетворением родной деревенской избы: «Он уже больше не жалкий лубочный коробок, крышка которого внутри украшена великолепным портретом персидского шаха в высокой бараньей шапке, и конфетным изображением милостивой немецкой барышни с птичкой на руке – не тот коробок, который доселе обязан был хранить в своих недрах пару толстых шерстяных чулок, холщовую рубашонку-сменку, кусочек стеариновой свечи без светильни, полколоды затасканных карт и две стеклянные подвески от трактирной люстры, с отбитыми ушками – нет! – теперь он представляет собою не больше не меньше как большое село Перелазово, находящееся в шестидесяти верстах от Москвы...»

В этом отрывке, как и во всех очерках Левитова, ощущается автобиографический подтекст. Будучи блестящим рассказчиком и наблюдательным человеком, автор с точностью

исследователя описывает пригороды, далекие от городского центра переулки, внешний вид домов на московских улочках, интерьеры меблированных комнат, гостиничных номеров, жилую среду подвалов, углов и коридоров и прочие обиталища людей разных судеб, оказавшихся «на дне» жизни. Ценность этих талантливых бытописаний в том, что беллетрист сам являлся таким же обездоленным жителем московских закоулков, а не сторонним экскурсантом, временно «сошедшим в народ». «Я живу в так называемых комнатах *снебилью*. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты *снебилью*... Скажу вам только, что те комнаты, в которых я занимаю одну, особенно отвратительны», – так начинает Левитов один из своих рассказов «Перед Пасхой».

Проживание в самых дешевых меблированных комнатах стало для писателя бесконечным источником впечатлений «о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами». Он оказался свидетелем жизненных драм, которые разыгрывались в этих убогих жилищах, и ужасные истории о безалаберно сложившихся

ся судьбах жильцов «бездушных» домов выписаны им с искренним состраданием к их мукам.

Так, вслед за рассказчиком читатель следует по адресу, указанному на грязном листке, прикрепленном хлебным мякишем на столбе, и попадает внутрь двора дома, где сдаются «порожные» комнаты. Когда-то хозяин – «капитальная борода» – выстроил этот дом на манер «большого квадратного сундука», где первый этаж занимало какое-либо заведение или мастерская; в подвальной части квартировали извозчики и старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе; бельэтаж сняла толстая мещанка с прислугой, а третий – самый верхний – был отдан под «комнаты снебилью».

Левитов повидал немало таких доходных домов: «И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол, залепли-

ваются синей сахарной бумагой; в комнатах «снебилью» и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет...»

Портретные и психологические типы в очерках Левитова многообразны. Среди героев его повествований – «съемщицы комнат», которые соблюдают интересы хозяина, но не забывают и о своем коммерческом запросе. «...Эти в высокой степени интересные субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и, большей частью, ярославскими подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпез от нападков мужниной семьи, или, когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать, между новыми людьми, новых работ и счастья».

Поступив в кухарки в какой-нибудь купеческий дом, предприимчивая баба с азартом голодного сельского человека отъедается на хозяйских харчах, копит деньжонки, «перестраивает» сарафаны на платья, а затем уходит в содержательницы комнат, развесив на улице «билеты»: «Сдесь адаюца комнаты састылом и снебилью, вхот налева фперваю лесницу».

В заведениях «съемщиц» существовали особые запахи и звуки, разные типы обитателей комнат и квартир, примечательные нравы и обычаи, и Левитов рисует подлинную «мистерию», царящую внутри тоскливого жилища, заселенного бездомным народом.

В своих «сценах» писатель использует подлинный язык городских низов, передающий колорит времени и дающий богатую информацию о менталитете представителей различных слоев общества. Диалоги действующих лиц в его зарисовках настолько жизненны, что невозможно не ощутить дух эпохи и колорит образов. Обычная сценка у разгульного трактира «Крым», в описании Левитова, обращается в документальное свидетельство:

«– Извощик! – кричит молодой парень, видимо мастеровой. – Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примерно, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

– Што взять-то? – спрашивает один дядя из целой толпы извощиков, облепивших *Крым* своими калиберами. – Давай целковый.

– Облопаешься неравно! – с укоризной предполагает молодой парень.

– Сколько же дашь-то?

– Сколько дам-то?..

– Да, сколько же от тебя будет?

– Трынку! – с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.

– О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли! – кричит кто-то за трактирным углом».

Та часть городской жизни, которую не могли узнать «благородные» писатели и которой не придавали значения литераторы революционно-демократического толка, в очерках Левитова предстает как живое полотно, где, по ходу повествования, действуют будочни-

ки, лихачи, нищие, старoverы, азартные картежники, прожившие состояние баре, страдающие «от бутылочной болезни» ремесленники, отставные прапорщики, различные чиновники, тронувшиеся умом старые барыни, студенты, гулящие, белошвейки и другие, по выражению автора, «орнаменты земного шара».

В присущей ему лирической манере беллетрист дает описания «идиллии», свойственной отдаленным московским районам типа Грачевки или Цветного бульвара, которые москвичи называли тогда: «у черта на куличках, у сатаны на рогах». «Кто знает нравы девственных улиц, тому нечего говорить, что обитатели их в восемь часов утра все давно на ногах; но кто не знает этих нравов, тот непременно подумал бы, что жители еще спали. Так было все тихо на улице, кроме табачного дыма, который густыми клубами выпускала из окна маленького домишка одна уса-тая ермолка, ничего не было видно на ней. Росла тут, правда, ярко-зеленая трава, увлажненная еще не высохшей росой, за заборами стояли развесистые деревья, на них чирика-

ли садовые птицы, будочник стоял на крыльце своей будки со стаканом чая в руках...»

Замечательна способность Левитова «оживлять» и олицетворять предметы, которые как бы ведут диалог с героями. В его рассказах разговаривают не только лес, изба, но и бревно, статуи, стулья, самовары. Эта склонность автора, как она ни комична порой, пропитывает повествование большой душевностью и придает ему дополнительные оттенки. Вот как в очерке «Аркадское семейство» описывает Левитов гостиную статской советницы Анны Петровны, бывшей горничной, а в момент повествования многоуважаемой дамы, в тот момент, когда комнату впервые видит ее дочь, прибывшая из благородного пансиона: «...Уродливые жизненные представления, почерпнутые нашей барышней из «Графини Монсоро», как стая маленьких птичек, спугнутая кем-либо, в ужасе взвивается над уединенным полем, в страшной суматохе заметались в голове ее, когда пансионерка в первый раз вступила под убогую кровлю родительских лар. Стройный ряд соломенных стульев, вытянутых в маленьком зальце, аля-

поватый диван, обитый ситцем, круглый стол перед ним, созданный как будто медведем для медведя, модные картинки времен покорения Очакова, висевшие на стенах в уродливых бумажных рамках, бесстрастный портрет отца, написанный масляными красками, и даже сами гелиотропы и гвоздики на окнах – все это вместе необыкновенно покорило молодое лицо девушки...

– Так эдак-то? – протяжно подумала про себя барышня.

– Да-с! Эдак-то! – ответили ей с двусмысленной улыбкой соломенные стулья, дешевые обои, гелиотропы и гвоздики, тараканы, ползавшие по стенам, и мыши, шуршавшие за обоями.

– Да! Так-то! – басисто скрипнул ей в свою очередь медвежий диван.

– Мы здесь все так! Мы всю свою жизнь так! – монотонно подтвердил ей бледный портрет отца. В ужасе барышня порхнула в свою двухаршинную спальню и принялась плакать...»

Подобные «домовые» физиономии составляют замечательные эпизоды в очерках Леви-

това. Вместе с Левитовым читатель погружается в мир старого города, уходит в глубину дремлющих московских переулков в Замоскворечье, где нет и помина о высоких каменных домах. «Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, – подобно опытному «чичероне», писатель ведет занимательное повествование в рассказе «Погибшее, но милое создание», – с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками... с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепой собакой, равнодушной ко всему окружающему и потому глубокомысленно-молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками, знаменательно заложенными за спину... На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно, решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием».

ем, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такую будкой».

Мучаясь одиночеством и сознавая трагичность своего существования, Левитов придает городским московским пейзажам черты психологизма. Его герой, горько тоскуя, бредет по городу в метель или дождливую ночь, ища собеседников в замерших домах или распростерших «кривые железные руки» уличных светильниках. «Фонари, освещавшие столицу, так-то жалобно, так-то скорбно моргали, словно бы старались удержать незримые и неведомые Московской думе слезы свои, которая, в жестокосердии своем, отпускает им так мало посконного масла... Жалобы фонарей, точно так же, как взвизги ветра, можно было очень ясно слышать. Они плакались:

– Что же мы с такой темной ночью поделаем?.. Ничего!..» Герои прозы Левитова – люди разных сословий, и читатель следует за ними в места их проживания, прогулок или досуга, узнавая, а чаще – не узнавая, известные московские достопамятности. «На Спасских воротах бьет двенадцать часов московского, сле-

довательно, раннего летнего утра. Бой часов, впрочем, поглощаемый громом экипажей, криками кучеров и вообще шумным смятением той столичной деятельности, от которой невыносимо страдает голова», – начинает автор историю «Московская тайна», и вновь разворачивает перед нами чудную картину былого.

Литературное творчество А. И. Левитова, этого «одинокого пролетария тоски», как назвал его один из публицистов, дает обширный исторический материал нашему современнику. В его очерках содержится немало подлинных фактов относительно нравов и традиций москвичей. Его произведения, можно сказать, имеют характер мемуаров, так как представляют собой в совокупности род лирического дневника, который писатель вел в течение полутора десятка лет своей неустроенной и несчастной жизни, изменить которую он не мог и не хотел. Его очерки раскрывают нам быт московского «дна» изнутри, и в этом величайшая заслуга этого самобытного писателя с поэтической и нежной душой.

Елена Савинова, кандидат исторических наук

Перед Пасхой (московский фельетон)

Я живу в так называемых комнатах *снебилью*{1}. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты *снебилью*. Филантропия моя такого высокого качества, что я от всей души желаю вам полного неведения этого милого предмета. Скажу вам только, что те комнаты, в которых я занимаю одну, особенно отвратительны. Но дело не в том. Содержательница наших комнат имеет в своих палестинах довольно хорошую репутацию, вероятно, потому, говоря в скобках, что из всех подобных содержательниц, каких только я знавал когда-либо, она самая вздорная и грязная баба, а ее клетки *снебилью* – самые дрянные, самые темные, самые разрушающие. Можете, следовательно, очень легко представить себе, сколько люда втискалось в эти клетки, потому что, как вам самим известно, стремление к грязи у русского человека природное...

И вот с самой Страстной недели{2} все помышления этого люда были главным образом

направлены к тому собственно, что как бы это раздобыть финансов, необходимых для приобретения более или менее громадной бутылки с тем веществом, без которого русскому человеку и праздник – не в праздник.

Сотни мастеровых, населяющих подземе-
лья дома, где живу я, только, кажется, тем и
заняты были во всю неделю, что таскали из
откупной конторы эти ужасающие саженные
бутылки, при виде которых невольно припо-
миналась старинная песня:

*Кому чару пить,
Кому распивать?{3}*

Военное офицерство, помещающееся в
верхних этажах нашего дома, в три жилы, что
называется, турило из своих апартаментов
неотвязных кредиторов, отзываясь тем, что
ему самому будто бы жалованья к празднику
не выдали; между тем как денщики оно-
го офицерства возились с бутылками, подкраши-
вая их жженым сахаром, стручковым перцем,
и, почти ежеминутно, тайно пробуя сами, яв-
но давали пробовать своим господам эту за-
мысловатую влагу, никак, по-видимому, не

желая расстаться с мыслью, чтоб их военная, денщичья, так сказать, досужливость не могла улучшить этого адского зелья.



Москва. Частная застройка в районе Плющихи, вид на Пресню, Прохоровскую фабрику и Москву-реку. Справа – церковь Николая Чудотворца на Щепках, расположенная вблизи Смоленского рынка. Открытка начала XX в. Частная коллекция

В то же время и статские майоры, и прапорщики, которых тоже очень много в наших клетках *снебилью*, надели ватные халаты и вместо хождения по комнате и посвистыва-

ния, чему эта публика любит всецело отдаваться в свободное время, теперь глубокомысленно, через самые чистые тряпочки, процеживала в графины праздничный нектар, пробовала его, миролюбиво и усладительно побряхтывая, и давала пробовать своим кредиторам.

Я так долго бедствую в мебелированных комнатах, что их жизненные картины не могли не опротиветь мне до бесконечности; но прежде эти картины все-таки чем-нибудь да разнообразились, и я не столько из любви, сколько из тяжелой необходимости каждый день созерцать их, все кое-как мирился с ними. Но на нынешней Страстной неделе это постоянное, неизбежное подкрашивание и улучшение откупного материала нашими жильцами вынуждало меня чаще обыкновенного запирать на ключ мои пенаты и уходить от них на грязную мостовую, на дождь и холод, пренебрегая возможностью насморка, или даже утонуть в импровизованных болотах, обыкновенно украшающих московские улицы в начале всякого весеннего сезона.

Но, справедливый Боже! мои пенаты тос-

ковали без меня на замке, я тосковал на улицах без моих пенатов, а между тем картины, выгнавшие меня из дома, были те же и на улицах. По ним ходили и ездили не люди, как в обыкновенное время, а громадные бутылки. С бесстыдством холопа, случайно попавшего в господу, задирали они кверху свои зеленые головы, заткнутые толстыми пробками, толстым и длинным туловищем своим совершенно загораживая от вашей наблюдательности людей, сгибавшихся под их тяжестью, так что решительно невозможно было видеть по лицам этих людей, последних ли деньжонок стоило им приобретение толстых бутылей, или сумм у них осталось еще настолько, чтобы на праздниках приобрести еще толстейшие.

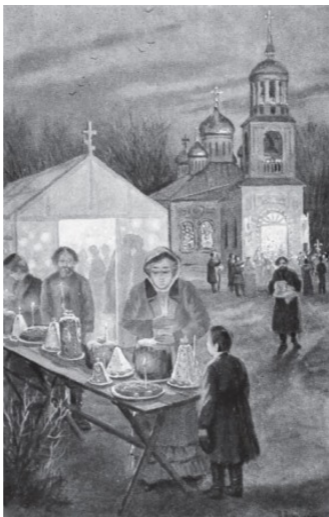
Так как я не видел лиц людей, то кроме того, что терялся общий интерес уличного шатания, я не был в состоянии ответить себе на только что высказанный мной вопрос, а разрешением этого вопроса я не могу не интересоваться, потому что впечатления среды, меня родившей, настолько сильны во мне, что я не мог никогда окончательно забыть их. В

этой среде, помню я, глубоко бывали огорчены, если купленную к празднику бутылку грешным делом успевали распробовать на Страстной еще, а на самый праздник не смогли купить другую, и огорчение это, по моему крайнему разумению, было весьма и весьма естественно, потому что в такое свободное время, как праздничное, чем же и займетесь, если не будете пить и, находясь в подпитии, славословить? Подтверждаю это авторитетом знакомого человека.

Освящение пасок. Худ. А. Лавров. Открытка начала XX в. Частная коллекция

В далекой глуши, на моей родине, живет некий маститый старец^{4}, весьма грамотный однодворец. С высоты своей жизненной мудрости он отзывается так о занятиях, приличных празднику:

– Ежели таперича «писание» читать станешь, спасения для души малость из эвтова выйдет, потому на такое время и без того черти-то все в ад посажены; дело какое – грех делать, разговаривать мне с вами, с дураками – не об чем. Что же я таперича делать дол-



жон? – Должон, следственно, я выпивать для того, чтобы сердце у меня празднику радовалось и в веселье славословило. Верно ли я говорю? – обращался он к поучаемым.

– Это точно, Митрий Захарыч, – с глубоким вздохом, до самой ясной очевидности доказывавшим общее умиление сердец, отвечали поучаемые.

Конечно, у Митрия Захарыча, знаю я, была

всегда возможность раздавить одну бутылку и тотчас же послать за другой. Веселье сердца у него, следовательно, постоянно поддерживалось и славословие не прекращалось; но скажите же вы мне на милость, что оставалось делать тому человеку, который купил бутылку на Страстной, долго и тщательно подкрашивал ее, настаивал разными наборами, замазывал ее глухо-наглухо тестом, грел в вольном духу и вдруг, по искушению, всю бутылку употребил еще до праздника? Спрашиваю я весь крещеный мир, что оставалось делать такому человеку, когда он при всех стараниях, при всех подходах к друзьям и знакомым, решительно не мог добыть другой бутылки?..

Такой пассаж, не знаю как на кого, а на меня бы подействовал губительным образом: сначала я принялся бы тосковать, ругаться, пробовал бы заложить нечто из зимней одежды; но так как ростовщики, целуясь в это время со своими бутылками, дела не делают, то я, право, поднял бы на себя руки, потому что тут у меня были бы два расчета и оба одинаково верные: один тот, что двух смертей не будет, одной же не миновать, а другой: если уж уми-

рать, так о Святой, потому что, по отечественной легенде, умершие в это время в рай попадают...

Я не простил бы себе такую шутку, если бы не имел основания шутить таким образом. Она была бы зла и неуместна, если бы в самом деле не видал я, что в праздники особенно бурливо режут и волнуются волны водочного моря, если бы в самом деле не знал я, как море это безнаказанно пожирает столько народа, которого никто не научил еще, что праздничные удовольствия вытекают совсем не из этого губельного моря, текущего развратом и смертью.

Но, говоря без лиризма, общий результат впечатлений, навеянных на меня Страстной неделей, был тот, что в субботу, вечером уже, я отправился в откупную контору и приобрел там полведерную бутылку. Таким образом, как видите, начавши за здоровье, я свел за упокой, ибо, рекомендуя себя вниманию публики, я, Jean de Sizoу{5}, по чести должен сказать, что я вовсе не такой человек, который бы долгое время мог противостоять господствующим нравам. Подтрунивая над господами, которые

подкрашивали и подцвечивали свои бутылки, я оказался больше них достойным всякого сожаления, потому что у меня не осталось времени ни подкрасить водку, ни процедить ее, а тем паче настоять и нагреть. Следовательно, я должен был употреблять ее именно такой, какой она вышла из рук матери-природы, т. е. отца-откупщика. Из такого оборота дела, пожалуй, кто-нибудь выведет то нравоучение, что надо быть снисходительным к слабостям ближних. У меня же на этот счет довольно давно выведено такое правило: трудно человеку удержаться от выпивки тогда, когда выпивает все, что около него существует и движется...

Sapienti sat{6}! Он, т. е. sapiens{7}, непременно из всего мной сказанного выведет то заключение, которое выведет; я же иду дальше, если только я не лишился способности идти дальше, потому что, понимаете, полведерная бутылка{8} свое дело сделала...

...Почти полночь. В комнатах *снебилью* тишь. Все разошлись по заутреням. Всегда темный коридор наш слабо освещен чуть-чуть мерцающей где-то в угле лампадкой. Кто

настолько ведет одинокую жизнь, что и в эту ночь сидит один дома, тому, мало сказать, скучно, потому что того смертного томления, того, с каждой минутой более и более гнетущего, изнывания души, которое неминуемо объемлет одинокого человека, нельзя обозначить этим словом.

Мне в эту минуту скучно именно так, как сказал я, потому что я сижу один. Мне вспоминается мое прошлое{9}, когда я не был один. Сельская церковь, думаю я, иллюминирована теперь общими стараниями прихода; на улицах веселая, детски-радующая жизнь. Пред образами ярко горят свечи прихожан; еще ярче блестят им в глаза парчовые ризы священников. Мой десятилетний дискант валдайским колокольчиком звенит с клироса, заглушая доморощенный хор.

Ба! что это такое необыкновенно теплое вдруг охватило всю грудь мою, залило сердце и волной хлынуло в глаза? Я давно не испытывал такого ощущения. Во время оно за ним следовали слезы. Но, увы, нет теперь слез, как нет людей, с которыми я был не один!

У казенной винной лавки. Фотография на-



чала XX в. Частный архив

Один! Что такое один? А вот что: в комнатах *снебилью* я задолжал теперь сорок рублей восемнадцать копеек. Отопру я сейчас же вот этот стол, возьму из него свои документы и сейчас же уйду из квартиры, отряхнувши прах с сапогов моих. Пойду направо – никого не встречу, кто бы сказал мне: приходи поскорее; пойду налево – тоже... И так до гроба!..

Тяжесть ночной думы об одиночестве может быть, впрочем, значительно облегчена скрежетанием зубов, не театральным, а настоящим царапанием своими ногтями своей

груди, а главное – старанием уверить себя, что нет худа без добра...

«Беспомощное положение бедного, одинокого человека вызывает у него энергию, которая, если бы он был обеспечен, могла бы, пожалуй, совсем не проявиться», – слышал я недавно.

«Это очень хорошо-с!.. «С» – прибавляю я здесь с той именно целью, чтобы как можно учтивее похвалить это правило.

«Когда говоришь с каким-нибудь баринном, – вразумляла меня покойница-мать (а правило слышал я от одного очень состоятельного барина), – говори всегда: слушаю-с, сударь-с! Так с господами говорить, милый ты мой, политика требует. Перенимай, что тебе хорошие люди скажут, а мы с отцом последние жилы из себя вытянем, да учиться тебя отдадим. Ты тогда у нас сам баринном будешь».

Бедная! Учение мое действительно порвало у вас с отцом последние жилы{10}, хотя я и не знаю, чему я выучился, точно так же, как не знаю того, кто теперь, после смерти отца, будет пахать ту наследственную полосу, кото-

рую я должен был пахать после него.

Какие, однако ж, странные думы иногда забираются в голову, как неожиданно и, по-видимому, непоследовательно вызывают они одна другую! Наследственная полоса! Наследственный сад!.. Снег на моей полосе растаял теперь, весенний разлив досыта напитал ее землю; ждет она теперь, чтобы теплое солнце весеннее согрело ее, назябшую зимними холодами, – ждет, чтобы приехал пахарь-хозяин и бросил семена в ее теплые недра. Говорю: ждет еще всего этого моя полоса, потому что в настоящую минуту так же пусто, так же грустно и молчаливо на ней, как вот в этой комнате. А сад?.. Ранняя нынче весна, и надо полагать, что дорожки его просохли уже; но верно и то, что тихо и пусто теперь в нем, как тихо и пусто на полосе. Как, я думаю, испугались и забегали зайцы, приютившиеся в нем на зиму, когда увидели, как на сельской колокольне запылало зарево праздничного освещения! Я как будто слышу даже, как шуршат они в непроходимом вишняке, стараясь укрыться в его разреженной морозами чаще. И думается мне, что и сад, запущенный вслед-

ствие моего учения разным наукам, ждет теперь, когда кончится обедня и взойдет светлое, праздничное солнце. Не пусто будет тогда в нем, потому что выбегут в него в это время резвые дети, такие же красивые и цветущие, как были, припоминаю я, красивы и цветущи молодые вязы, что росли в четырех углах нашего сада.

Вот передо мной и вязы, под тенью которых я, мои братья и сестры игравали когда-то. Так, это именно стоят теперь передо мной стройные стволы деревьев, которые росли вместе со мной; это их зеленые листья, что, бывало, вечно шепчутся меж собой и заставляют задумываться. А вот за чертой, которую делали вязы, и родное село. Я живо вижу его тихую улицу. Через пятнадцать лет я не забыл ни одной лачужки.

Обитатели ночлежного дома на Хитровке.
Москва. Фотография начала XX в. Частный архив

Прошлое, прошлое мое! Картины твои все те же, какими они были когда-то. Где же люди, которые их оживляли? Ведь без людей



они мертвы.

Умерли люди, умерли! – говоришь ты мне, старина.

Все умерли?

Все.

Хорошо-с! Это очень хорошо-с! А полоса моя, а сад мой, вязы, село – все это живо еще, все это, рассчитываю, не изменилось?

Рассчитывай! Все это не изменилось, все

это живо.

Спасибо, старина, спасибо.

Гром кремлевских пушек прокатился в этот момент по московским улицам. Но думы мои, испугавшись этого грома, не вдруг отлетели от меня. Я осмотрелся. Передо мной за столом сидел мой сосед по комнатам *снебилью*, выгнанный из службы, – талантливая натура. Полведерная, не подкрашенная бутылка нагло возвышалась на столе, уменьшенная, впрочем, более нежели на четверть.

Я бросился к открытому окну. В глаза мне наказывающей молнией блеснула иллюминация Ивана Великого, в лицо пахнул холодный ветер ночной. Сотни колоколов таинственно говорили с сурово молчавшей ночью о воскресении Вечного Света, разгоняющего всякий мрак... В тысяче мест тысячью громовых голосов раздавалось громовое пушечное эхо.

– С прра-а-здником! – бормотал мне полусонный и совершенно пьяный сосед, – фыпьем, лю-бе-е-зный др-руг!

Я не мог отвечать ему, потому что язык мой не слушался меня. Мою душу и голову

жег огонь сознания, что в эту ночь я гнусно надругался над святыми заповедями отца и матери.

Стали они перед глазами моими, эти простые, столько любившие, столько страдавшие люди; головы свои седые склонили к чахлым грудям и плачут.

Молча плакали они, но мне понятно было, что они хотели сказать мне: «Обманул, ты нас, Ваня! Обманувши, в гроб силой вколотил», – слышалось мне в мертвенно-унылой тиши комнат *снебилью...*

Московские комнаты «снебилью»

I

Вступление

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на Божий свет дома, в которых есть эти так называемые *комнаты снебилью*. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мной в этих тайных вертепах{11}, где приучается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно длинной вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: *сдесь сдаюца комнаты снебилью*.

Каким-то странно болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветру лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный

к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомных людей, которые самой судьбой, кажется, осуждены на вечное скитание по этим *комнатам снебилью*, рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих – сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о гибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждой железной.

Бездомные. Худ. И. М. Прянишников. Открытка начала XX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские».

«Брат мой! – слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом



и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть, – и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал Бог!»

Страшной, томительной мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжелой борьбе с мучительной смертью, – и не могу я тогда дать себе отчета в

том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжело страдала, и наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо-незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутиливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком.

«Ах, сосед! – говорит мне милый голос. – Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут... ах! вспомнить ужасно: зеленый, зеленый весь сделался, ровно трава внешняя, и как же бранился он страшно, зубами как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него, – он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, – говорю, – родным что-нибудь написал». – «Да, точ-

но! – говорит, – написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным, и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш, или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье всем в глаза плюнуть!.. Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было...» Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него, – тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть что за платье такое! Белое-белое, как «кипень»{12}, – с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины. – Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб – все завалили цветами (недороги цветы были тогда, – весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одно место работала, – они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, – говорит, – подавайте: первое число

подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки: совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас; я летаю ныне – вот посмотрите».

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какой-то невиданной птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которой она показывала мне недавно приобретенное умение летать.

– Што, те комлу{13} што ль надыть? – рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. – В четверто крыльцо на третий этаж по коридору ступай, там те комла и будет.

«Крысиные норы» – жилые помещения в подвале церкви Троицына Сретенке. Фотография начала XX в. Частный архив

Испугался милый призрак сурового голоса



и улетел на небо, а мрачный дом по-прежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветру своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

– Ты там Татьяну-съемщицу спроси{14}! – продолжает дворник, – так, ее, Татьяну, и спрашивай: «где, мол, тутотка Татьяна живет?» А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и скажи ей, где, мол, у тебя комла тут

порожня есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

– Ишь ты попер как! – рычит дворник. – Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так т. е. и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..

II

Съемщицы

Самый рельефный и красивый орнамент *комнат снебилью* – это Татьяны, съемщицы комнат, главные жизненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы вынудить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы, – и Лукерьи – лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти одинаковой силой, дающей им все возможности или разбивать наказатель-

ным громом и сожигающей молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обратное чувство со стороны Татьян и Лукерий.

Оба эти, в высокой степени интересные, субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большей частью ярославскими подгородными слободами. Так, когда молодой солдатке придется невтерпез от нападков мужниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба{15} наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать, между новыми людьми, новых работ и счастья.

Торговки из сельских пригородов на Суха-



ревском рынке. Фотография начала XX в.
Частный архив

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной жизни, которая, даже и в самых тихих своих омутах, всегда слишком резко бросается в глаза, дотоле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие тихие деревенские улицы. Долгое время, с крайне бесцельно, но вместе с тем напря-

женно-выпученными глазами, всматривается баба в непривычные жизненные явления той области, в которую занесла ее лошадиная судьба, и немало, по ее словам, «издивляется» {16} этим явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все стороны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намащенной каши, которой купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом голодного сельского человека на эту национальную сладость, поджаристость которой так ясно наложена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки горы лакомого снадобья, что за обедом, вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семейских мужиков, она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в левых ушах {17}, – веселых Захаров, непременно довольных и собой, и хозяйской кашей, с глазами лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!

Не жалеи хозяйского добришка!

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новой соседкой посредством ошарашивания ее в бок локтем.

– Что, – спрашивает он ее при этом знаменательном поталкивании, – приуныла? Аль ты нас молодцев, невлюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится, стерпится, – на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!..

– Будет тебе, черт, шутки-то шутить! – говорят Захару соседи. – Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна действительно видит, что каша уже вся в самом деле, но ее несколько не печалит это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнейшая солонина, со слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни знакомилась только по Рождествам да по Свя-

тым, что Татьяна едва настолько может работать своей победной головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутливового соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну, в первый раз попробованная, купецкая трапеза, – лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

– Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! – кричит на нее грозный хозяйский голос. – Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребницу {18} поволокли.

«О Господи! – потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствовании. – Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то, что по селам...»

Точильщик ножей. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К^о». Частная коллекция



Наконец, оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несмущаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязан-

ностям, а хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» – думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удовольствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так смутил простую сельскую душу.

«Запужалась я давеча некстати с непривычки-то! – развивает Татьяна свою безмолвную думу. – В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспоминается ей и завтрак из пшенной каши, вареной на молоке, в котором плавало коровье масло за первый сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало, поглядишь только на сахар-то, как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у дворовых, когда они чай пьют; а теперича нака-сь! Воочью у меня сахар-то.

Захочу – сейчас весь кусок сгрызу, а захочу – понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих костей делают. Ну, да ничего. Пущай себе из собачьих, – окромя как одной сласти, никаких в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой – глупый народ!..»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще забвения своей прежней горемычной жизни, который обыкновенно, также не задумавшись, делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его, до известного случая тощее, тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным жариванием жирных кулебяк и задиранием вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие времена ароматом, который бьет от нового китайчатого{19} кафтана на плечах счастливца и от его скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапогов...

И дальше идет татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семейским, ни своим убожеством:

«Коего шута, прости Господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? – спрашивала баба с сильным ожесточением на свою недогадливость. – Есть тут кому побранить тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лаает, а хозяин-купец уму-разуму учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахару изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную сельскую родину. С неутомимым азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения, русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:

– Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?

– Баба, сказываю тебе, – золото! Воротит все до страсти; пыль столбом валит, как она тут действовала, – ответила благоверная.

– Ну, это чудесно! – благодушно говорит хозяин, засыпая.

Татьяна между тем за кухонной перегородкой свое толковала.

«Наработалась я очинно, – говорит, – опять же и пища такая, словно в заговенье{20}, так и валит! Господу Богу-то завтра уж, видно, и за спанье, и за вставанье поутру враз помолюсь...»

III

Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой кухарки в съемщицу *комнат снебилью*, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческим домом, по всегдашней пословице, полным, как чаша. Не видав никогда ничего изящнее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами и тому подобными штука-ми, – Татьяна почитает живущих в этом доме

не иначе как за мощных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять приставить ее к плечам. Слишком кислую и вяжущую оскомину набила Татьяне сельская редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за воскресный пшеничный пирог, от которого так приятно-щекотливо ударяло в нос затомленной в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком – этим приобретающим, вследствие печения, какую-то неимоверно вкусную сладость лучком, который, в компании с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой кулебяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам{21}.

Кухарки покупают зелень и овощи на московском рынке. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо неуклюжая толщина водовозного мерина, молчаливая угрюмость *самого* и крикливо-безалаберная доброта *самой* – это,



так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта признательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь на самом верху славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы крайне несостоятельной в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну в этот цветущий период ее жизни.

– Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! – удивлялась какая-нибудь ее деревенская знакомая, сидя у нее в гостях. –

Эдак ты через силу будешь чугуны-то воро-
чать, – животы, пожалуй, сразу надорвешь.

– Не работала рази я дома-то? – с сердцем спрашивала Татьяна. – Работала, кормилица, по целым дням окромя завалящей крови во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь двужилъная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания веселая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом, несмущаемо-довольная своей жирной судьбой, Татьяна с каждым днем толстеет все больше и больше на удивление и похвальбу честному купецкому миру. Красноватое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сделалось теперь мужественно смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки их заблестали каким-то лукавством, сметкой какою-то, говорящей как будто: «Ну, брат, объегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи к нам в четверг после дождичка!..»

«Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы

мои! – толкуют про кухарку ее сожители по кухне, Захары. – Выровнялась баба на удивление, – глядеть на нее, почитай, нельзя!..»

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим соседним кучерам и проходящим солдатам – *Ликсей Ликсеичам*, вечно показывающим с господского крыльца свои немецкие сюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалайками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым, развостытым сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит, в пестром шерстяном платке, в белой кисейной рубахе, от которой на белые руки пышные рукава речной волной упадают, – смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:

– Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..

А Татьяна на все эти штуки бровью даже черной не ведет.

– Будет тебе, шарамыжник, разговоры-то разговаривать! – обыкновенно отвечала она какому-нибудь зарубившему праздничную

муху лихачу{22}, когда он растолковывал ей о прелестях, совершающихся по праздникам в полпивной{23} его будто бы закадычного друга и односельца. – Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без сапог намедни.

– Дура! – презрительно отзывался лихач о Татьяне, когда она напоминала ему о несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги за некоторые бутылки, превышавшие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.

– Сволочь! – отвечала она ему с насмешливым презрением, и тут же тонким, заунывным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой, родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдохавших на улице святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том, какими теперь разноцветными лентами развиваются по родимым, оставленным улицам знакомые хороводы; на чужой стороншке

въявь слышатся им родные голоса, пред глазами медленно хлещут, усмиренные предвечерней тишиной, волны речные, за ними зеленеет луг, а там расстилаются кормилицы-поля, – и вот из соседних домов один за другим подходит народ к Татьяне, как первой песеннице квартала.

– Не полегче ли душе будет, как песню другую сыграешь; а то, признаться, так сердце для праздника защемило – страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак, – толкуют Татьяне подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо как приблизился темный вечер, в который еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал, слушал ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

– Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь; я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег *три* двугривенных. И часто такие случаи выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо;

нашила она себе цветных сарафанов, тонких кисейных рубаш, накупила позолоченных перстней со светлыми каменными глазками – и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом приставании, один из самых заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней, Захаров наконец-таки покорила ее долго нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдребезги расфуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.

Холодный сапожник. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– Где ты ворожбе такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? – спрашивали у счастливца его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное угощение Татьяны пряниками и орехами.

– А всей моей ворожбы и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! – хвастливо отвечал Захар. – Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказы-



вают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо полагать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу...

– Был такой слух и у нас на фабрике, – коварно передают Захару завистливые приятели про небывалый слух.

– И у вас уж знают? – азартно спрашивает Захар. – Значит, старый-то там не шутики шу-

тит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам, молодцы, говорю, ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты – и она за мной... Так ли говорю, Татьяна?

– Милый ты мой, золотой ты мой! известно, што горе теперича мы сообча мыкать должны. На то и в знакомство вошли... – тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе красную рубаху, для того чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желания неудержно пойдет...

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома – против женской красоты воевать неуклонно, – забыл, на ее красоту глядячи; а теперь при одном слухе только, что отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодой душой.

Но недаром играетя в песне, что

«Сладки яства приедаются,

красны платья скоро носят».

Раздобрела Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непременно говорил:

«Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь. Раскормить его, чтоб оно было более и толще, никакой пищей невозможно».

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала великая, – и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, т. е. зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

– Что это какая у нас Татьяна брехучая сделала? – удивляются промеж себя хозяева. – Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слова сказать нельзя. К работе рук не прикладывает. «Я, говорит, в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее.

– Посгоди маленько прогонять-то, – вступился *сам*. – Разве не видишь, баба с жиру сбесилась... Это со многими на моих глазах бывало; это у нас в Расее – словно болезнь ка-

кая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она тогда пропащий человек выдет...

А Татьяна между тем свое разговаривает:

– Что это, – говорит, – Господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни покою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния, еще пуще разжигают горящую бабу.

– А ты, – жалостливо толкуют они Татьяне, – смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем своим совладеть, а все же смирись, потому Господь Бог все видит.

– Милая ты моя! – вскрикивает кухарка, ободренная этой поблажкой, – стараюсь ведь я всячески для них, – ничего не поделаешь! Все пуще меня злость разбирает, гляючи на их безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, гово-

рят, купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет...»
Ведь вон они черти какие!

– Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянаушка! Сделай-ка ты по моему совету: нака тебе вот эту самую травку и положи ты ее, мать моя, под изголовье к *самой*, – авось, может, перестанет она на тебя лютовать. *Сам-от* – ничего, все молчит; а она – ох, какая подхалимая бабенка, опять же и злющая! Третье-го дня сиж у ней, а она мне и говорит: «Что мне только с этой змеищей-Танькой делать, ума не приложу!..»

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержательница *комнат снебилью*. Прошедшая огонь и воду и кроме того все тридцать четыре мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяной следующим курьезным образом. Раз как-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов, шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане, вместо денег. Притыкалась она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого

лавочника веселой шуткой взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка кроме как, по ее словам, одного невежества ничего к обеду приобрести от торговых людей не могла.



Москва зимой. Вид Тверской улицы у Леонтьевского переулка. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Тяжелая мысль быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а паче того отставным поручиком Бжебжицким – сорвиголовой, поселившимся с бою в лучшей комнате, засела в мозг бабы и мучи-

тельно сверлит его.

«Рази не убечь ли мне на нынешний день куда-нибудь? – думает пугливая баба. – Завтра, может, достану где-нибудь деньжонок, так пирогов им напеку, а барину-то окромя еще полуштоф^{24} поставлю, – вот он и смиляется».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благородной женщиной, приказницей что ли какой, которая бы ходила в чепце и в немецком платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей, она тем не менее всегда с особой бойкостью юлила около людей, которых судьба посыла-ла ей в кормильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снабжали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно, во время какой-нибудь невзгоды, наполнявшие ее комнаты *снебилью*, был неподражаем. Этот шик свойствен только тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла,

как об этом говорится, от сохи на время и поселила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивилизованного города, – и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский парень, толкнутый барской рукой в слесаря, и вдруг ни с того ни с сего пропивает свою праздничную поддевку{25}, сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие{26} сюртука и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

«Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому, как есть, немцем стал!..»

Трудно вообразить себе что-нибудь жалче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде с талией большей частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговицами в два ряда, с бортами, лежа-

щами на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, оберченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А если немец к этому прибавит еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую бронзовую цепочку от томпаковой луковицы{27}, тогда поистине чудеса всего мира не представят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их коленкоровые{28} чепцы с густыми фалбарами{29}, их собственноручно устроенные кринолины{30} приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом относятся к человеческому роду.

«Господи! – восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в праздничном немецком платье{31}. – Зришь же ты, Боже, неуклюжесть эту слоновую и не метешь ее с прекрасного лица земли!..»

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна долгое время искала себе женщину, кото-

рая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платье, помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и пожеланием доброго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо связываться со всякой деревенской швалью было решительно вне ее цивилизованно-плутоватых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала со своими просьбами о говядине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении проносился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого, с длинным чубуком в красных руках, требовавший от нее обед или жизнь, — в те, говорю, горестные моменты появление на рынке Татьяны, как и всегда смиренно и непрощенно раскланивавшейся, сразу усмирило тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и, так сказать, чепцеватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбной иноходью и завязала с ней разговор следую-

щего великосветского свойства.

– Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?

– Да что, сударыня! – ответила Татьяна с досадой, – про моих идолов и разговора нечего заводить. Поедом они меня съели.

Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимоходом как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начинается эпоха стремлений Татьяны к кофе *внакладку*{32}, начинаются ее знакомства с различными барышнями, жилищами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без мест, сиротами полковника или даже генерала, и в крайнем только случае вдовами разорившихся, но некогда первогильдейских купцов.

– Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! – говорит генеральская сирота, перекраивая Татьянин сарафан на платье. – Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в городе. Все господа в гости к нам ездят.

ли, и мы ко всем ездили.

– Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна, – в другое время растолковывает ей вдова разорившегося миллионера, – красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в наших лавках на несколько миллионов... вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю, и все мне Господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, *кофе*ем и занимать у ней часика на два, на три по рублю.



Варварские ворота. Репродукция с лито-

графии из собрания Э. В. Готье-Дюфайе. Конец XIX е. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами сочувствует несчастьям некогда столь вельможных барышень, терпеливо жгется их горячим кофе, не задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды сама рассказала захожей богомолке, когда никого не было в хозяйской кухне, что она – офицерская жена, что ей, по-настоящему, барыней быть следует – и была барыней, долгое время была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.

– Толкуют, – закончила Татьяна удивленной и соболезновавшей о ее горе богомолке, – в больших теперь чинах муж. Сам, говорят, главный начальник за его усердную службу (в недавнем времени слухи были об этом) тремя рублями из своих енаральских рук наградил.

Что именно заставило Татьяну соврать таким образом, до сих пор неизвестно. Известно только то, что вольная жизнь комнат *снебилью*, которой Татьяна насмотрелась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купечской кухни ей опротивела, как говорится, вдосталь.

Не стерпевши, наконец, постоянно нахмуренного мурла своей кухарки, *сам* однажды сказал Татьяне:

– Ты што же это, Татьяна Лексеевна, рыло-то воротишь, словно медведь? Али много жира с хозяйских хлебов завела?

– С твоих-то хлебов и заведешь жира! – бавовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.

– Стой-ка, стой мать! – не совсем еще прогневавшись, останавливал ее *сам*. – Што ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли, авось, хошь с моей-то легкой руки?

Говорит это *сам*, благодушно и тихо посмеиваясь и бороду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов

очувствуется.

– Ученого учить – что портить! – возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские. – Своих дураков полны горницы, – их бы перво-наперво поучил.

Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала «караул» и стремглав бросилась в фартал{33}.

Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. Наутро только квартальный пришел к самому с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.

На всю улицу орала Татьяна, когда сам прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три-шей, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:

«Сдесь адаюца комнаты састылом и сне-

билью вхот, налева фперваю лесницу».

Эти комнаты *снебилью* оборудовала Татьяна — не опытная в делах подобного рода коммерсантка.

Спасайтесь от них, бедные люди!

IV

Обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины коммерческие мистерии

Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, — этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы комнат *снебилью*. Маленькие мастеровые ребятенки, прежде мелькавшие в кабаке и в мелочную лавочку, примерно, по десяти раз в день, теперь бегали в означенные места непременно раз по пятнадцати; ибо прапорщик Бжебжицкий, день и ночь ру-

бившийся в штос{34} со своими закадыками, в то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогий одр Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидывал следующие фокусы. Отворивши окно своей квартиры, он зычно обращался к ребятам-ученикам, которые, как известно, осень и лето спят по разным дыркам в дровах, в холодных чуланах, на сеновалах с хозяйским кучером и проч. и проч.

– Эй вы, чертенята! – орал Бжебжицкий. – Куда вы застряли там, бесовы детки? Ежели кто из вас достанет мне сию минуточку штоф водки{35}, пять селедок и луку, тот получит от меня пятак. Жива-а!

В тот же момент бездушная, но громадная масса дров, сложенная под окнами прапорщика, обнаруживала некоторую жизнь. В этой полночной тишине, которая даже подчиняет себе немолчный шум столиц и больших городов вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало, – и вот пред усастым лицом отставного военного предстал всех и всегда слушающийся дух, в виде некоторого маловозрастного халатника, с белокурыми шершавыми во-

лосами, с молодым личиком, отчетливо изрисованным приобретенной в городе плутоватостью и неудержимой охотой приобретать от тороватого столичного населения пятачки и гривеннички, которые так обильно вознаграждают скупердяйство и даже, в некотором смысле, суету хозяйских обедов и ужинов.



Пивная лавка С. П. Жильцова на углу Смоленского бульвара и Толстовского переулка. Фотография 1913 г. Частный архив

Предстал этот дух и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на месте босыми ногами,

доложил прапорщику:

– Я эфто дело-с, ваше в-дие, вам в точности оборудую потому как я служу-с вашим б-м верно-с... Лавочник Митрий-с сказал мне-с: «В полночь ко мне стучись, – обижен не будешь».

Смеется мальчишка и, говоря эти слова, как-то знаменательно топчется.

– Молодец парнек! – похвалили его из-за карт юнкера и прапорщики и вообще все те московские полночные совы, которые проявляют свою деятельность по разным закоулкам преимущественно в ночное время, потому что днем она слишком ярко и ослепительно бросалась бы в глаза остальному обществу.

– Я вам, ваше в-дие, все могу-с... Теперича у нас в мастерской хоша и есть большие ребята, но они того не могут сделать, что я могу, потому я все равно как взрослый какой! Водку я тоже могу...

– Неужели и водку можешь? – осведомилась у ребенка пьяная компания.

– Сейчас издохнуть, могу! Что ж такое? Мне это все нипочем. У нас, ваше в-дие, весь род такой: три брата здесь на мастерстве про-

пали, отец пропал, двое дядей, материн племянник, так все тут до единого лоском и легли. Наши сельские говорят: это они от большого ума залились...

После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и луку, заслуга его была награждена вовсе не пяточком, а просто-напросто шутовой трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали насчет его сиятельства графа Шереметева, т. е. «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой – и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет, уж посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».

На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугли-

вой и крайне, впрочем, задорной оболонки {36}, принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастной девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с ней хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собой конурки, образовавшиеся в дровах, – конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.



Закусочная на углу Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка. Фотография 1912 г.
Частный архив

– Это вчерашний барин-то покрикивает? – слышался шепот с чердака одноэтажной красильни.

– Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! – говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало сено под легкими ногами испуганной полночной силой кошки.

– А, бесы! – гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа. – Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? – спрашивает он наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы. – Где вы тут, ракальи{37}? – и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.

– Ты что же это, канальчонок, так крепко дрыхнешь? Не слыхал разве, как я тебя звал, шельменьш ты эдакой?

– Я думал, барин, что вы это не меня кличете...

– Цыц! Тебя или другого – все равно. Сейчас должен бежать, как только услышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри: Фрицовой фабрикации{38} спрашивай.

– Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла, – говорил испуганный мальчик. – Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказывают, и убежал.

– Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, канальи! Проливай после этого за них свою кровь! – шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.

И тут же, в довершение эффекта, раздается звонкий крик вчерашнего шершавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.

– Не пойду, не пойду! – кричит ребенок. –

Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.

– А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?

– Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим, небось, не изнимете.

– Врешь, пойдешь! Вррее-шь, пойдешь! Ну, говори: пойдешь теперь?

– Пойду, пойду, барин! Сейчас летом полечу, пустите только...

– Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ничем не изнимешь. Ну, бежи же да смотри: у меня не зевать!

В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:

– У нас, ваше в-дие, не такой дом, чтобы в нем буяннить! Буянство в нем тоже не дозволяют...

– Ш-што? – спросил прапорщик. – Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу...

Дворник моментально скрылся после этого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шершавый паренек, род

которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.

– Я тебе в первый и в последний раз говорю, – протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику, – у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!

И все, что было живого в доме, навсегда запомняло эти заключительные слова brave солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, следовательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже и приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионеров-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины комнаты снебилью.

В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьянинных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома, – в эти вечера, сделавшиеся после Татьянинных комнат какими-то грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых, тем не менее, мучительно скорбит всякое новое сердце.

– Лукерья! – говорил кухарке один бородастый юноша, – подай свечи, да ежели Дуняша

из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?

– Проказник вы, Петр Лукич! – улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.

– Что? – в свою очередь осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук. – Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?

– Комиссия! – отвечает борода. – Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? – сего никто понять не в состоянии.

– А вы ее, за слезы-то, взяли бы за белые руки да за длинный хвост – да на лестницу. А то не знает, как отвязаться! – поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду. – А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.

– Тише! – шепчет юный. – Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.

– Отцы мои! – ужаснулся Бжебжицкий. –

Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозит-ка{39} наяву. Так я, друг мой, в момент распоряджусь ужином. Только вот одежонку накину.

– Смотрите только, – трепещет юноша, – не просадите в бильярдной. Осрамите меня.

– Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут, – чем черт не шутит! – городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.

– Лукерьюшка! Дома Петр Лукич? – спрашивает цветочница Дуняша про бородатого счастливец. – Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.

– Ох, девушка, девушка! – грустно сказала Лукерья, – чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, – говорит, – ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, черт,

тетка? Расфуфырена точно до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.

– Что же, она и теперича у него сидит? – तोропливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным, шестнадцатилетним личиком.

– И теперь сидит. Барина-то того прощального за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.

Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась гадать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у нее предваритель-но на самый короткий срок красную бумагу в десять рублей{40} ценностью.

– Черт его, прости Господи мою душу греш-

ную, знает! – шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. – Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом{41}; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали{42} вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так то-с! – закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.



Кухарка. Рисунок из журнала «Всемирная

иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? – снова начала Дуняша. – Так и приказал что, дескать, не пускай ее, – меня, мол, дома нет?

– Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, унтер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? – Лопнут. Утроба-то ненасытная и то, может, лопнет. О чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.

– А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? – еще раз переспросила Дуняша.

– Что ж я тебе, дура, врать что ли стану? – с досадой ответила Лукерья. – Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?

– Ах, я разнесчастливая, разнесчастливая! –

вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. – Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. – И с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкой грудью.

– Что ты, что ты, беспутница, делаешь? – закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшей девушкой.

– Куды те, полоумную, шуты несут? – кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.

– Что тут такое? что тут такое? – пугливо осведомлялась красивая, полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотой часовой цепочкой, развешенной на груди в виде адъютантских аксельбантов.

– Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, – говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.

– Же лонер, мадам{43}! Милль пардон, мадам! – расшаркивался воротившийся из трак-

тира Бжебжицкий и достаточно уже хвативший для смелости. – Это моя сестра! Маляд, бедное дитя{44}! Она в горячке! – плакал услужливый воин и могуче оттаскивал девушку от двери. – Друг мой! Бедный друг мой! – говорил он – Поди, ляг в постель, голубенок! Успокойся.

– Подите к черту! – простилась Дуняша с компанией, быстро сбегая с лестницы.



Московский трубочист. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– Комедчики! Право, комедчики! – разрешила всю эту историю хладнокровно Татьяна. – Только и дура же эта Авдотья! Поди-ка, что выдумала – к господам драться полезла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сне еще ей не снились...

– Что, Авдотья Елисеевна, али с господами-то – не с нашим братом? – встретил Дуняшу на дворе молодой мастеровой, некогда отвергнутый ею. – Хорошо, верно, господа привечают, да хорошо и вон провожают... – с насмешливой тоской говорил он девушке, дрожавшей всем телом от злости на человека, так нахально обругавшего ее первую, молодую любовь.

– Милый ты мой! Митя, голубчик! расшиби ты сейчас окно у них, у разбойников! Я тебя за это, умереть мне на месте, полюблю с этого самого часа. Только ты возьми камень и расшиби.

– Беги за ворота, а оттуда в пивную к Про-

кофью, там меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полиция придет. Скажешь тогда, ежели спросят: «Я, мол, тут с Митрием близко часу сижу», – советовал Дмитрий, и скоро после этого в *комнатах снебилью* целая оконная рама была вдребезги разбита десятифунтовым булыжником.

– Держи, держи! – орал Бжебжицкий, размахивая своим ужасным чубучищем.

– Держи, держи! – голосил дворник на улице будочникам; но халатник сидел уже у дяди Прокофея и любовно говорил своему новому другу:

– Милая моя! ты вот осмеяла меня тогда: мастеровщиной немытой ругала, – а все же я тебя в твоём грехе от всего моего сердца прощаю. По молодости по своей девичьей проштрафилась ты, не знала, что господа-то вашу сестру для утехы своей обманывают... Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящего-то горя так и то не выплачешь, а твое горе – не горе, а плевое дело...

– Я, Митя, и не плачу, – шептала Дуня. – Я вот только с сердцем никак не могу совладать; дрожит оно у меня очень, сердце-то!

Всех бы я их, до одного человека, теперича зубами изгрызла.

– Мы теперича, – растягивал Дмитрий, пьянея и, следовательно, уже начиная муштровывать свою бабу, – мы теперича никогда не должны этого говорить. Потому перед Богом такие слова – грех, по Писанию не так... Опять же, ежели ты возверзишь... и воззовешь... Ну, од-дно сл-лово... у меня слушаться! Со мм-мною тебе, девка, хор-рошо буд-дет! Я не ворр, не пьяница чтобы большой уж очень, – грамотен тоже... Слушайся меня, девка, пей пиво, а я твоего греха не попомню. Цалуй!..

Немало также новой жизни в прежнюю патриархальность воскресно-мастеровых вечеров дома внесли и праздничные возгласы Захара, бывшего подручника Татьяны у купца. Затешется он, бывало, на дворик *комнат снебилью*, станет пред их окнами растрепанный, разбитый весь, с пьяным, чахоточным румянцем на лице, и заорет:

– Эй, Татьяна Ликсевна! – отворяй ворота, принимай за повода, – гости приехали!.. – И ежели Татьяна, распивая кофей с приятельницами в каком-нибудь дальнем углу своей

квартиры, не услышит молодецкого вызова, то кто-нибудь из жильцов, а чаще всего прапорщик Бжебжицкий, неустанно посылающий из своего окна поцелуйчики проходящим дамам, непременно бежал к ней и докладывал:

– Татьяна! – опять Захар пришел, пьянее прошлого. Что же ты не сразишься с ним? Бежи скорее; ругает он тебя на чем свет стоит.

– Ах, губитель! Ах, злодей мой великий! – восклицала Татьяна. – Осрамит он меня теперь до конца. Что я с ним, с варваром, буду делать?

– Сразись поди, пролей свою кровь! – советовал жилец, алкая потешить свое бездельное одиночество медвежьей травлей. – Может быть, вид твоей жертвенной крови, – продолжал шутливый барин, – и приведет его снова в норму.

– Какая ему теперича норма! – возражала Татьяна барскому слову, с коварной целью показать, что она нынче понимает тоже по-французскому. – Он теперича, ежели я дворнику четвертака не дам, брехать будет до самой зари утренней.

– Так ты прибегай поскорее хоть к сему спасительному средству, не то ведь скандал выйдет.

– Будет уж вам! – пугалась Татьяна. – Мне и без ваших присказок тошно.

– Тошно? А зачем изменяла? Помни, что злодеяние всегда наказывается, а порок торжествует.

– Что же, Татьяна Ликсевна? – кричал со двора неугомонный Захар. – Али, барыней стамши, компанией старинной брезгаете? Эдак-то, кажись бы, добрые люди не делают.

– Будет тебе, молодец! – усовещивал Захара дворник. – На чужом дворе буянить тоже не очень-то нашему брату дозволяют.

– Валяй, валяй ее, друг сладкий, половчей! – советовали молодые мастеровые. – Ежели ты ее, т. е. как следствует, пропечеть, сейчас умереть, мы тебе пару пива на складчину тотчас же выставим, потому чтобы про нашего брата знали и ведали.

– Мы, друзья, свои дела и без пива в тонкости знаем, – хвалился Захар. – И как я вам заранее объявляю, как перед Господом Богом, вряд ли этой самой Таньке голову свою от ме-

ня уберечь, потому она жисть мою молодую заела; от ласки моей сердечной отвернулась, стерва проклятая, и оплевала ее, эту самую ласку. Эхма!

Большая душевная потеря слышалась в голосе пьяного молодца. Стоит он посередине двора, готовый на все, и с каждой минутой возжигается все больше и больше.

– Други! – кричал он, – ведь что она со мной сделала. У места в сновальщиках был {45} – прогнали ради нее, стариком своим за любовь с ней проклят, родными брошен! И на все это я не посмотрел, все одну ее в душе моей содержал... Ах! держите меня, братцы, пожалуйста, а то как бы греха какого не случилось, как бы она от моей крепкой руки не подохла.

– Будет, будет, дружок! – уговаривал снисходительно дворник, разжалобленный этим сокрушительным горем. – Видишь, народу сколько собралось; ундер, пожалуй, придет, в сибирку{46} заберет. Что хорошего в сибирке...

– Ах, ничего нет в сибирке хорошего! Только блаже бы мне в самой Сибири быть, чем с

этой паскудой водиться. Ах, надо мне с ней порешить, братцы! Заодно уж мне погнать-то. Расступись, народ!.. – И при этом Захар вбегает на лестницу *комнат снебилью*, и скоро ожесточенная битва, начатая им с Татьяной в ее квартире, переходит на двор, поглотивши собой праздничное внимание целого дома.

– Краул! краул! – звонким дискантом кричала Татьяна в сильных Захаровых лапах.

– Как он ее любит! Как он ее любит! – басовито шутил Бжебжицкий, покуривая Жуков {47} из длинного черешневого чубука.

– Это точно, ваше в-дие, что он ее очинно любит! – подвернулся какой-то пестрый халат. – Он без нее жизни готов решиться, ваше в-дие! Каждый праздник так-то ходит сюда этот молодец и каждый раз их обоих в полицию забирают. Потеха!

– Ну, разговорился! – прикрикнул Бжебжицкий на халат, справедливо вознегодовав на такую фамильярность. – Все вы таковы, каналы!..

– Батюшки, заступитесь! родимые, отбивайте! – убьет! – умоляла Татьяна, вьевшись,

однако же, всеми зубами в плечо своему беспощадному противнику.



Продавец ключей и замков. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– Вот как у нас, Татьяна Ликсевна, старинных любушек привечают! Вот как мы им русые косы расчесываем, белые лица разглажи-

ваем, – во-от ка-а-к! – злобился Захар, волоча Татьяну по грязному двору.

Волны народа, облепившие бойцов, бурлили и переливались около них, словно бы крутил их вихорь летучий; но тем не менее никто не решался расхолодить этих раззловившихся зверей, которые, с пеной у ртов, грызли друг друга и ворчали, ежели кому из них удавалось как-нибудь покрепче тиснуть так недавно дружеское тело.

– У них теперь надолго пойдет, – толковали в толпе. – Ежели их теперича водой не разлить, до самой до темной ночи продерутся.

– До полночи не продерутся, – слышались возражения, – устанут, опять же и кровь... Уж тут долго не надерешься, коли кровь пошла. Сейчас же тебе в голову вдарит...

– Это точно, что вдарит; особенно ежели нос тебе рассадят...

– Что, что тут такое? – возговорил, наконец, старик ундер, пришедший на шум. – Ты опять тут? – обратился он к Захру с грозным вопросом. – Я тебе в прошлое воскресенье что сказал – а? чтобы нога твоя здесь не была? а ты опять затесался; опять ты тут, разбой-

ник, буйство стал учинять? Я же теперь тебя побаюкаю за такие дела!.. – И при этом карательный старик свалил Захара с ног, хвативши его, что называется, в едало, или в самую суть.

– Бей, бей его, сударь, разбойника! – со слезами просила Татьяна. – А как сменишься, приходи ко мне чай пить... Я тебе господских щей налью и водки куплю.

– Много благодарны, Татьяна Ликсеевна! Свое дело знаем: мы его сейчас, как следствует, по начальству, – объяснялся старик мимоходом в квартал, куда он потащил Захара, который, в свою очередь, на всю улицу орал:

– Мне теперича все нипочем! Я свою душу утешил! С меня будет...

– Молодец! – поощряли его мастеровые. – Ничего они тебе в фартале не поделают. В другой праздник придешь, так мы ворота-то припррем, городского-то не пустим, – расправляйся, как знаешь...

– Молодец! – вторил им Бжебжицкий. – Свое взял, а там – хоть трава не расти. Что, Татьяна Алексеевна, побаловаться изволили маленько? Верно, это не то, что кофе распивать

да за деньгами приставать каждую минуту? Говорил ведь я тебе, дура ты эдакая, ежели будешь за деньгами часто ходить, так либо я тебя отдую, либо Захар. Вот так и вышло по-моему!.. И на картах тебе гадать нечего было...

И под громкий и вместе с тем непрерывный гул такого рода сцен, с каждым днем все больше и больше разрасталась по широкой Москве, между ее известным людом, слава Татьяна заведения. Посторонняя жизнь, так или иначе интересуясь жизнью *комнат снебилью*, отовсюду налетая на дом, в котором помещались они, в соединении со случаями, подобными только что описанному пассажи, образовала наконец у ворот дома, на дворе его и в самом доме как бы какой вечно крутящийся, вечно шумящий омут, непрерывно горлающая пасть которого ежесекундно пыталась самыми страшными и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по соседству с комнатами.

– Любезненький! где тут Татьяна Ликсеевна-съемщица живет? – пугливо всунувшись в калитку, спрашивает у дворника румяный приказчик с громадным кульком под мыш-

кой.

– Ступай ты лучше отсюда, купец, ступай, покедова я тебе шеи не нагрел! – отвечает дворник, измученный многочисленными расспросами разнообразнейших субъектов о местожительстве Татьяны Ликсеевны – Сейчас умереть, ежели не уйдешь сию минуту, побегу к хозяину, – я ведь знаю, у кого ты живешь, – и скажу ему: вон, мол, где твой соколик погуливает!

– Напрасно вы, любезный человек, сердиться изволите-с, – ласковым и крайне пугливым голосом шепчет приказчик. – Пожалуйста, не шумите-с: мы с вами сначала по политике будем рассуждать; денег вы от меня много можете всегда иметь, потому как мне не Татьяна нужна, а Прасковья Петровна: девица такая живет у ней. Нужно нам ее в Останкино пригласить на прогулку-с.

– Знаем Прасковью Петровну. Ступай вон в это крыльцо; только у ней, братец, вашего брата-купца много теперь засиделось. С вечера еще в экой ли пристани тихой кантуют. Слышишь вон, как на гитарах наяривают? – Это у ей.

– Это ничего! Пушай их наяривают; она нам всякое снисхождение завсегда оказывает, потому доброту нашу ценит, опять же и деньги наши... – торопливо закончил купец и, выхвативши из кармана горсть мелочи, бросил ее дворнику и мышкой юркнул на крыльцо оценивающей должным образом его доброту Прасковьи Петровны.



Московский дворник. Фотография начала

XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем» Государственная публичная историческая библиотека России

– Экой народ взбалмошный – эти купцы! Ума у них не так чтобы много, а деньжищев гибель! – со вздохом заключил дворник, пересчитывая новенькое серебро. – Все это надобно мне в клад положить {48}, потому не скоро таким образом разживешься. Где только черти эти берут такую деньгу, – смотреть хорошо!

– Эй, землячок, родимый! – перебил дворника тоже испуганный, но басовитый голос приезжего мужика, тоже, как и недавний купец, пугливо просунувшего в калитку косматую голову.

– О, чтоб вас совсем! – гневался дворник. – Словно омут какой, так тебя и прет! Что тебе?

– Да то-то, кормилец! Кое место приехал, черти в кулачки не бились, – все девку свою ищущу. Ушла из деревни на заработки, а теперь, говорят, вольного поведения стала. Сказывали, в ваших местах скрывается, у какой-то офицерши Татьяны.

– Офицерши! – презрительно воскликнул дворник. – Много их таких офицершев-то... Как девку-то зовут? Сказывай у меня живее; а то уйду сейчас, тогда, хоть ты околей тут на сем месте, ничего не узнаешь!

– Прасковья была, кормилец! Мы ее в деревне-то все Праскуткой звали.

– То-то Праскуткой! Пускаете вы их сюда на свой срам, а на их погибель. Вот что! А тебя-то как зовут?

– Меня-то?

– Да, тебя-то!

– Дворник! Ты дворник? – перебил мужиков ответ некоторый юркий барин с горделиво-холуйским выражением в лице. – Куда тут переехала недавно благородная девица одна, Адельфиной Лукьяновной зовут?

– Был Петр Иванов, – продолжал мужик прежний разговор.

– Так и есть! Дочь твоя, Петр Иванович, у нас в этом самом доме живет; только жаль мне тебя, а помочь нечем. Такой она теперь барыней сделалась – на все руки! – жалел дворник бывшего некогда Петра Иванова, не обращая внимания на юркую личность. –

Придется тебе ее, дружок, знатно за волосы отхватать.

– Что же ты, скотина, не отвечаешь? – вскрикнул барин. – С ним благородный человек разговаривает, а он все к своему серому волку морду гнет. Успеете еще рожи-то друг другу в харчевне расколотить.

– Виноват, ваше в-дие! – спохватился дворник, в момент выхваченный этим окриком из-под занятого впечатления, навеянного на него разговором о пропащей Петровой дочери. – Вон по тому крыльцу извольте идти в 7 №. Там вы эту барыню сразу отыщете.

«Ведь кричит тоже! – бурлил привратник вслед уходящему сердитому господину. – Подумаешь, что заправский барин к заправской барыне пришел в гости и, подумавши, испужаешься. А как знаешь эти порядки, ничего-то ты не боишься, потому ежели тебе самое мудреное немецкое имя скажут, ты уж и знаешь, что врут». – Твоя дочь-то тоже теперь по-немецкому назвалась – и не выговоришь. Прокурат{49} здесь народ, Петр Иванович! Все это он нога в ногу с господами норовит, отчего и гибнет, особенно женский пол; потому

стрекулятников{50} этих в столице пропасть. Всякую они деревенскую девку, самую степенную, беспременно с пути собьют. Хитры на эти дела бездомовники проклятые!

– Били бы подюжее их! – исхитрился посоветовать дядя Петр. – У нас по деревнях таких-то, чем ня попадя колотят. Застанут у какой, оглобля под руку попадетса, оглоблей бьют; топор – топором... Злы мужики насчет эфтого...

– Н-ну, здесь так-то нельзя; здесь порядки не те. В полицию, говорят, представляй. Там, говорят, на всякое дело закон прописан. А все же я тебе советую с дочерью своим судом лучше расправиться; по судам-то не ходи, потому, вижу я, простоват ты – обчешут. Возьми, говорю, за косы-то ее да по зубам хорошенько, чтоб она отца с матерью не срамила.

– За этим не постоим, золотой! Известно, родители. Вдаришь, как не вдарить... Так и батюшка с матушкой (пошли им, Господи, царство небесное!) с детками расправляться учили... И перекрестившись, при воспоминании о покойниках батюшке с матушкой, дядя Петр отправился к дочери.

Но и крест, разгоняющий адские полчища, не разогнал бесов большого города, которые в беспрестанной и крикливой тревоге возились в доме, занимаемом комнатами *снебилью*, и вне его. Человеческие радость и горе отовсюду – или тихим, усталым шагом пешехода ползли в эти комнаты, или въезжали под их крыльцо на лихачевских рысаках, от бойкого скока которых колебался весь дом и жалобно дребезжали стекла в разошедшихся рамах. И в то время, когда дядя Петр расправлялся со своей непутевой дочерью, в подвалы и нижние этажи к мастеровым забирались много-различные личности и торопливыми голосами людей, безотлагательно куда-то поспешающих, громко спрашивали:

– Послушайте, скажите, пожалуйста, где живет студент Клокачов?

Немец слесарь, которому был предложен этот вопрос и который с утра выслушал уже таких вопросов бесчисленное количество, на минуту прекратил визжание железа, опиленного английского терпугом, с досадой бросил его на верстак и, злобно выпучивши на гостя слезливые глаза, крикнул:

– Я разве вам дворник? Чтобы черт побрал все! – И при этом он быстро заменил сюртуком фланелевый халат и ушел в биргалль{51}.

– Где здесь отдаются комнаты? – переспросили несчастливца уже на дворе, и натурально, что несчастливец ускорил шаги и ответил следующее:

– Здесь ни одной нет комнаты! У черта в аду много бывает комнат!.. – д-да!..

– Эй! мейн гер!{297} – кричит из окна убегающему немцу прапорщик Бжебжицкий. – Подите сюда, пожалуйста. Дело есть.

Немец с видимой неохотой возвращается.

– Почтенный бюргер! – говорит ему Бжебжицкий, – вы непременно идете пить пиво; захватите и меня с собой. Больше сего я вам ничего сообщить не имею.

Несколько приятельских лиц с хохотом показываются в окнах прапорщичьей квартиры и крайне любопытствуют проследить ту злость, с которой немец смотрел некоторое время на их шутивого товарища.

Благообразный мужчина, с дамой, одетой в щегольской бурнус{52}, останавливается против офицерских окон и спрашивает:

– Позвольте узнать, милостивый государь, где здесь отдаются меблированные комнаты?

– А вот извольте идти в это крыльцо, во второй этаж. Позвоните и спросите съемщика Ивана Медвежатникова, – грациозным жестом указал Бжебжицкий на крыльцо одного вечно занятого учителя гимназии, служившего всегдашней потехой для целого дома.

Скоро компания, собравшаяся у Бжебжицкого, имела наслаждение видеть, как мученик-учитель выбежал на двор в туфлях и шлафоре{53}, таща за руку благообразного мужчину, дама которого стремительно утекала за ворота.

– Вы разве не видали этого? – горячился учитель, показывая своей жертве на билет, приклеенный на двери в его ученую берлогу. На билете значилось:

«Здесь *не* отдаются комнаты с мебелью, а отдаются у Татьяны. Вход к ней из ворот направо, по второй лестнице, в третий этаж». Изречение это было переведено на французский и немецкий языки.

– Я не понимаю, милостивый государь, где у вас были глаза, – кричит учитель, – когда вы

шли ко мне!

– Извините, ради бога! Меня послали сюда, сказали, что у г-на Медвежатникова...

– Какой там черт Медвежатников? Это вон все те шалопаи потешаются...

– Профессор! Профессор! – кричал с хохотом Бжебжицкий, – не сердитесь. Муки эти на том свете за ваши ученые грехи вам зачтутся.

– Шаромыга{54}! – отвечал, в свою очередь, профессор, грозя кулаком своему врагу.

– Ругаются! – доложил учителю подошедший к нему в это время лакей. – Ужаси, как ругаются! Сказали, чтоб я в другой раз и приходить не отваживался. Мы тебя, говорят, из окна вон вышвырнем.

– Как же они ругаются?

– Сказать не смею-с; только просто ругаются. Говорят, ежели он еще раз пришлет, спустимся мы к нему в квартиру и изобьем его.

– Ступай в квартал! Там так все и объяви, от моего имени. А из открытого окна каморки, занимаемой благородной девицей Адельфиной, на весь квартал разливалась разухабистая «Барыня»{55} на двух скрипках и на гитаре, сопровождаемая молодецкими вы-

криками и, как есть, демонским трепакон.

– Вали гуце! – кто-то пьяный орал во всю грудь. – Что на них, на чертей, глядеть-то! За то деньги платим. Мы тебе покажем, как к нам лакея присылать с наставлениями! – крикнула какая-то рожа, высунувшись из окна.

– Краул! Краул! – кричала мансарда совершенно по-женски. И вслед затем та же мансарда, переменявши тон, приговаривала по-мужски. – Я тебе шельма, дам, как кофе ходить распивать к господам в номера.

– Батюшки! что же это такое? – обливаясь горькими слезами, спрашивал дядя Петр Иванович, выходя из комнат *снебилью*. – Родная дочь на отца руку накладывает – а?

– Ишь, музлан, туда же учить лезет! – щелкала вслед ему Прасковья Петровна, прощельжничеством большого города нареченная Амалией Густавовной. – Не учил тогда, когда поперек лавки укладывалась, – теперь уж не выучишь: теперь уж мы вдоль лавки-то впопору только укладываемся... Так-то! Увидишь своих, поклонись нашим; а то видите, кварталом вздумал стращать, ежели не остепе-

нюсь!..

– Вот она Русь-то разгулялась! – хохотал Бжебжицкий. – Катайте, катайте его, Амалия Густавовна, а то он, пожалуй, хвастаться будет, что он тут нам, городским, страху задал.

– Я ему задам страху! Не на тех напал страху-то задавать!

– Вот уж это, девушка, напрасно ты так-то поговариваешь! – вступилась за дядю Петра старушонка одна, с чулком в руках. – Он тебе родитель...

– Молчи, старая дура! – прикрикнула на нее русская немка. – Почему ты знаешь, может, я ему родитель-то?..



Москва. Околоточный у Верхних торговых рядов в начале Никольской улицы. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России

Уселась старуха после этого окрика на дрова, на самую солнечную припеку и, под визг мастерового железа, под гвалт комнат *снебилью*, под грохот экипажей и вообще под этот несмолкаемый стон столичной суеты, зашептала нескончаемую рацею{56} о прошлых временах и о прошлых людях.

– Была сама такую-то! – говорила старуха, покачивая головой и побрякивая вязальными спицами. – Много соблазну здесь для нашей сестры: устоять никак невозможно; а все же, бывало, когда отец али мать наедет, примешься, бывало, плакать; примешься на долю свою стыдную жаловаться и скорбеть... А ведь в нынешних стыда-то нет никакого. Ох, нет никакого стыда в нынешних людях!.. Срам!.. Все равно как дикие звери стали! Ни в Бога веры, ни любви к людям!..

– Ваше благородие! Повестка к вам от г-на квартального поручика, – пробасил Бжебжицкому усастый полицейский вестовой. – Извольте завтрашний день к 10 часам в контору пожаловать.

– Это зачем?

– А вот тут в повестке все аккуратно написано.

– Дай сюда! – И Бжебжицкий стал читать: «Сим приглашаю... по делу, якобы о скандале, произведенном вами в квартире учителя и проч. Также по жалобе солдатской дочери Афимьи...» – Черт знает что такое! За все, про все ныне в квартал зовут. Любезный! скажи поручику, что, мол, прапорщик лежит на одре. Слышишь? Так и скажи.

– Слушаю-с! Счастливо оставаться, ваше благородие.

– Погоди-ка. Не знаешь ли жида какого-нибудь: денег бы мне у него занять под сохранную расписку{57}.

– Не могу знать-с, ваше благородие! А ежели, теперича, серебро, золото, али бы что из платья из хорошего, так мы сами иногда верным людям даем.

– Дурак! Я тебе сам дам под золото да под серебро, даром что ты неверный человек...

– Что это за проказник такой этот барин! – смеялась Татьяна из кухни. – На всякое слово у него всегда ответ есть. Ежели бы он деньги платил как следует, да не дрался, – цены не было бы этому барину!..

V

Глава, имевшая было начертить легкую характеристику лиц, согнивающих в комнатах снебилью

Я тебя постараюсь как можно тише окрикнуть, бедный народ! Я спою про тебя, вечно ноющая, вечно голодающая птица *комнат снебилью*, настолько незлобивую песню, насколько незлобивых жизненных тем набралась в этих клетках моя собственная, озлобленная голова.

О, мир вам, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всесильной нуждой! Мир вашим снам, озлобленно-тревожным, ногам вашим, вечно снующим и ничего не выходящим, всегдашней злобе вашей желаю я

скорого утомона!..

Ибо злоба ваша – смерть ваша. А как тяжело умирать одному в меблированных вертепах, – одному, с одной только злостью своей даже и на этот день, который так светло пробивается в комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этот бойкий гул столичной жизни, неумолчно гудящий за стенами!

Пред смертному крику гасну щей, медленно истомленной жизни в кухонном углу где-то безучастно и отвратительно крикливо вторит одна только Лукерья бессмысленно-фабричной песней про какого-то всадника, который будто бы

*Кор-ми-и-т ко-о-ня сы-ы-та-а,
Сам ест сухари{58}.*

Песня закончилась наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистой кучерской трелью, а с ней вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья – взглянуть на человеческое лицо, – закончилась скрежежом зубов, хрипом надсаженной груди и желтой пеной на посиневших губах. Исковеркан-

ная той безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя – тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем – целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.



Императорский почтамт. Репродукция с литографии Т. Миллера. Конец 1840-х гг. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честной, руку и сказала:

– А околел ведь. Лукерья! беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! – добавила съемщица, поматывая головой, – кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?

Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлому лицу природы – единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской гибели, а потому пусть пойдет другая глава.

VI

Наружный вид дома с меблированными комнатами

Трудно чему-нибудь быть своеобразно-грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, т. е. на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое, время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало «Экипажное заведение Трифона Рыкова», рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба со страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор – извозчичий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие «караул»; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои

невыразимо-воняющие приюты орду *комнат снебилью*. И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол, залепливаются синей сахарной бумагой{59}; в комнатах *снебилью* и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро врастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся

его дрожащие ноги, что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады...

Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна со своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное, лицо, всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо грязная и темная жизнь.

Но не веселее наружности описанных домов и внутренности их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории – и тогда для вас, может быть, очень сбыточной покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному кам-

ню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду, проливным дождем сыплются на их бездольные головы.

VII

Коридор комнат и его жильцы

И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела в Татьянины комнаты *снебилью*, можно ходить людям, – но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить{60} его, как Господь Бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним со своим хозяйским глазом, говорила:

– Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, Господь ежели благословит, окупится домишка, а тогда его можно будет подрумянить ма-

ненько, подпереть, пообмазать – и побоку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно... История тоже известная...

Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однако же были люди, которые сжились с этой темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно, не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеинка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости{61}, могущей очистить его апартамент от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.

Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда

износятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какой-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души...

Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что они платят за квартиру, чем живут, – не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы, жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое, – раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно – не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономах у богатого холостяка так долго, что оба они в этом сожителстве половину зубов по-

теряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть, и частым погрызыванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище – и вдруг старичина неожиданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих лапках{62}, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить – и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.

«По одежке протягивай ножки!» – говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа – нет-нет, да и спросит либо супца с хорошей, настоящей, как в старину бывало, говядиной, либо чайку внакладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике, – вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавши, что жилища прогорела,

благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.



Вид на Гончарную набережную и Таганку. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:

– Что теперь делать мне, милая Татьяна Лексеевна? Ума не приложу.

– Что такое, что такое у тебя случилось? – спрашивает Татьяна Лексеевна встревоженную девицу.

– Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте идти, мамзель, куда вам угодно. Смеется, разбойник! Косу-то мне,

злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал идти; знакомые у меня там есть: защитят, может...

– Да за что же это он тебя? – осведомляется любопытная Татьяна. – Ведь вы допрежь дружно живали.

– Да за что? – откровенничает девица. – Ни сном ни духом не знаю за что... Точно что полету я как-то раза с три езжала в лагеря к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская? – Сама небось знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..

– Что говорить! что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полюбовник Грунин, – а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?

– Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.

– Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж

и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без перевода тут у нас чай с кофеями пойдут.

Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и горничные, как они про себя говорят – «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы{63}, идо-лы, черти, подхалимы и т. д.

Отчего это принято называть такие куха-

рочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь, так же случайно, я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой Татьяны выступал некоторый субъект, известный в *комнатах снебилью* под именем Александрюшки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрюшка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.

От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочной выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращал-

ся даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этой старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.

– Бабушка! кто это тебя сюда пустил? – спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очками, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. – Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин што ли пустил? – расталкивал уже дворник молчаливое существо.

– Ты вот что, дворник, – прошептала наконец таинственная незнакомка, – ты не толкайся. Я губернская секретарша!

– Полно балы-то точить! – сердился дворник. – Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?

– И ты не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. – И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заско-

рузлую дворницкую руку.

– А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?

– Бог! – удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.

– Что ты с ней будешь делать? – спросил дворник уже у Татьяны, с какой-то снисходительной полуулыбкой. – Надо, верно, в фартал идти объявить.

Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то – должно быть, про свои, одному Богу только известные, дела.

Квартальный пришел – и добился столько же, сколько и дворник.

Старуха-нищая. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Как вы сюда попали? – спрашивал у старухи надзиратель.



– А так и попала... – отвечала она с видимым неудовольствием. – Как попадают-то, разве не знаешь?

– Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.

– Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?

Доложили об этом происшествии хозяину.

Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам ослабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:

– Бог с *ей*, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчаливостью от Бога награжен...

– А как же, хозяин, – вступилась было Татьяна. – мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилищу с капиталом...

Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрюшка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:

– Мне, – говорит, – милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда... – и при этом хозяин торжественно указал на потолок. – Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев

никогда не было, хотя точно что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают... Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя *это* устроено, и ты должна все *это* понимать и ценить...

– Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.

– Это так, достаток имеем; только с фатеры единой даже копейки скостить не могу, потому так уже положено ходить ей по тридцати серебром; щепочек вон, коли хочешь, что от построек осталось, возьми охапochку-другую. Просим прощенья, милая женщина! Жить вам да поживать, да добра наживать! – закончила борода, отправляясь восвояси.

– Жидомор, черт!.. – шептала вслед ему Татьяна; после чего губернская секретарша безвозбранно поселилась в комнатах *снебилью*, оплачивая свое завоеванное положение и кусок хлеба своим неутомимым рвением служить даже слуге всех – Лукерье и готовностью, во всякое время дня и ночи, сердито побранить какого-нибудь подкутившего жиль-

ца, утешить Татьяну в каком-нибудь несчастье, истолковать ей мудреный сон, виденный в прошлую ночь, и проч.

Терпеливо и ни на минуту не меняя своего сердитого лица, исполняет заштатная чиновница свои многочисленные роли, так что в непродолжительном времени ее полоумная манера неизменно и во всем угождать всякому человеку, но угождать как бы из-под палки, что называется «срыву», – сделала ее тем не менее любимицей и темного коридора, и светлых комнат, так что стала барыня совершенно необходимой вещью в обоих местах, в одно слово нареченной и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающим именем «чиновницы-Александрюшки».

Без таких Александрюшек в Москве обходится редкий дом. Это чрезвычайно своеобразное русское горе, гнездящееся в различных Тулах, Нижних и прочих жирных городах, которые приучают его с целью потешиться им на досуге той потехой, которую доставляют им бодливые, но не имеющие рог коровы... Характеризуется это горе своими земля-

ками и, так сказать, пристанодержателями знаменательным словом: *тронумишь ма-ленько*; а я лично думаю, что они *обозлимишь, и обозлимишь не маленечко, а очинно*. По последним штрихам, которыми я имею закончить Александрюшку, весьма легко рассудить, каким именем лучше назвать коренную жилищу комнат *снебилью*.

Во весь голос, без всякой помехи, задувает, бывало, Лукерья на кухне, примерно хоть про то, как некто «вечор был на почтовом дворе» и как этот некто на том дворе на почтовом «получил от девицы письмо». Раздолье полное звонкому бабьему голосу, потому что день выгнал всех комнатных жильцов на добычу; коридорный люд тоже разбрелся кое-куда по своим мизерным делишкам, – и во всем этом пустынном сарае осталась только домоседничать Лукерьяина песня да Александрюшка.

В виде какой-то толстой, пегой змеи ворочается в коленях у убогой чиновницы ее всегдашний, непокидаемый друг – шерстяной чулок, тихо звякают и шелестят ее вязальные спицы, а сама она, неразвлекаемая многораз-

личными комиссиями, которыми со всех сторон засыпали ее жильцы комнатные и коридорные, когда бывали дома, долгое время, по своему обыкновению, молчаливо и неподвижно сидит около самой двери и как будто старается подслушать, о чем именно шепчутся с этим неповоротливым чулком ее тонкие, проворные спицы. Сидит, говорю, и ни слова; только головой, поистине обутой в какой-то чепец с уродливыми фалбарами, из стороны в сторону раскачивает. А между тем по лицу ее проходят в эти минуты глубокие морщины, налегают какие-то мрачные, выражающие крайнее страдание тени, так что Лукерья, случайно прошедши мимо Александрюшки, непременно произносит:

– Ну, начинается комедь. Подступило! И действительно, комедь начинается.

– Что такое? – сердито и громко спрашивает Александрюшка у своих спиц. – Мало ли по белу свету всяких злых дел делается, мало ли разной неправды по земле ходит? Что же мне за дело? Батюшка с матушкой учили: не осуждай. Ну, и не буду, да! Молчишь – не грешишь и спишь – не грешишь.

Эти растолковывания всегда перекрикивали горластую Лукерью песню. Полная тишина воцарялась тогда в комнатах *снебилью*; только один кот тихо мурлыкал, лапаясь к ногам Александрушки, да сама Лукерья, опершись о косяк кухонной двери, пристально смотрела на человека с загогулиной в голове и по временам, с видимым, впрочем, ужасом, спрашивала:

– А ну-ка, Александрушка, про мою судьбу что-нибудь расскажи!

– Что же такое, что у ней каменный дом? – отвечала больная на вопрос Лукерьи о ее судьбе. – Кабы тогда я глупа не была, он бы и теперь, дом-то, мой был. Да! Я ей тогда сказала: сестрица! ты замуж хочешь, за богатого хочешь? Выходи – вот тебе мой дом. Тебя с ним богатый возьмет, только ты меня не покинь, когда мне что понадобится. Вот она и не покинула... Ха-ха-ха-ха! А, сестра! Ах, черти! Грех, грех ругаться-то, Александра Семеновна! Перекрестись, милая.

– Ишь ведь как чешет она правду-то матку! – ужасалась Лукерья, относя все эти слова к своей особе. – Как она самое-то нутро мое до

тонкости разбирает – страсть! Брех-баба я, грешница, каюсь! И за дело, и без дела со всяким грызться готова... Теперь сокращусь, попристальной стану Богу молиться. Только к чему же она это про каменный дом заводила?

– А был бы, был бы дом и теперь мой! – все с большим и большим неудовольствием толковала Александрюшка. – А может бы его пожаром спалило, сквозь землю бы провалился, или бы как-нибудь меня, дуру, им чужие добрые люди надули. Все может. Много, я говорю, по белу свету всякого несчастья расхаживает, – ох, как много! И несчастья, и неправды... Я вот теперь испокон веку всем помогала да угождала, а меня все вон выгнали, лицо-то мне все заплевали. А за что? Ну-ка, скажи, за что? – усиленно спрашивала больная, взорясь в свой чулок и спицы.

– А уж это так, Александра Семеновна! – жалобно ответила ей Лукерья, опять-таки воображая, что это угодный Господу человек про ее *жисть* обиняком разговаривает. – Это уж, Александра Семеновна, моя должность такая разнесчастливая. Жалованья-то мало, а наругательств всяких вволю на этих местах на-

принимаясь...

– Где бишь у меня сын? – вдруг спросила старуха и при этом вопросе даже отняла глаза от чулка и подняла их кверху. – Какой это у меня сын был, никак я не вспомню? Что это он у меня словно бы офицер был, или бы девицей он был? Нет, это дочь-девица у меня была; а он офицер был, точно! Добрый был, красивый, верхом на коне, я помню, ездил он, денег давал мне...

Тут окончательно уже пришла в себя Александрушка, при воспоминании о сыне, и хриплым голосом на всю комнату заплакала.

– Ви-и-ктурушка! Го-о-лубчик мой! Все-то меня без тебя бьют, все обижают!..

– Ну, уж теперь про себя пошла, – проговорила Лукерья, уходя в кухню. – Жаль, раньше ты не пришел: такие тут сейчас Александрушка истории городила – забава! Теперь опомнилась, об сыне голосить принялась, – рекомендовала кухарка Александрушкину печаль одному знакомому солдатику, который пришел потолковать с ней безделицу до тех пор, пока хозяйка с рынка не приволокется (черт ее облупи совсем, толстую шельму! Всегда, как

увидит, орет: зачем, говорит, крупа, к моей кухарке шатаешься? У меня, говорит, благородные господа живут).

– Черти вы, идола! – орала Татьяна, до красноты упаренная полупудовой порцией говядины, которую она притащила с рынка. – Кричала, кричала, чтобы двери отворили, – хоть бы собака какая бешеная отозвалась. Ну, эта сумасшедшая заговорится с собой, не слышит; а ты-то здесь каких чертей собирала? – спрашивала сердитая съемщица у Лукерьи.

– Здравия желаю, Татьяна Ликсеевна! – ласково раскланивался солдат, пряча за обшлаг шинели только что закуренную трубочку.

Москва. Торговля в Китай-городе. Фотография 1898 г. Частный архив

– Надымил уж тут табачищем-то своим! – взъелась на него Татьяна. Ведь с него собаки чихают, а ты господские хоромы им сквернишь. И зачем только ты, крупа, к моей кухарке шатаешься? – повторила она свою обыкновенную фразу, на которую солдат никогда не мог отвечать сколько-нибудь удовле-



творительно. – Ох, делать-то вам нечего!.. Ужо тебя барин какой-нибудь протолкает отсюда.

Не выдержал, наконец, солдатик нападок съемщицы и заговорил:

– Хоть я теперича, Татьяна Ликсеевна, и солдат, только никому обижать себя не позволю, потому не та наша линия... Так-то! А что теперь касательно, что я к Лукерье пришел, она мне в сродстве, и вы ей сродников своих запретить впускать не имеете права, потому не к вам я пришел.

Энергичнее этой оппозиции, выставлен-

ной солдатиком Татьяниной руготне, никогда еще не видывал темный коридор, хотя, надо правду сказать, точно так же он никогда и не слышал более зычного окрика, который зада-ла в это время Татьяна солдату за эту оппозицию. Остальной коридорный народ был до того бесцветен и снослив, что хозяйке на него и покричать-то как следует не удавалось, потому что все ее самые татарские желания, без малейшего даже помысла о противоречии, в ту же минуту исполнялись этим народом.

– Смолчи уж лучше, – советовали друг другу коридорные, когда кто-нибудь из них осмеливался возражать лютующей бабе. – Разозлится, на мороз выкинет, тебе же тогда хуже будет.

Немножко не таковы были жильцы комнатные.

VIII

Жильцы комнатные, или господа

Описанный коридор разделял комнаты *снебилью* на две половины, в каждой по четыре каморки, величаемых Татьяной громким именем номеров. Одна половина своими окнами была обращена на улицу, другая на двор. В одной из лучших комнат, смотревшей на улицу, в качестве человека, происходившего от старинных польских магнатов, жил прапорщик Бжебжицкий.

– Да! я-таки привык к некоторому комфорту, – говаривал сей обрусевший сармат{64}, закладывая зимой пальто для того, примерно, чтобы купить ничтожный коврик, по двугривенному за аршин, к изодранному дивану, на котором он спал.

– В чем же вы теперь ходить будете? – спросит кто-нибудь у прапорщика в то время, когда он производит свою спекуляцию.

– Есть мне время рассчитывать, как и в чем ходить я буду, – обыкновенно отвечал он. – Подите спросите у Александрюшки, в чем

она будет ходить. В том же самом и я ходить буду. Рекомендую ее вам как самый лучший образец для всевозможных подражаний, – прибавлял Бжебжицкий, когда у него заходил с кем-нибудь из сожителей спор о каком-нибудь трудном вопросе жизни.

– А все это меня Москва к таким роскошам приучила, – откровенничал Бжебжицкий с жидом, принимавшим у него пальто, в надежде расположить своим добрым обхождением израильтянина к тому, чтоб он взял с него в месяц пять процентов, а не десять, как обыкновенно взимают израильтяне. – То есть ты не поверишь, Барадка, – убаюкивал воин наيشельмейшего жида, – такими она меня суммами заваливала, теперь даже и подумать о них грешно. А сама какая была! Ежели я тебе ее портрет покажу, так ты в полное неистовство придешь... – Но жид своими черными, бесстрастными глазами в одно и то же время осматривал и прапорщичые пальто, и самого прапорщика до того насмешливо и вместе с тем почтительно, что даже самая окрыленная надежда заставить его что-нибудь вскрикнуть при взгляде на портрет мос-

ковской купчихи становилась в тупик; однако же Бжебжицкий, как нельзя больше знакомый с этим взглядом, все-таки продолжал:

– Исааком, Иаковом и Израилем клянусь {65}, что ты, Барадка, непременно вскринешь: «Пане мой великий! пане мой, ух какой ясновельможный! Дайте мне эту купчиху миррой и вином напоить». Так-то, скверная ты тварь, жид ты, хриstopродавец, анафема! Вот я из-за чего мое пальто закладываю: из-за купчихи собственно, потому что нынешний день предстоит мне случай возобновить с ней прерванное знакомство. Так ты обстоятельство это и чувствууй всем своим носом жидовским.

Затем шла уже Барадкина речь.

– Ах, пане мой! – говорит Барадка. – Как же вы хороши так по-нашему науцились. Долго, должно быть, в Полсе вы жили; много, должно быть, вы нашему брату своих барских вещей прозакладывали... – И все-таки вместо того, чтобы дать прапорщику под его пальто шесть рублей, жид давал ему почему-то десять, а процентов брал только восемь.

Таким образом вел прапорщик свои де-

лишки.

Все они у него состояли из закладов и пере-
закладов и постоянных стремлений ухватить
где-нибудь в магазине, или лавке, распродаю-
щейся, вследствие некоторых коммерческих
обстоятельств, по невероятно дешевым це-
нам, – ухватить, говорю, товару какого-ни-
будь, под заемное письмо, сотняги эдак, ка-
нальство, на две, на три и потом бакнуть этот
товарец, по крайности, за бумажку со столби-
ками. В последнее время стремления эти осу-
ществлялись как-то с каждым днем все реже
и реже.

– Чем ближе к гробу, – говаривал Бжеб-
жицкий, – тем как-то несмысленнее делаешь-
ся. Ныне нет уже той прозорливости, которая
постоянно отличала столь эффектно бунто-
вавшую юность мою. Или уж народ, т. е. что
называется массой-то, измощенничался, ис-
прогрессировался, т. е. ходишь-ходишь около
него с целями добыть от него свои благород-
ные средства – и ничем-то ты его не объ-
едешь. Сама эта масса в нынешние голодные
времена каждую минуту диким зверем ры-
чит, потому что запрос на хлеб изо всякого

рта здоровый идет и тишины этой безмятежной, которой добрая старина отличалась, даже и в провинции не найдешь. Д-да-с!

Никогда, даже и в те моменты, когда Бжебжицкий находился на взводе, и следовательно, судя по-общечеловечески, в большем или меньшем расположении к откровенности, нельзя было добиться от него, кто он, откуда появился в столице и чем именно занимается в ней. Рекомендую же я его за прапорщика на том единственно основании, что это было последнее его показание, которому почти никто не верил, потому что за несколько лет назад Бжебжицкого нередко видали в Москве и под голубым околышем{66}, и в аксельбантах учебного офицера, в костюме штатского фешенебля{296}, с заливающей всю улицу своим ароматом сигарой во рту, и в жалких отрешках столичного пролетария – не с папироской даже, а просто-напросто с бумажным крючком, набитым тютюном, где-нибудь на Цветном бульваре, или у будки{67}, дружелюбно вспоминающим с часовым про красоту родимой саратовской степи, где в одной деревушке у часового, как слышно было из раз-

говоров, проживала старая мать, а у Бжебжицкого в другой, соседней деревушке, находилось будто бы имение, отнятое во время его сиротства некоторым старым дядей, отъявленным мерзавцем и шельмой.

Видали, повторяю, люди, как прапорщик заговаривал, как говорится, зубы бутырям{68} с целью, воскресивши в их памяти родные и весело зеленые поля и родные же, но черные и печальные избы, получить некоторым образом приглашение войти в теплую будку, обогреться и покалякать; а дальше Бжебжицкий умел уже, как он сам про себя говорил, держать фортуна за хвост, – дальше в будку приходила какая-нибудь Матрена из соседнего дома, вынимала эта Матрена из своих карманов полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самовар. Под его приятное шипение Бжебжицкий заводил нескончаемый рассказ про свою сиротскую, бедственную жизнь, за что, конечно, получал, хотя и косвенное, награждение в виде этого угощительного горячего чая и мягкого полубелого хлеба, которые так приятно ложатся на начинающий уже мертветь желудок. А ночь меж-

ду тем, – эта темная, с холодным, постоянно морозящим дождем, осенняя ночь, – все идет да идет вместе с этим печальным рассказом про непрестанный голод и холод, про необходимость не унывать в такие времена, про разные веселые шутки, которыми, в свою очередь, молодцеватый бедняк отражал нашествие на него грозной нищеты; а простой народ с каждой минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя{69}.

– Вы вот что, ваше благородие, – говорит наконец будочник, окончательно завоеванный барским рассказом, – вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегая, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный нейдет ли.

– Ах, барин, барин! – задумчиво и печально произносит Матрена, смотря на гостя. – Тот, погляжу я на тебя, горя-то на своем веку много ты нахлебался!

– Вволю хлебнул всего: и горя, и радости, мать ты моя! Ведь вот теперь, признаться ска-

зять, не по моей бы губе ваш чай, не привык я пить такого; однако же пью, и сроду, кажется, сласти такой не видал. Вот до чего голоден!

– О, о-хо-хо! – простонала Матрена. – А мы, грешные, все-то завидуем господам, все-то мы думаем, что у них горя-то и в помине нет.

– Как же! Больше вашего еще. Ты не гляди, что они сладко едят да одеваются чисто. Ты вот, например, сошла с места, нет у тебя квартиры, нет денег, так ты в любом месте у своего брата ночевать за Христа ради выпросишься, а барину-то стыдно христарадничать. Вот я которую ночь на улице сплю...

– Барин хороший, да ты ноне-то хошь у моего в будке переночуй; все же теплее. Отдохнешь по крайности...

Умел Бжебжицкий толковать со всякого рода бедностью, и она его, и он ее до слова понимали.

– Я теперь ничего не боюсь, – говаривал прапорщик, – ко всему привык и у самого даже бедного человека, что бы только ни захотел, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое место для меня хорошо и скверных случайностей не существует.



Москва. Охотный Ряд. Фотография начала XX в. Частный архив

Говорит это прапорщик, а сам (беззаботный такой!) сидит на своем изорванном диване и болтает ногами. Его апартамент смотрел тогда тоже как-то особенно беззаботно, словно бы это был не человеческий апартамент, а птичье гнездо, оставленное своими первоначальными хозяевами и служащее теперь местом отдыха и ночлега для разных перелетных птиц. Его пустота не страшила собой даже непривычных, посторонних глаз. Три лег-

ких соломенных стула, ломберный стол, за отсутствием надлежащего количества ног прислоненный к стене, этажерка с пылью и гравированное изображение какой-то красноватой и пухлой женщины с надписью: «L'innocence»{70}, бог весть кем и когда повешенное на стену, оклеенную разводистыми обоями, – все это вместе с прапорщиком как будто сейчас же готово было вскочить на никогда не устающие ноги и бежать за благородными жизненными средствами в первую лавку, где, по слухам, удобно было прихватить кое-что по мелочи, а bon credit{71}. Готово все это было, сказываю, без устали бегать по лавкам, по жидкам и по русским ростовщикам и ростовщицам – остепенившимся бабешкам, с целью отыскания у этого люда кредита, – прыгать и весело хохотать, ежели находился таковой кредит, и, не задумываясь, не печалась, равнодушно расстановиться по прежним местам, ежели борода, так сказать, выметала из лавки прапорщика, а жидки и остепенившиеся бабешки просили у него какого-нибудь ценного залога.

Говоря вообще, из всего того, что обставля-

ло темную жизнь Бжебжицкого, только один черный кобель его был невозмутимо солиден и серьезен, каковое, впрочем, кобелиное качество нисколько не делало прапорщика заботливее, а, напротив, подавало ему нескончаемые поводы к разным штукам, которые обыкновенно смешили большей частью нахмуренных жильцов комнат *снебилью*.

– Господа! – часто крикивал Бжебжицкий через стену своим соседям. – Идите ко мне, кто, как говорят хохлы, хочет позакусить трюхи. Цампа{72} будет за нас философствовать, а мы, как говорят русские мужики, клюнем безделицу.

Штука эта, когда униженные и оскорбленные соседи Бжебжицкого, вняв его предложению клюнуть, предоставивши философию исключительно на долю Цампы, – по крайней мере в моих глазах, исполнена глубочайшего интереса. О том, с каким бешеным остервенением предается выпивке физически и нравственно истстрадавшаяся бедность, можно судить по следующему, совершенно справедливому, анекдоту. У меня был один приятель, тоже из мира комнат *снебилью*, теперь ста-

рик уже, – башка, бывшая некогда при самом Денисе{73} штаб-ротмистром, угорелый пафос которой простерся в былые годы до того, что, раззадоренная однажды лихой песней бессмертного в летописях московских кутил цыгана Илюшки{74}, она бросила ему семьдесят тысяч, по тогдашнему счету – на ассигнации, а сама осталась в одном раззолоченном мундире, при *светлой сабли*, полосе и с пол-аршинными усами...

– Старичина! – спросил я однажды у этой башки, когда мы были с ней в гостях у двух братьев, степных помещиков, приехавших в Москву просадить четыре тысячки рублишек, по нынешним уже счетам – на серебро. – Старичина! – сказал я, – какие бесы помогают тебе вырезывать такие страшные стаканищи?

– А это, – ответил старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность, – это, говорит, братец ты мой, мне не бесы помогают, а сугубое представление, что завтрашний день на моем столе не только этой благодати не будет, а даже и рюмочки простой кокоревщины{75}...

Вот что мне сказал проерыжничившийся

{76} старичина, и, следовательно, бог с ней, с этой бедностью, когда она обжирается за чужим столом, и даже бог с ней и тогда, когда она опивается на чужие деньги, ибо и бедность, по моим теориям, есть не что иное, как живой человек, который, по пословице, хочет калачика, как и всякая живая душа.

Готовее всех и, следовательно, прежде всех являлся на закуску к прапорщику некто Сафон Фомич Милушкин – личность, принадлежавшая в дни своего младенчества к какому-то мудреному старообрядческому согласию. Это был маленький, с красноватым лицом, человек, вечно думающий о чем-то, робкий и как будто однажды навсегда испуганный какой-то страстью. В комнатах *снебилью* он прославился своей, так сказать, пламенной любовью к выпивке, отличным умением петь в подпитии разные старинные псалмы и поистине поэтическими рассказами о своей прошлой жизни, о пугающей среде, в которой она началась, и о тех совершенно невероятных причинах, вследствие которых Сафон Фомич разорвал всякую связь с этой средой.

Когда Милушкин находился в трезвом ви-

де, самый искусный дипломат не мог бы добиться от него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь франт, наскучивши свистать и маршировать по своей трехаршинной келье, придет к Сафону Фомичу, сядет около него и начнет:

– Ну что, Сафон, как дела? Что ты намерен теперь делать? Сафон молчаливо переходил от франта на другой стул и принимался молчать, если можно так выразиться, еще усиленнее и как бы озлобленнее.

– Что же ты ничего не говоришь? Я пришел к тебе, братец, по душе потолковать. Слышал я вчера, что лекции по винокурению{77} будут читать. Вот бы тебе чудесно послушать курс и на место устроиться в акциз{78} – а? Откупа-то теперь побоку скоро. Слышал небось?

– Н-ну, д-да! – сквозь зубы процеживал Милушкин.

– Право, попробовал бы, – продолжал приятель. – Взял бы ты, братец ты мой, билет на эти лекции...

Ночная чайная лавка Абросимова на Каланчевской площади. Фотография начала



XX в. Частный архив

Сафон Фомич, в сильном негодовании, обыкновенно тряс в это время своими длинными волосами, как бы сбрасывая со своей головы ненавистный билет на винокуренные лекции.

– Да что ты головой-то трясешь, шут ты такой? Тебе же добра желаю: места, говорят, отличные, оклады большие.

– Да отвяжись ты от меня, Христа ради! – как-то болезненно и вместе с тем азартно вскрикивал Милушкин, и ежели приятель не унимался и после этого крика, он уходил со

двора и пропадал нередко на целые сутки.

Но выпивал Сафон Фомич – и совершенно менялся. При одном только взгляде на полуштоф лицо его принимало какое-то плачущее выражение; какая-то мука ложилась на него, вследствие которой Милушкин принимался тяжело вздыхать и крутить головой, и наконец уже выпивал, после чего неукоснительно громко стучал по столу и скорбно морщился. И достоверно известно, что в Сафоне Фомиче эти приемы были вовсе не заранее придуманным манером с целью посмешить и амфитриона{79}, и компанию, а просто какой-то необходимой мистерией, без которой выпивка не имела бы для него никакой цены.

– Для чего ты морщишься, Сафон? – спрашивали у него собеседники, зная, что Сафон на взводе и что, следовательно, как все шутили на его счет, находится в полнейшей возможности разъяснить причину всех причин.

– Сту-у-била она меня, чер-рт ее побери! – отвечал Сафон, указывая на водку. – Гибель она моя! вот от чего я морщусь, потому мука... Хочу совладать с ней и не могу; я от немоци этой страдаю...

Предстоявшие разражались громким хохотом, а Сафон со скрежетом зубов наливал еще рюмку, со злостью выпивал и проговаривал: «О, чтоб тебя черт взял, проклятое зелье! Не было бы тебя, так и горя у меня не было бы никакого!..»

После двух рюмок Сафон Фомич обыкновенно начинал, по выражению Татьяны, комедь про свою злосчастную жизнь. И хозяйка комнат, и кухарка даже лезли тогда к Милушкину со своими шутками, упрашивая его рассказать им что-нибудь поинтереснее, – и Милушкин беспрекословно разговаривал с ними, примерно, в таком роде:

– И вам рассказать что-нибудь? – спрашивал он их, по своему обыкновению вихляясь и как-то отчаянно покручивая победной головой. – Извольте, Татьяна Алексеевна! Извольте, Лукерья Онисимовна! Удовлетворю и вас. Примерно, какая теперь разница, спрошу я вас, между мной и вами? Вы обе – дубовые отрубки, и я по-настоящему должен бы быть дубовым же отрубком. Идол! – гремел старовер на Татьяну, – ты так и осталась дубом на всю жизнь, а я, на мое всегдашнее горе, в живот-

ное превратился, – в живое животное, которое во все места каждая рука бьет, и оно это чувствует; а ты, ежели тебя даже и в рожу съездить, ты этого не почувствуешь, потому корой ты обросла столетней.

– Черт знает что! Как же это не почувствую, когда меня бить будут? – отшучивалась Татьяна, видимо, однако, робея начинавшего уже восторгаться Сафона Фомича.

– Да уж я тебе врать не стану. Ты слушай меня, дурь безмерная! Понимаешь ли ты, что соврать, как ты, например, ежесекундно врешь, – я не могу, как не могу не умереть когда-нибудь. И потому я тебе говорю: ты – дубовый отрубок, которому легко жить, а мне тяжело.

– Ну, – говорил кто-нибудь из жильцов, – наслушается теперь Татьяна староверческих отвлеченностей! – Между тем сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала над ними, как говорится, в сторону.

– Так-то, Татьяна Алексеевна! Ты вот как думаешь, что я здесь делаю, живучи у тебя? Ты ведь, знаю я, полагаешь, что я ничего не делаю, а так вот себе, баклуши бью!

– Как можно, Сафон Фомич, ничего не делать? – говорила Татьяна со стыдливой и старающейся быть почтительной улыбкой, – все что-нибудь по своим делам орудуете, а только, признаться сказать, не знаю что.

– Вот я тебе сейчас скажу, чем именно я у тебя орудую здесь, – вызывался Милушкин. – Я, милая ты моя, наблюдаю, есть ли в Москве человек, которому бы жить на этом свете хуже меня было. Вот что я делаю! Наблюдаю – и не нахожу, и скорблю душой от зависти, что вот люди – как люди, а я – ни богу свеча ни черту кочерга. Ты и то лучше меня. Изобью я тебя сейчас за это, бабница дурацкая! Всякому злу ты причина, всякому доброму начинию гибель.

– Эй, Сафон! опомнись, любезный! – уговаривали его соседи, выбежавшие на крик Татьяны, которую несчастный начинал уже поталкивать. – Поди лучше выпей, мы за водкой послали.

– Любезное дело! – соглашался Сафон. – Дурак я, вздумал с бабой раздабарывать. Плевать нужно на баб всегда, а не раздабарывать {80}. Пьем?

*К-кому повем печ-ча-аль мою?
К-ко-о-го призову к рыданию?*

обыкновенно запевал Сафон Фомич, когда начинал, как говорится, заговариваться. Всякий, кто только не ленился, мог сделать из него в это время своего шута.

– Ну, Сафон, – приставали к нему тогда со всех сторон, – расскажи, пожалуйста, как ты попал сюда, зачем и почему?

– Можно! – кричал Сафон. – Знаю, что вы смеетесь надо мной, бестии, а я расскажу, – в поученье ваше общее расскажу. Слушайте: «Родился я там, где-то, у черта на куличках; верстам отсюда до тех мест счету нет, только все эти версты я собственными моими ногами измерил, и все они – эти, т. е. ноги мои – и теперь еще от той меры долгой кровью сочатся. Ноют и визжат они у меня в тысячу больше, чем вы ноете и визжите, когда вам Татьяна жрать не дает по неделе... Так-то!.. Что же я еще хотел сказать вам, ребятки? Да! Дедушка у меня был... Только лучше я про дедушку моего ни слова вам не скажу, потому что вы таких людей и во сне ни разу не видывали. Век ваш не такой и племя – иное. И про отца тоже

ничего не скажу, потому что и меня одного станет про вашу потеху дурацкую. Всего лучше будет, – продолжал Милушкин, сердито наморщивая брови и как бы опамятававшись, – ежели я про весь дом наш не буду говорить с вами; испугаетесь вы, пожалуй, до того этого дома, что и смеяться надо мной перестанете.

– Не по носу вам этот дом, ребята! – словоохотливо добавлял Сафон Фомич, расцветчая насильственной улыбкой свое лицо, всегда помрачаемое воспоминанием о родимом доме, – букет его, братцы, сразу перехватит вам носовые хрящи, даром что вы ребята обстреленные, ко всяким, следственно, ароматам привыкли.

– У нас, бывало, в дому по целым ночам мать, как Рахиль в Раме{81}, стонала и убивалась, а седой дед, с морщинистым таким лицом, неподвижным и сильным, как гора каменная, тоже по целым ночам за толстой книгой в кожаном переплете сидел и дочь, от слез обезумевшую, ни одним взглядом, бывало, не пробовал утешить. Сидит, говорю, бывало, в переднем углу, как темная туча, и буб-

нит свою книжку; а в окна большой избы, освещенной тонким сальным огарком, такой-то крикливый ветер просился, – тоска!..

– Но и матери плакать, и деду благочестивым книжным чтением заниматься ничуть не мешали ужасы страшной лесной, северной ночи, потому что горе нашего дома было в тысячу раз страшнее этой ночи... Почему страшнее? Потому что про это разговаривать не велено было!.. Ха-ха-ха-ха! – истерически хохотал Сафон Фомич. – Не пикни! – кричали, – а то, говорят, других испугаешь... Ха-ха-ха-ха!

– Только я вам и об этом горе не буду больше толковать; лучше я вам расскажу про отцовы и про дедовы книжки, по которым я читать выучился. Это были толстые, почерневшие книги, которые угрюмо высматривали из темного переднего угла, где они обыкновенно лежали, – словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вот-де, мальчуганы, какие мы сердитые! Много об вас хворосту истегают, много волосенок повыдергают, когда будут вас учить вникать в нас! Только, бывало, картинками, нарисованными в них, и

можно было подманить ребяенок к этим книгам. Подойдешь, начнешь перелистывать, а от листов пахнет воском и ладаном, божьим деревцом и кипарисом, и все они переложены узорчатым кружевом, разноцветными лентами и широкими прорезными древесными листьями. Не нагладишься, бывало, на книги, когда, осиливши первый страх, станешь рассматривать их. Особенно, я помню, занимали меня две картинки. Одна из них была в Псалтыре и изображала пророка и царя Давида, с золотым венцом на голове, поднятой к небу, где видны были зеленые верхи райских деревьев, со стволами густо-позолоченными, царь был в светлых, широких одеждах и с гуслиями в руках. До того, бывало, досмотришься, глядя на эту картинку, что наяву шевелились пред тобой листья небесных садов, порхали в них и пели какие-то невиданные птицы, и царские гусли тоже пели вместе с ними до того сладко, что все сердце в тебе изноет, слушая эти песни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, с другой, особенно памятной мне, картинкой: там, с молниями в карательно-распростертых руках, был изобра-

жен Господь Саваоф, в виде старца, парившего над землей на многокрылых ангелах...

– При взгляде на лицо разгневанного Бога, на эти змеистые, слегка подернутые золотом, молнии, летающие из его могучей руки, непременно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: «Свят, свят, свят!» – потому что кажется тебе, как рассказывал дед про Страшный суд, что вот-вот сейчас колыхнется земля на своих основаниях и запылает всеобщим пожаром и что волны того пожара достигнут до самого неба...»

Тут старовер приходил в окончательный экстаз. Его маленькое, опущенное, впрочем, рыжей бородой, лицо гневно морщилось и светлело, на лбу ложились совершенно старческие, глубокие морщины, придававшие этому лицу выражение несокрушимой силы, и, злобно стуча кулаком по столу, Милушкин продолжал свой рассказ с таким горячим одушевлением, как бы нашел он сейчас противника, который насмерть оспаривает правду его рассказа:

«Воспитали меня эти книги для славы Бога моего, которую я неустанно хочу проповеда-

вать. Что вы думаете, шуты вы, гробы повапленные{82}? Может быть, проповедь моя загремела бы в уши ваши, как гром Саваофа, который в старой книге на картинке душа моя видела и слышала, может, она образумила бы вас, перекрестились бы вы от нея, может быть. Али нет, не перекрестились бы?.. То-то и я сам думаю, вряд ли, потому что душ у вас нет и сердец у вас нет, а есть только одни утробы...»

– Ну, будет, ребята! Пошалили – и баста! Ну-ка, кто мне нальет водочки? Ибо руки мои уже не двигаются, – заканчивал Милушкин, грустно поникнув головой на залитый водкой стол.

В трактире. Худ. А. Волков. Открытка начала XX в. Частная коллекция

А между тем все, что называется, храбрые выпивохи уже стеклись к Бжебжицкому на его закуску, которая, с каждой минутой свирепея все больше и больше, превратилась наконец в бурно шумящую оргию. Сначала выпивку разжигали воспоминания старовера, а потом уже настоящий ход и значение прида-



ли ей два неразлучные друга: один – отставной учитель гимназии, кривой и обезображенный оспой, по прозвищу Степан Гроб, главная жизненная сладость которого заключалась в постановке, как он говорил, разных глубоких вопросов, а другой – некто уволенный студент Бенедиктов, прозванный за свою касту Никитой Пустосвятом, а за гигантский рост Високосным Годом, или отставным драбантом^{83} его шведского королевского величества. Этот муж считался звездой первой величины на горизонте комнат *снебилью* за свое необыкновенно оригинальное умение

играть на гитаре.

Високосный Год уже разошелся до такой степени, что его вариации начинали временами обращать на себя внимание самых пьяных; Бжебжицкий под эти звуки сладострастно разлегся на своем диване, задумчиво раскачивая в руке черешневый чубук; Амалии Густавовны и Адельфины Петровны, обманутые некоторыми мотивами, пробовали подпевать под гитару, но драбант не любил, чтобы кто-нибудь, а тем более какая-нибудь Адельфина или Степанида вмешивалась в его фантазии, и потому он время от времени во все свое громовое горло без церемонии кричал: «Цыц, бабы! не то гитарой головы разобью!»

– Где, где молодое поколение? – кричал Степан Гроб, напирая на некоторого молодца, прозванного одними – мистером Скимполом из «Холодного дома», другими же – Пляшущим Маколеем{84}. – Где оно, это новое поколение? – азартно переспрашивал Гроб, яростно вращая единственным глазом. – Уж не это ли? – доискивался он, тыкая пальцем в одного шестиклассника-гимназиста, тоже жильца комнат. – Это вовсе не молодое поколение, а

это просто-напросто молодой пьяница!

– Bravo! – заорал таким образом рекомендованный гимназист, конфузливо приседая от неестественного хохота. – Bravo, Степан! (прибавить слово «Гроб» к имени своего бывшего учителя гимназистик все еще по старой памяти опасался). Я с тобой совершенно одинаких убеждений насчет молодого поколения.

– Поди к свиньям, губошлеп! – оттолкнул единомышленника грубый Гроб. – Коего черта ты согласишься в этих делах?! Ступай-ка лучше паси овцы отца твоего.

Гимназистик вломился было в амбицию, но староввер не допустил разгореться порывам мальчика.

– Полно тебе связываться с этой заразой, юноша! – сказал Милушкин гимназисту. – Ты разве не видишь, что это пьяный циник? А пьяного циника, милый мой, от свиньи отличить невозможно. Хуже и гаже этого народа ни одной гадости во всей подсолнечной нет, ей-богу. Верь ты моему слову. У тебя отец-то кто был? Помещик? Ты, значит, за текущий месяц за мою квартиру сполна заплати: мне,

знаешь, дружок, взять негде, ей-богу! Стой, я тебя поцелую. Так-то, милый ты мой, береги свою юность, не пей, – скверно. Я лучше тебе про себя расскажу, потому ты сосунок еще, да и все вы, рабочие-то даже какие, как погляжу я на вас, сплошь сосуны. Ни кипучих кровей в ваших сердцах нет, ни размашистой силы в теле. Верно, – целуй! У меня теперь дома братишка такой же молоденький. Эхма!.. Так вот, дружок, и выучил меня отец грамоте, и принялся я те толстые книги читать. Читаешь, читаешь, бывало, и уснешь, а во сне представится тебе, как на ладони, Киев святой с пещерами, храмами, монастырями и широким Днепром. Ходил я, братец ты мой, в Киев взрослый уже, – недавно ходил; только, бо-жусь тебе, точь-в-точь и во сне такой же Киев видел, какой он в самом деле есть... Не веришь? Так я тебе вот что скажу: я видел во сне Рим, и его Форум{85}, и его императоров, мучивших некогда христиан, Голгофу{86} с тремя крестами, и поля окрестные Иерусалиму, по которым ходил Христос; видел, как процессия попа-Никиты на спор по Москве шла{87}; а теперь, когда я уже не отцовы, а

другие книги читаю, – другое уже совсем вижу... И вот, милый мой мальчик, скоро, скоро развяжусь я с вами – с Татьянами: брошу скверну мою и пойду и пойду... Да! Ты верь мне... Боли мои, как отцы мои делали, растопчу я ногами своими в пути том...

А перед Степаном Гробом, вместо сраженного им Пляшущего Маколея, стоял уже другой юноша, высокий и стройный, бледный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорил он своему мрачному оппоненту:

– Опыт, – кто говорит против этого, – очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа он ничего не видит...

– Bravo, Ваня! – хохотал Милушкин, вслушавшись в последние слова молодого человека. – Катай их с этой точки зрения. Спроси у них, куда они денут жизнь сердца, куда они денут мои вещие сны? Ха-ха-ха-ха! Куда они денут их?

– Валяй, бабы! Их не переслушаешь! – могуче крикнул отставной драбант его королевского шведского величества. – Теперь ваша очередь... – И он ударил на гитаре что-то такое, в одно и то же время и ноющее и веселое,

от чего никакая русская бабья душа не может усидеть на месте. Одна из Адельфин сразу угадала, какую именно сельскую песню поет гитара артиста, голодающего несколько лет в городе, с целью подробнее изучить характер своего певучего друга.

*Ах, где ты была,
Моя нечужая?
Ай в степи ты брала лен,
Ай ты с кем гуляла?{88}*

вскрикнула Адельфина вместе со звучно трепетавшими струнами, в одно мгновение переставши быть Адельфиной и делаясь, как в старину, послушной дочерью только что отколоченного дяди Петра, чернобровой утехой и работницей родимого дома. Родимая песня распрямила ее стан, сторбленный разворотом города; от зеленых полей, на которых растет пахучий лен, засветились потухшие глаза и покраснелись прежде времени поблекшие щеки...

– Охма! – гремит Високосный Год, заливая волнами, как стаи легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого:

*Ходи, изба, ходи, печь,
Хозяину негде лечь!{89}*

орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у *нечужой, где она была*, потому что нечужая на повторенный вопрос:

*Ох! где же ты была,
Завалилася?*

отвечала:

*На дырвом я мосту
Провалилася!*

И так-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблучком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, все эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, когда их обуревают какое-ни-

будь сильное горе...

– Действуй! – закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.

И пошло!..

Я лично, тоже жилец самой крайней комнаты *снебилью*, обращенной одним окном на двор, а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только слышал топот знакомого трепака.

– Знаток я, брат, своего дела! – обратился ко мне Сафон, выделявая невероятную присядку. – Что давно не пришел?

Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну, благо теперь пришел. Выпьем с тобой – и начнем *старинную*. Готовься, ребята!

Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петть *старинной*, не зажмурившись...

Выпил Сафон Фомич, крякнул и, нюхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал:

О-о-ох! Ты взойди, ты взойди,

солнце ясное!{90}
О-о-ох! над горой да над высокою,
Над дубравой да над темною!
Обогрей нас добрых молодцов,
Добрых молодцов, сирот бедных,
Сирот бедных, беспаспортных!

Я, пронзающей фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовый бас Високосного Года, вместе с его десятиструнной гитарой, дружно принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных подвалах дома комнат *снебилью*, – все это разлилось перед нашими окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по целому дому.

– Важно поют! – толковала публика.

– Играют бесподобно! И все это «скуденты» отличаются.

– «Скудентам» одним так не сыграть: беспрременно есть и господа.

«О-о-ох! Сиро-от бедных, беспаспортных» – тянули колокольчиками дисканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам заливаемые волнистой октавой драбанта и, так

сказать, горюющим тенором Сафона Фомича, который впрочем, по правде-то ежели сказать, никогда не выстаивал в самых верхних нотах против моей фистулы.

– Вот она, сиротская-то наша матушка раскатывается! – восхищался народ, все больше и больше наводнявший наш двор. – Вишь, господа-то ее как вздымают: поди, чай, под самым небушком слышно.

– Тебе же говорят, что это не господа! – поучительно заметил восторгавшемуся парню какой-то, по всем приметам, мастер. – Не господа, а так, «скуденты» простые, – народ больше, не хуже нашего брата, бедняк.

– Пшол, негодный человек, негодная твоя тварь! – загонял своих рабочих в покинутые ими мастерские немец-красильщик. – Какой теперь шас? – гневно шумел он. – Где ты должен быть? – в мастерской, а он тут на всякое глупство уши раздвинул. Никогда этого не поймет, шортова голова, что в мастерской надобно быть в один шас, а в другой глупством заниматься... Пшоль! Пшоль!

Веселая у нас, господа, компания собралась в комнатах *снебилью!* До того веселая и хоро-

шая, что шестиклассник-гимназист всю следующую за выпивкой неделю старался, по примеру Степана Гроба, ставить разные глубокие вопросы и так же, как он, кавалерски, или, как говорили в комнатах, с кривого глаза, решать их; надувался он, бедный, изо всех сил быть таким же народным, как Сафон Фомич; у Високосного Года учился на гитаре, а ко мне (о, горе мне, развратившему своим примером единюго от малых сих!) – ко мне, говорю, всю неделю приставал поисправить немножечко какой-то рассказ и похлопотать в какой-нибудь знакомой редакции о скорейшей выдаче ему за этот рассказ гонорария{91}, который, я уверен, этот парень, в качестве сына своего века, употребил бы на выпивку, шикарнейшую выпивки прапорщика Бжебжицкого...

Крым[12]{92}

I

Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу{93}, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами... И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые и, когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца, воочию проходили передо мной в тот вечер и несказанно бесили меня.

Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, может быть, предположите, что я сейчас пушусь в подробные рассказы о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастья мои, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько об-

легчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всем том, что я только Jean de Sizoу, у меня всегда найдется настолько такта, чтобы не становить вас в положение человека, которому насильно навязывают много-томную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое положение, при всей его видимой приложимости к нашему заеденному обществу, до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке.

Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему; только, беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозгу пробегает, наконец, желание, чтоб он поскорее окончил свою исповедь.

Трубная площадь и Петровский бульвар. Фотография из альбома «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. 1884 г.» Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России



«Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь!» – дрожащим от волнения голосом говорит вам страдалец.

Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочувствие, и думаете: «Боже мой! что это за сентиментальный шут на меня навязался!»

Жалобы и глухота к этим жалобам, по-моему, – постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его, как следует; точно так же верую и в то, что и я не найду их, да, пожалуй, если б и нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычной долей, о которой я думал, не зажигая своей лампы, мне собственно невозможно было бы поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы.

Вам, не спору, может быть, не стоит ни малейшего труда рассказать во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями; но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое «Иван Сизой» я имею намерение в самом скором времени заменить псевдонимом «Иван Сивый», потому что то постоянное, самое каменное равноду-

шие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды, – сделали из меня, по-настоящему еще бы здорового, свежего малого, какого-то ни к чему негодного, сивого мерина, разбитого на все четыре ноги.

Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой, вследствие различных соображений, перемениет свою фамилию; но могу вас уверить, что, в частности, лично для Ивана Сизого нет больше беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того собственно, чтобы не дать себя обуть в лапти тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек, ибо лиризм – враг мой. Выходит всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа...

По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом: от ненастного, осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, что бы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойствен более плебейм, нежели аристократам, хотя и последние, по части удовлетворения сказанного аппетита, «тоже тово»... Выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что когда представления о выпавшей мне «красной» доле уже слишком загомосятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей...

Мир вам, погибшие жизни! *Да не в суд и не в осуждение* вам, а в знак моей искренней печали о ваших судьбах бесталанных, скажется слово мое о той широкой дороге, которой по

* * *

Всепоглощающей пропастью зияли длинные улицы, где шел я. Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающей силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы, тем более, что если бы вы глаза ваши, утомленные этой мучительной картиной, захотели развеселить блеском звезд ночного неба, на вас бы глянули оттуда серые, неопределенные массы, которые напугали бы вас более, нежели напугали бездушные здания. Волнуясь, как что-то живое, в необозримом воздушном пространстве, массы эти, казалось, быстрой мыслью летят на вас с дальнего неба – и давят, и давят...

Мне очень трудно теперь, больному, передать мои дальнейшие дорожные ощущения.

Я совершенно забыл тот момент, когда сознание покинуло меня. Вот, например, эту фразу говорил уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному графинами и рюмками:

– В прощении? Я, вы говорите, нуждаюсь в прощении моего общества, потому что безобразно якобы трачу свои заработанные деньги?..



Странствующий сапожник. Гравюра К. Вейермана по рисунку В. М. Шпака из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая биб-

Передо мной сидел в это время юный еще господин, весь, впрочем, заросший бородой и бакенбардами. Мне и в голову не входило постараться определить себе, где и как я с ним встретился. В комнате носился удушливый чад; в чаду роились какие-то лица; где-то, весьма издалека, для моих ушей по крайней мере, гремела музыка. Десятки тусклых свеч слепили глаза; общий шум разламывал голову.

– Чашу сию обойти весьма можно! – орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной за одним столом. – Мне не нужно прощения от общества, которое вынашивает в своей среде людей, способных так пошло, как вы и я, например, пьянствовать на заработанные деньги.

– Но ежели вы не будете искать в обществе снисхождения к вашим недостаткам, ежели вы намеренно не будете воздерживать себя от оскорбления общества вашим поведением, оно непременно выгонит вас! – в свою очередь поучал меня мой юный приятель.

– А вы думаете, – гремел я, – человек, понимающий, что он сосредоточил на себе справедливое презрение своего общества, делается от этого изгнания несчастнее того, чем он есть? – Не сделается! Тем более он не сделается несчастнее, когда будет иметь хоть какие-нибудь данные заподозрить справедливость этого презрения. А коль скоро вы имеете хоть маленькое понятие о том, как на наших базарах дешево эти данные, вы сейчас же неминуемо согласитесь с тем, что вашу фразу об изгнании из общества можно перевернуть таким образом: я сам изгоню от себя общество, которое намеревается изгнать меня, потому что никто другой, как только одни впечатления, навеянные на меня картинами этого общества, доставили мне честь пьянствовать с вами в этом бездонном омуте. Я очень хорошо понимаю, что лично от себя говорить такие вещи – пошлость; но разве это даст вам возможность не согласиться со мной, что ни одна из разлучающихся сторон не прольет друг по другу слез сожаления.

– Ваше высокоблагородие! соблаговолите до шкаличка доложить отставному служиво-

му, – вмешалась в нашу беседу пьяная, обрванная личность. – Потому как, – продолжала личность, – собственно для ради ненастной погоды старые кости желательно разогреть.

– Скажи мне, – спросил я старика, – ты изгнал от себя общество, или оно изгнало тебя?

– Точно что, ваше высокоблагородие, «общество» выгнало меня – отставного солдата – из села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому – глаза лопни! – причинны никогда не бывали.

– Почему же ты сам не выгоняешь его от себя? – Служба ответил на этот вопрос тупым и бессмысленным взглядом.

– Да! – с громким хохотом переспросил его юный господин, – в самом деле, отчего ты сам не выгонишь его от себя?

– Позвольте папиросочкой затянуться, – с поощряющей к дальнейшим шуткам улыбкой разрешил старичина нашу спорную тему. – Стаканчики прикажете вам налить, ваше высокоблагородие? – мгновенно впадая в роль верного слуги и доброго собеседника, осведомился затем старик.

– Однако же отделаться бы от него как-нибудь! – заговорил по-французски мой юный друг, коверкаясь и даже как будто изнемогая при виде стариковской фамильярности.

– А! вы, должно быть, одни хотите изобразить собой презирующее и изгоняющее общество! Вам жаль водки этому солдату!.. В таком случае я один за плачу за него, чем вы и я фактически докажем друг другу справедливость наших убеждений.

– Помилуйте! – сконфуженно произнес волосатый юноша.

Я посмотрел на него с улыбкой победителя.

Теперь мне надо доложить вам, каким образом я дошел до пошлости спорить с первым встречным, бог знает о чем, в грязнейшем трактире. Быть может, вам подумается, что такая материя не займет вас. Уверяю, что займет, и даже очень.

Сказано уже: куда, по какому случаю и зачем именно пошел я. Так вот иду я, а на дворе осенняя ночь, – знаете, такая ночь, которая делается в несказанное количество раз приятнее и усладительнее, когда ее частый и мелкий, как из сита сеющийся, дождь падает не на циммермановскую шляпу{95} и не на бобер{96} рубликов эдак в полтораста с чем-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся, так сказать, от летнего сезона, – когда этот дождь хлещет вас прямо по разгоревшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротник вигоневого мешка, приобретенного за четыре рубля у парикмахера{97} Борисова, который, как энергично свидетельствуют «Полицейские ведомости»{98}, живет на Лубянке, в доме духовной консистории{99}

Не могу не сказать здесь в скобках, как приятно иметь дело с сим чародеем, могущим снабжать смертных пальто за четыре рубля, потому что купленная у него покрывка главным образом и располагает к надлежащей оценке прелестей осенних ночей. Покрывка эта имеет почему-то способность делаться еще более жалкой в такую пору. Она, говорю из собственного опыта, будит уснувшую злость, располагает к подлым и омерзительным помыслам о том, как бы купить сапоги не на толкучке, а у мосье Пироне{100}, приобрести пальто не из мастерской Борисова в доме духовной консистории, а от Боргеца или Айе{101}, – и главное: зазывает в голову грызущую мысль о том, почему еще не сделано тобой ничего такого, что бы стоило дороже того оборванного тряпья, которое в настоящее мгновение почти уже готово сползти с невыносливых плеч...

И в колеблющихся волнах ночного мрака, как бы какие живые картины, освещенные бенгальским огнем, восстают по этому поводу в задумавшейся голове мучительные думы о

невыносимых плечах, о погибших жизнях, об обманутых надеждах. К самой груди пригнет голову эта тяжесть, и идешь, не примечая, как резкий ветер, забравшись к тебе в самую душу, дотерзывает там источенное различными червями существование – идешь, не чувствуя на лице хлестания крупных дождевых капель и не видя того тусклого, унылого света, которым уличные фонари освещают унылый путь.

Таким-то образом шел я и думал по поводу борисовского изделия, висевшего на мне, до тех пор, пока обильно лившиеся из окон «Крыма» огни не осветили мне широкой площади Цветного бульвара.

Мои собственные думы всегда немеют, лишь только я ступлю на эту площадь. И в настоящий раз онемели они при виде несчастья, которое обыкновенно снует по Цветному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата, и пугающим хохотом человека, ставшего в уровень с бессловесными животными...

Опьяневши от одного уже взгляда на «Крым», я ерундисто начинаю рассуждать о

тех благоприятных обстоятельствах, которые бы могли положить конец несчастью Цветной площади, но обстоятельств этих ничуть не виделось мне во мраке осенней ночи...

Кто имеет право любить выпивку, тот вполне поймет, с каким неописанным наслаждением юркнул я, после помянутого похода, в глубокое «крымское» подземелье, где непременно должна закружиться всякая голова, если она имеет хоть немного желаний и причин закружиться.

Пятнадцать или, может быть, десять ступеней, которые ведут в рекомендуемую мной могилу, не великая беда. Мы пройдем их, если не без толчков, за которыми, по пословице, не угоняешься, по крайней мере без особенных приключений.

– Господ уж стал сюда черт носить! – бурлит со злостью какая-то толстая колонна с большой черной бородой, выкатываясь снизу навстречу к нам.

Избави вас бог спрашивать у колонны, что ей за дело до вашего визита в «Крым»: на дворе такая темная ночь...

Извозчик! – кричит молодой парень, види-

мо мастеровой. – Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

– Што взять-то? – спрашивает один дядя из целой толпы извозчиков, облепивших «Крым» своими калиберами{102}. – Давай целковый{103}.



В трактире. Худ. В. Перов. Открытка. Вторая половина XIX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские».

– Облопаешься неравно! – с укоризной предполагает молодой парень.

– Сколько же дашь-то?

– Сколько дам-то?..

– Да, сколько от тебя будет?

– Трынку{104}! – с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подzemелье.

– О-ой, батюшки! шлею с лошади в одну минуту сняли! – кричит кто-то за трактирным углом.

– Вот нам и чай! – продолжает хохотать промелькнувший сейчас парень, затворяя за собой визгявую трактирную дверь.

– А-а, чертов сын, попался! Мы тебе дадим таперича, как у своих извозчиков шлеи воровать!

Вслед за этими словами слышатся глухие удары обо что-то, будто кто в пустую бочку для своего удовольствия колотил собственным кулаком. Подумать, впрочем, чтоб это били человека – нельзя было, потому что человек тот, по всем соображениям, непременно должен бы был закричать от этих ударов.

– Што тут такое? – вопрошает басистый начальственный голос, очевидно, принадлежа-

ций городовому.

– А вот шлею украл.

– Кто ж это?

– Кто? Известно кто! Все Евланька Фуфлыга бедокурит.

– А! – строго вскрикивает басистый голос. – Так ты опять у своих воруеть?..

И замолкшие было удары раздались с новой силой.

– Брось его, судырь! – просят ундера уже сами извозчики. – Отойди уж ты лучше: мы его без тебя-то своим судом прокладней отделаем...

– Глядите вы у меня, чертоломы{105}! Душу штобы не тово...

– Што-о на-ам ду-у-ша? За-а-чем нам ее? – отвечал кто-то, судя по тону голоса, к чему-то напряженно прикладывающий руки.

– Батюшки, отпустите! Голубчики, дух у меня совсем займется!..

– Завопил, небось! Мы те, ворище, не так разбодрим. Ночью гораздо больше, нежели днем, действуют на душу такие крики: так зло моргают уличные фонари, слушая их, и к тому же ночное небо такое серое, такое без-

участное повисло над ними!

Вы как будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назад. Напрасно! Она в моих глазах заключает в себе тот аромат национальности, который всегда притягивает меня к «Крыму», как пахучая гречиха притягивает к себе работницу-пчелу.

Повинуясь этому тяготению, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжание рокового блока достойно приготавливает нервы к безболезненному восприятию сцен, разыгрывающихся в оригинальном подzemелье.

Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густого и однообразно пахучего воздуха не вдруг показывают посетителю частности русской оргии. Они повисли над новым человеком плотной тучей, как бы пристально осматривают его, желая прежде узнать, рожден ли он со способностью участвовать в укрываемой ими каше, или нет.

Кто благополучно проминет этот осмотр, тот пусть смело идет дальше: оргия уже не испугает и не оглушит его своим дружным и никогда не прерывающимся ревом. Надо,

Впрочем, сказать, что и такой счастливой головище покажется на первый раз, что этот тысячезвонный шум происходит не от множества людей, крутящихся в подвале, а что самый подвал этот, его толстые серые стены, его маленькие грязные оконца, его закопченные потолки и мебель, газовые рожки, торчащие в стенах, и длинноногие столовые подсвечники – все это, как что-то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось к нему навстречу и заорало этим могучим гулом.



Сухаревская площадь в Москве. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Но, говоря об этом вакхическом вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами харчевни экстазически бесновалась песня солдатского хора, как сияли лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам, – я сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с губ моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен.

Но что мне за дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не помогут мне забыть все на свете – эти скорбно могучие мотивы родной песни?

Вот они всего заливают меня. Ого! как здорово выносит их крепкая солдатская грудь! Бубен – так и тот ничуть не заглушает ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо терпеливо тянет:

Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся,

Во гроз-на му-жа вцеплю-ся!

ни горячих переливов занозистого тенора,
с злостью подхватывающего:

*Во грозна му-жа вцеплю-ся,
Насмерть раздеруся!*

И фистула тут же – этот кудрявый, белоку-
рый, маленький кантонист{106}... Господи!
какими грустными, какими раздирающими
тонами покрывает весь хор его серебряный
голос:

О-о-о-ох! Насмерть раздеруся!

А опять: этот черный кузнец-плясун, в
пестром халате, в сапожных обрезках на бо-
сую ногу, в истасканной фуражке на бедовой
голове, – как это он бойко и выразительно
блеснул в толпу своими черными глазами,
как незаученно ловко стукнул о пол толстой
подошвой, когда хор дружно грянул изо всех
грудей заключительную строфу:

Насмерть раздеруся!

Оглушительный вскрик тенора, слившись
с трелями колокольчиков бубна, закончил

песню. Весь «Крым» бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь.

– А-а-атлична! – кричал он. – Подать солдатам водки на пять целковых!..

III

Только что спетая песня еще пуще разожгла торгию. Новые толпы ввалились в подземелье. Вскоре между прибывшими гостями и гостями старыми завязались драки из-за столов. Четвертаки за одну только очистку сиденья давались бесспорно даже такими людьми, которые, судя по их жалким отрепьям, четвертака во сне никогда не видали. Как собаки по стаду, метались половые в публике, усмиряя ее порывы; городовые, строго покручивая рыжие усы, тоже маршировали по залам, как бы высматривая что-то; но ничто не усмиряло публику. Она отдалась влиянию полночного кутежа и, нисколько не стесняясь рыжими усами, могуче бурлила.

– Што, дяденька, ходишь? Ай тятеньку с маменькой высматриваешь? – спрашивает у ундера молодой мастеровой, с красной, как

огонь, физиономией, с игриво горящими глазами. – Не бывали еще ваши, сударь, тятенька с маменькой. Вот мы таперича без них и погуливаем. Хорошо погуливаем – а?

Ундер бросает на парня взгляд, исполненный самого магнетического сурьеза, и приказывает ему посократить безделицу горло-то, на том основании, что он еще сосунок, которого из трактира следует по затылку турить.

– Ты-то стар ли? – спрашивает мастеровой ундера.

– Я-то стар! – с сознанием собственного достоинства отвечает полицейский.

– Постарее тебя у нас на селе кобели важивались, иначе же мы им хвосты знатно гладили.

– Это точно! – подхватывают с хохотом на других столах. – Гляди, как бы и тебе не погладили хвоста-то, а то он у тебя сер что-то, хвост-от.

Ундер в немалом конфузе ретируется в другую залу, стараясь, однако же, так устроить свое отступление, чтоб оно вслух говорило, что мы, дескать, грубостей таких не слышали, а то бы беда была...

– Напрасно вы к этому ундеру, господа, своих рук не приложите, – говорят некоторые кринолины, – мужчина самый что ни есть необразованный и гордый.

– Что ушло, то не ушло! – отвечают господа кринолинам. – Попадется в руки, натерпится муки.

Между тем великосветские манеры моего случайного знакомого неимоверно бесили меня, потому что чем дольше сидели мы с ним в зловонном трактире, тем больше он пропитывал харчевенную атмосферу своими тончайшими духами, так что самые нахальные крымские глаза без какого-то смущения и даже как будто бы страха не могли выносить блеска опала в его золотой булавке, и в то время, когда, казалось, самые стены подземелья хотели лопнуть от шумного скопища, тискавшегося в нем, около нашего стола непонятным образом был некоторый простор.

«Черт его побери совсем! – злобно думал я про моего элегантного друга, – утораздит же человека, одетого в такую изящную жакетку, в галстук которого блестит, наконец, такое

сверкающее произведение Фульды{107}, зате- саться в «Крым». Кажется, мне придется хоро- шенько раскровянить его».

И, клянусь вам, раскровянить этого молод- ца непременно бы следовало, потому что его барство до крайности напугало присевшего к нашему столу старого солдата. По его заду- мавшемуся лицу я очень хорошо видел, что солдат, так же как и я, с большим удоволь- ствием съездил бы в физиономию к баричу. Несмотря на мои поздравления с *поднесенье- вым днем*, которыми я хотел расположить во- ина к усердной выпивке, он весьма нереши- тельно и с большим сомнением опоражничвал рюмки, видимо стараясь улизнуть от нас, и если что-нибудь удерживало его от исполне- ния этого желания, так опять-таки опасение, чтобы франтовитый барич не учинил с него за это бегство какого-нибудь строгого взыска. Видя такое фальшивое положение, в которое компаньон мой, хотя, может быть, и неумыш- ленно, становил солдата, я с каждой минутой все больше уподоблялся бульдогу: в моей гру- ди довольно громко слышалось обыкновен- ное у меня в подобных случаях хрипкое вор-

чание, потому что на людей, имеющих возможность устраивать другим положение вроде такого, в каком был отставной солдат, я не могу смотреть без бешеной злобы. Это мой недостаток, и говорить мне про него решительно не следовало бы, но надобно же, наконец, карать общественные пороки. Я и караю их в моем собственном лице.

Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизм, ежели вам это понравится; но ведь я зачем пришел в «Крым»? – я пришел в «Крым» с той целью, чтобы смотреть целую ночь многообразные виды нашего русского горя, чтобы, смотря на эти виды, провести всю ночь в болезненном нитье сердца, не могущего не сочувствовать сценам людского падения, – чтобы скоротать эту ночь, молчаливо беснуясь больной душой, которая видит, что и она так же гибнет, как гибнет здесь столько народа.

И вот, когда уже настолько всмотришься в эти сцены, что по лицу каждого актера, участвующего в них, сразу будешь узнавать его жизнь, столь трагически заканчивающуюся теперь в кабаке, когда весь этот шумный рой лиц будет казаться тебе чем-то целым, самым

тесным образом родственным с тобой, когда, наконец, в этом непонятном, как шум волн морских, гуле толпы я приучился слышать стоны заблудшего брата, – в это время между этой беснующейся толпой и мной вдруг стала посторонняя, безучастная фигура, приличная сама по себе и вдобавок, как бы назло, старающаяся казаться еще приличнее.

– Разве он не мешает тебе? – нашептывало мне что-то, донельзя ощутительно засевшее в моей груди под самой ложечкой.

– Я отойду от него: он мне действительно мешает, – отвечаю я шепоту.

– Отойдешь? – презрительно вскрикнуло что-то в груди у меня. – Вот так воитель! Ха-ха-ха-ха! – раскатывается оно звонким хохотом, покрывшим собой все крымские голоса.

Мне казалось, что все слышат этот хохот и смотрят на меня. С какой-то стыдливой боязнью я поникнул на стол головой, чтобы не видеть ожидаемого взгляда.

– Вот так воитель! – повторяло выскочившее из моей груди какое-то маленькое существо вроде козлика, быстро прыгая по стаканам и рюмкам, наставленным на столе. – Тут

не отходить нужно, а сцепиться нужно с ним насмерть. Либо тебе, либо ему! Вот как сцепиться, чтобы другие к вашей драке и подступиться боялись!..

«Да за что же я драться с ним буду?» – спрашивал я козлика, как бы умоляя его, чтоб он не наказывал меня, в случае, если б я не стал драться.

– Как за что? – азартно кричал на меня бесенок. – Не видишь разве, как этот фронт издевается над крымской грязью? А ты сам разве не та же крымская грязь? Ну-ка, размахнись во всю руку да царапни его хорошенько. Видишь, как он булавкой своей заслепил всех, как все сторонятся от нашего стола? Ты, впрочем, может, думаешь, что он лучше «Крыма»?

«А ежели крымскую грязь отстраняет от этого господина не один блеск его булавки, – возражаю я моему искусителю, все еще лежа на столе, – но и...»

Бесенок не дал закончить мне мою речь.

– Ах ты, шут гороховый! – заорал он на меня своим пронзительным голоском. – Ну, договаривай: «но и нечто магнетическое, пожа-

ром горящее в черных, бездонных глазах величественного незнакомца, потрясло до самого основания дикую толпу невежественной черни...» – Пьяный паяц! – в крайнем гневе ругало меня маленькое существо, – когда перестанешь ты так пошло лиризировать?

Разозлившись в свою очередь на чертенка, я бросился ловить его, но он, как молния, летал по залитой вином салфетке и с насмешливыми гримасами орал мне:

– Какой же ты Иван Сизой, когда не можешь дать трепки этому барину! Ты после этого просто-напросто негодная дрянь, а не Сизой.

– Ну, господа, – звучал в мои уши чей-то толстый бас, – барин-то, надо полагать, до чертиков тюкнул. Вишь пальцами-то как перебирает. Представляются теперь ему черти-то: вот он их и ловит.

В моей голове, чувствовал я, будто бы птица в клетке, билось и трепетало что-то. Я старался уверить себя, что это пройдет, и продолжал гоняться за ругавшим меня чертенком.

– Было нас трое братьев у батюшки, – слышался мне чей-то голос, – а батюшка у нас по

старой вере был, и все мы тоже по старой вере. Годов тридцать тому уж прошло. Выучил нас, братьев, читать один старец. Ну, и пошли братья по своей торговле, а я к книжкам очень припал. Такая т. е. охота учиться у меня была, – ночи, бывало, не сплю, думаю, как бы это мне книжку получше достать. Только познакомься я в это время со студентом одним, – все он у нас в лавке чай и свечи покупал, – видит он такую мою охоту к учению и говорит: «Беспрерывно вам надо в университет поступить, потому способности имеете чудесные». – «Тятенька, – говорю я отцу после таких речей, – наймите мне учителя, потому я в университет поступить имею желание». Как же со мной поступил тятенька?.. Взял меня, обратил лицом к двери и швырком на крыльцо бросил. «Вон! – говорит, – чтобы нога твоя на мой порог не ступала!» Только все же я от швырка того горбы теперь и на спине, и на груди имею... Не сробел я, однако. На своей воле, думаю, еще свободнее мне будет свое удовольствие сделать. Торговать стал, и на пятый год в двадцати тысячах был. Узнал про это отец, напустил на меня людей, которые со

мною тяжбу затеяли и в какой-нибудь год, таскаячи по судам, совсем меня разорили. Пришло дело к концу, я опять принялся и опять разбогател. Только и тут отец мне не дал покою, опять разорил, потому капиталы у него и знакомство везде, – не всякий с ним сладит. Да так-то он меня, судари мои, три раза с корнем вон вырывал! В четвертый я уж и пробовать не стал. Заодно, мол, погибать-то!..



Пьяный извозчик на Кремлевской набережной. Фотография начала XX в. Частный архив

«Совсем позабыл, кто написал эту песню!» – думаю я про себя, потому что во время этого рассказа расстроенная шарманка ная-

ривала какие-то мотивы, каких я отроду не слышал.

*Я, донской казак,
В тяжкий плен попал{108}*

уныло напевал кто-то, должно быть, подле самого нашего стола.

«Да! так это донской казак написал эти стихи», – припоминаю я и чувствую, что мне очень хочется спать.

– Слышал? – спрашивает меня чертенок, балансируя на носике чайника.

– «Слышал», – отвечаю я.

– Что же не бьешь?

– «Не могу».

– Да выпейте стаканчик водицы, пожалуйста-ста, – упрашивал меня отставной солдат. – Ей-богу, сразу бы вас отпустило!

– И воды не могу.

– Да вы поневольтесь.

«Не можешь? Так-таки и не ударишь?» – настойчиво пристает ко мне миниатюрный козлик. «Не могу».

– Пьяный шут! – кричит он мне и, уклоняясь от моего порывистого за ним движения,

быстро перелетает с носа чайника на газовую трубку над моей головой. Я бросаюсь за ним к газовой трубке, но он уже, видимо для меня, обратился в синий летучий дым, который насмешливо колебался в своем полете к мрачному трактирному потолку на высоте, недоступной для моего роста.

Бурный трепак{109} бушевал между тем в зале. В одно и то же время мне страшно хотелось и смотреть на этот трепак, и поймать чертенка, но, почувствовав наконец, что ни одно из этих желаний исполнено быть не может, я горько заплакал...

– Не мог-гу! – враз отвечаю я и солдату, усиленно потчеваящему меня холодной водой, и самому себе, когда лихая дробь низалась мне в уши и сманивала вскочить со стула, крикнуть изо всех легких: браво! И вырезать с плясуном по злейшему стаканищу.

– Как же мы, как мы жить с тобой будем? – спрашивал тоскливый женский голос. – Ведь он меня, барин-то, сам сюда подвез. Вот, говорит, теперь твое место, а мне ты не нужна больше.

– Это нам единственно все равно, – смело

отвечал кто-то на этот голос. – Потому как с самого того дня, как тебя к барину на сени взяли{110}, а меня по оброку угнали{111}, ни разу ты у меня из ума не выходила.

– Ведь дела-то делать, – продолжала женщина, – я ни одного не умею, кроме как чай по целым дням пить, да платья дорогие носить. Я тебе, голубчик ты мой, большой тягостью буду, пока к работе не привыкну ко всякой.

– Об эфтом ты не крушись! Помаленьку привыкнешь. Маленький чертенок вытянул в это время ногу свою так длинно, что с потолка достал ею до моей головы. Поталкивая меня ногой и в голову, и в спину, он с какой-то презрительной злостью спрашивал меня:

– Пьяное животное! И тут не ударишь?

«Не видишь разве, что не могу? Отстань!» – мысленно только мог отвечать я ему, потому что язык мой не ворочался, отчего я зарыдал сильнее прежнего. Впрочем, не от одного только отсутствия надлежащей силы в языке моем рыдал я. Все, что только мог я послушать изо всего этого гула, издаваемого крымской ватагой, непременно были только одни

рвавшие душу жалобы на горькую участь.

Вот перед нами маленькая безобразная старуха, давным-давно обрусевшая полька. В ней решительно нет следов человеческого образа: так передернули и изморщили лицо ее зверские нужды.

– Будет, бабушка, показывать тебе виды Берлина и Лондона, Баден-Бадена и Ниццы, – ты лучше расскажи нам, как ты сама очутилась у нас.

Дрожит и трясется старуха, принимая угостительную рюмку. Обрадовалась она доброму случаю, дающему ей возможность хоть несколько времени покипеть старым, охладевшим телом.

– Вот здесь родилась я, – начинает она свой рассказ и подводит к своей панораме, где, освещенная тусклой сальной свечой, показывается гордая Варшава. – Пустите-ка, пустите-ка, я сама посмотрю: давно не видала, – и старуха впивается глазами в родную картину. – Мати Божия! – вскрикивает она, – как хорошо здесь было! Я забыла, сколько времени прошло тому, – прибавляет бедная в тяжелом недоумении, как будто до настоящего мгнове-

ния она верно помнила длинный срок того времени, а теперь вдруг забыла. – Наехали в эти места жолниржи{112} ваши, а я тогда красавицей была: всех огнем палила. Маленькая такая, черная, – старуха становится в бойкую позицию и показывает, какая она была маленькая, черная и как она всех огнем палила. – Увез жолнирж – и бросил!.. – грустно повторяет она таким тихим, молодым голосом, который всякому воображению непременно представил бы, как ее, грациозную и полную страсти, увозили тогда паны-жолниржи на свою потеху и ее страдание.

Обыкновенная история; но не понимающие эффектных драм люди отовсюду говорят старухе:

– На-ка-сь тебе, бабушка, семитку{113}.

– Поди, я тебе покажу нашу Варшаву, – благодарит старуха.

– Рюмочку, старушка, поди пропусти.

– И тебе покажу. Погоди только немного. –

Что, лучше небось Москвы-то?

– Москва, бабушка, прямо тебе сказать, не в пример лучше Аршавы.

– Папиросочки не хочешь ли? – спрашивает

ет у польки кринолин, внимательно следивший за ее рассказом.

– Не курю я их, милая. Тогда девушки не курили, а у вас не привыкла.

Кринолин конфузится.



Больное дитя. Худ. К. Ф. Гун. Гравюра Л. А. Серякова по рисунку Н. И. Соколова из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– На вот, бабушка-голубчик, продай кому-нибудь, – и при этом кринолин, в сильном

замешательстве, сует старухе потертый бумажник. – Я вот только папироски выну.

– Самое, надо полагать, кто-нибудь также обманул, вот и разжалобилась, – говорит закутившая чуйка{114}. – Сейчас умереть, я теперь эту самую девку всем сердцем моим возлюбил!.. Эй, милая, сядь-ка к нам, воротись!

Кринолин послушно возвращается к столу кутилы и садится.

– Можешь ли ты понимать честь? – спрашивает чуйка девушку.

– Могу, – отвечает она без запинки.

– Так ты ее и понимай! Я с нонешнего дня даю тебе содержанья десять рублей кажинный месяц. Донскова!

– Чудесно! – лютуют припевалы. – Андрей Ильич, уважь, милый человек, попляши!

– Умеешь плясать? – спрашивает у девушки раззадоренный Андрей Ильич.

Еще бы не умела плясать крымская старостица, эта Волга-девка, увенчанная стразовой диадемой!

– Ярославка, што ли? – спрашивает Андрей Ильич, ухарски драпируясь для предстоящей пляски своей синей чуйкой.

– Оттуда были! – отвечает старостиха, воодушевляясь лихими манерами Андрея Ильича.

– Ну, мы с Дона!

Густая толпа окружает их.

– Валяй Спирю почаще! – кричит Андрей Ильич музыкантам, и при первых коленах его в воздухе повисли и дружный хохот, и загвоздистая похвала.

– Дашка! не выдай московских-то! – умоляет старостиху оборванный кузнец, первый крымский плясун, в сапожных обрезках. – На свою сторону приедет, хвастать будет: никто-то де его не переплясал у нас, – поощрял он Дашу, дрожа и замирая в лихорадочном волнении.

Гикает и гогочет, как казак в бою, Андрей Ильич, и за ним все гикают и гогочут, потому что ровно огненный змей жжет и палит он всех своей жаркой пляской степной. Вприсядку сел он, так-то и кружит, – кружит и соловьем голосистым свистит. Полштоф целый по самым маленьким рюмкам одному можно было бы разобрать в то время, как он козловыми каблуками крымский пол бороздил. А

она, старостиха эта, все голубкой, голубицей такой ласковой вьется около него, словно с крыльями.

– Где такая девка родилась? – кричат.

– Э-эх, кабы не бедность!

А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась, вилась так-то она, да платьем своим голову казачью вдруг всю и закрыла – и посмеивается.

Тут и вспомнил «Крым», что это за мужик такой Спирия, смешливый Спирия мужик: всякому он норовит ногой нос утереть.

Близким громом загредел «Крым», когда вспомнил про Спирию.

– Вот он какой, Спирия-то! – орут двадцать голосов.

– Тут, брат, огнем не возьмешь!

– А возьмешь тут смешками.

– Вер-рно! Молодец Даша!

– Истинно лучше! – шумно соглашается с толпой казак. – Только же не может женщина ничего лучше нашего брата сделать... Валяй степную, братцы! – кричит он музыкантам. – На барыню переворачивай!

Замерли все. Тишь, как в могиле, стояла,

когда первая скрипка на квинте потянула свое протяжное вводное: и-и-я-ах!..

Молнией сверкнул на струне первый слог огненной песни. Дружно подхватили его другие скрипки, контрабас и звонкие флейты; но всех их заглушил своим ахом запыхавший Андрей Ильич – и пошел...

Сыплется частая дробь, будто осенний дождик в стекло, воет Андрей Ильич неудержным ветром степным и прет в толпу черными глазами, так что дыхание у всех захватило, страх обуял.

– Ступнуть не дам, девка! – злобно и страстно кричит он уничтоженной Даше. – С белого света, как былинку, сдую!

– Братцы! – умоляет кузнец-плясун, – кричите скорее: ура! Где ж нам – московской гольтяпе – по-евоинному...

– Ур-рра-а! – берут враз сто грудей.

– У-р-ра-а! – подхватывают сидящие за столами.

И летит это «ура», как какая грозная буря, в другую залу, увлекая за собой все дышащее в трактире, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздух и, здесь схваченное извозчи-

ками, пронизывает собой густой мрак осенней ночи и наконец тихо улегается на липовых вершинах соседних бульваров, распугивая усевшихся на ней грачей и ворон...

– Тише, господа, пожалуйста, потише! – уговаривает публику седой приказчик, – полиция, пожалуй, придет, что толку?

– Поди ты, старый черт! – азартно отвечают ему.

– Ласточка ты моя! – нежно говорил старостихе Андрей Ильич. – Уж где тебе тягаться со мной! потому вряд ли кто на сем свете и может со мной потягаться...

Старостиха, слушая его, была такая смиренная, такая ласковая.

IV

Все дело, следовательно, в моих глазах по крайней мере, остановилось на следующем: «Крым» бесновался и неистовствовал, мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотясь на стол, рыдал болезненно о всем «Крыме» и злился на приятеля.

Но это громовое «ура», сейчас только огласившее своды харчевни, разбудило меня, и я со стыдом заметил, что ни к рыданию, ни к злости повода у меня самого даже коротенького не имелось, ибо все шло своим чередом, и ежели из всей этой сумасшедшей толпы, включая в нее и моего приятеля, был кто-нибудь ненормален, так один только я, ловивший своего чертика.

Вывшие товарищи. Худ. Н. Богданов-Бельский. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Мой случайный знакомый, на мой вопрос, кто он, когда и где я с ним встретился, благодушно уверил меня, что он будто бы один из шести московских корреспондентов «Санкт-



Петербургских ведомостей»{115}, а также имеет основание думать, что будет вызван сотрудничать в «Голос»{116}, что наконец он приехал в «Крым» с целью заpastись в нем мотивами для передовых статей в эти газеты.

– Вы, может быть, Ботиков? – спрашиваю я его, желая короче познакомиться с человеком такой блистательной деятельности.

– Нет! – отвечал он, мотая головой и видимо пьянея.

– Дивово, может быть?

– И не Дивово! – отвергает он, радостно

всхлипывая. – Я – Восходящее Солнце! Вот мой псевдоним. Настоящее же мое имя не должно быть известно никому, потому что я намерен затрагивать такие вопросы... о таких общественных ранах я буду заявлять на столбцах наших уважаемых газет, о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегельянец – фон Чичерин{117}, – с азартом уже совершенно пьяного человека орал он так громко, что я не мог не сказать себе:

– Однако же, этот шут любопытен! Посмотрим-ка на него попристальнее, и если он составляет рану на нашем общественном теле, постараемся заявить о нем на столбцах наших, хоть не уважаемых, газет.

Увы! к крайнему моему огорчению, фронт оказался даже не раной, а просто прыщом. Навязавшись на знакомство с ухарским Андреем Ильичем, Восходящее Солнце ломалось самым пошлым манером, стараясь показать себя русским человеком.

– Какая здоровая натура! – в пьяном экстазе говорило мне Солнце про Андрея Ильича. – И старостиха – тоже здоровая натура. Ее надо

поднять, непременно нужно возвысить, так сказать... Это наша прямая обязанность, – и, воодушевившись, он подарил старостихе свою изящную золотую булавку.

– А ты мне, как хочешь, Андрей Ильич, а на платье на хорошее подари, – говорила старостиха Андрею Ильичу. – потому как только имей я шелковое платье, – коси малина! Минуты бы одной в «Крыме» не пробыла...

– Пре-е-красно! – мямлило Восходящее Солнце. – Возвратись, старостиха, непременно возвратись к прежним мирным занятиям, на путь добра и чести...

– Ах ты, кобылятник!{118} – ласково выругала советника старостиха, предполагая, что он своими шутками хочет ее привести в конфуз.

– Какая, Федичка, вчера история случилась, так ты подивиться должен! – рассказывала совершенно изнемогшему мастеровому толстая женщина в фантастической повязке. – Часа в два ночи спим мы так-то, – вдруг в окно забубенили.

«Есть?» – спрашивают. – «Есть!» – говорим. – «Поедем, да живее у меня собираться, а

то, говорит, раму вон выколочу». Приезжаем в одну гостиницу, – пьяные все, лыко не вяжут. Только как я теперича всю политику произошла, знаю уж, что попросту, без затей обходиться с ними лучше будет, и говорю им: «Што же мол, вы, подлецы эдакие, привезти привезли, а водкой не потчуете?» Как тут бросится один на меня со столовым ножищем. «Я тебе, говорит, тварь ты эдакая, дам ругаться!» А другой, с такой ли бородищей большой, на него заорал: «Не смей, – шумит, – трогать ее, – она женщина!» Кричали, кричали они так-то, кулаки-то друг на друга насучивали, насучивали, только заступник-то наш схватил пистолет со стенки – да и бацнул в приятеля. Слава Богу, что не попал! «Моли Бога, говорит, что не попал я в тебя, а мои убеждения честны». Долго я над ними смеялась. Вот, думаю, дураки-то необузданные! Только вслух я этого не сказала им, потому очень уж азартны.

– А хочешь, я тебя изобью? – спрашивал рассказчицу мастеровой, приходя почему-то в бешенство.

– Ну, уж это не хочешь ли вот чего? – в

свою очередь спросила рассказчица, показывая кукиш.

– Уйди, барин! – шумел на Восходящее Солнце Андрей Ильич. – Не твое здесь место.

– Как ты смеешь так говорить со мной?

– Так! не мешай – вот и все тут.

– А как я тепеиця с гусалем по нацадю зиля, – раздавался картавый, охрипший голос из другого угла, – халясо тогда бия! Ми с гусалем в общество еззивали, а в обществе, биваля, цяй-то с сейебьяними лезецками подавайся.

– Што же ты, братец ты мой, смотрел на него? – толкуют между собой два подозрительных персонажа. – Ты бы часы-то у него и чирикнул.

– Чего, чего не делал. Уж и пил-то я с ним вместе, и обнимался-то. Ничего не поделал, потому из наших никого не было, – кому передашь?

– Эх ты! Кому передать – спрашивает. В любой уголок положи, – не скоро найдут.

– Не сдогадался.

– А я, однава дихнуть! – выкрикивал картавый голос, – сказю, биваля, гусаеву деньсику: съюзи мне, Семен! Не посьюсяться он меня не

смей тогда, потому от баина пьиказанье такое быя ему, стобы он меня все явно как баиню съюсяйся.

– Ах ты, шкура! – кричит слушатель – Што ж, Семен всегда тебя слушался?

– Всегда, ей-богу, всегда! Тойко тогда усь, как гусай ухай и как у него за фатею впеиод за два месяца запьячено быя, я на той фатее и остаясь зить. Думаю: зачем даем деньгам пьападать? Тут Семен без баина-то и вздумай меня пьагонять. Ах ты, гаваю, халюй язнесцястний! Как ты смеесь меня пьагонять? А он меня взйй да по сее. Я и усья.

И картавый голос в этом месте своего расказа перешел в слезные тоны.

– Што же ты плачешь-то, глупая? Ты вот выпей лучше.

– Нет! Не хоцю я пить. Я тебе пьамо скажу: я без гусая зить не могу...

– Ах ты, чудище морское! нализалась и жить не могу, кричит...

– Не бей ее! Слышишь ты, Андрей Ильич, не тронь ее! – умоляло Восходящее Солнце заезжего донца, который колотил старостиху.

– Не твоего ума это дело! – кричал рассви-

репевший Андрей Ильич. – Як ней всей душой, а она с моим товарищем, на моих глазах, заигрывать принялась.

– Это ничего! – твердил оригинальный псевдоним. – Она исправится; ее только возвысить нужно.

– А вот я ее возвышу.

Восходящее Солнце попробовало было помешать Андрею Ильичу, но получило такой толчок, от которого завертелось кубарем.

– Я тебе говорю: пей! – приставал к картавому голосу какой-то мужчина.

– Я не буду пить! Я без гусая зить не могу! – слезно объяснял картавый голос грозному приказчику.

– Я с тебя дурь-то эфту собью! – со злостью рычит мужчина, и вслед за этими словами раздается звонкая пощечина.

– Бей! а не могу я зить без гусая... Там, в обществе-то, сейебеяния лезецки подавались.

– За што ее бьешь? Што же, коли она в самом деле без своего полюбовника жить не согласна? – вмешивается какой-то угрюмый сапожник в засаленном фартуке.

– А тебе что за дело?

– А то, не дерись понапрасну.

– Ты што за учитель?

– Я учитель!

– Учитель?

– Учитель!

И заварилась каша.

– Черти! За что вы полощетесь? – кричит седовласый приказчик.

– А вот мы тебе покажем, как ругать нас! – отвечают молодцы, сообща накидываясь на приказчика.



Меблированные комнаты «Столица». Фотография начала XX в. из «Альбома зданий Мос-

ковской городской управы». Государственная публичная историческая библиотека России

За приказчика налетают половые, и вообще в этот трагический момент «Крым» сделался каким-то, еще не записанным в истории царством, густо населенным, вместо обыкновенных, живых существ, неслыханной руготней, многообразными потасовками и зуботчинами.

– Бежите за полицией! – командует приказчик половым, очевидно проигрывающим битву.

– Убегем, братцы! полица сейчас налетит! – кричит толпа, быстро направляясь к двери.

Восходящее Солнце и я отправляемся по ее следам. Освеживший меня уличный воздух окончательно погасил Восходящее Солнце.

– Кто идет? – спрашивал нас соседский будочник.

– Табак! – почему-то отвечал будочнику сей многоуважаемый литератор, с заметным наслаждением расквашивая себе нос о тротуарную тумбу{119}.

Грачевка{120}

Начало весны для человека, не одетого в драповое пальто на легкой ватной подкладке, не обутого в крепкие калоши, – вещь, по общему мнению, далеко не ублажающая. Таким образом, было однажды начало весны, а у меня не было драпового пальто на легкой ватной подкладке и калош не было, потому собственно, может быть, что были сапоги, которые, что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапожонки, до того широко разинули свои рты, что как будто хотели вычерпать всю грязную воду, залившую грязные улицы. Не знаю, каким образом не умер я в описываемое время от холода первой весенней ночи и как не отвалились у меня ноги, обваренные режущим кипятком натаившей из снега воды.

Итак, было начало весны. На дворе стояла непроглядная ночь, именно та самая ночь, которой можно дать имя ночи любопытствующей, ночи, всячески старающейся определить, что крепче на сем свете есть: дерево ли фонарных столбов, или лбы пешеходов,

несчастливые, бедные лбы, осужденные во время любопытствующих ночей стучаться не только об означенные столбы, но пожалуй даже, говоря возвышенной речью, и об холодный гранит тротуаров.

Можете себе представить, как я благословлял эту ночь, шлепая по ее лужам, утопая в ее канавах и ежеминутно удовлетворяя ее любознательность насчет того, так сказать, насколько я меднолобен. Весенним страницам Фета{121}, положительно докладываю, весьма было бы лестно украсить благословениями, которые я призывал на первую весеннюю ночь.

– Господин Сизой, – сказал мне, часа за три до наступления описываемой ночи, хозяин жалчайшей лачужки, в которой жил я, – вы очень бедны: у вас нет работы. Без собственного мне уважения к несчастью ближнего я бы, конечно, мог протурить вас с квартиры, как об этом мило говорится, в три жилы, потому что вы мне не платите ни копейки. Я не сделаю этого, потому что под тремя жилами, в этом случае, разумеют шею, а у вас она, сколько мне известно, одна. Но если вы сей-

час же не изволите оставить эту комнату, предупредите меня, ибо в таком случае я намерен с вами поступить по законам, т. е. защитить вас в квартал.

Выказав так забавно свое остроумие, мой хозяин, необыкновенно носастый и совершенно обрусевший немец (кстати сказать, он был так носаст, что сквозь нос его можно было высмотреть все, о чем он именно думал), заложил руки за спину, заломил назад голову и вопросительно выпучил на меня свои насмешливые бельма. Положение его головы, как вы поймете, было именно такое, что я сразу увидел через его вздернутый нос, что он говорит дело, без малейших притязаний на любезные шутки, а увидевши, что он говорит дело, я засвидетельствовал ему мое всенижайшее, взял с окна мой дневник, положил в карман березовый мундштучок, некоторый миниатюрный портрет, когда-то украшенный золотом, давно уже пропавшим в залоге у жида, и вот вы видите меня на улице, преследующего проклятую цель – ночевать у кого-нибудь из моих многочисленных грачевских приятелей. Насколько я прав, назвавши мою

цель проклятой, судите сами. Я родился и воспитывался в той благовонной среде, где и теперь еще обеими руками держатся за знаменитое изречение блаженного во отцах Игнатия Лойолы{122}: «Цель оправдывает средства». Теперь же, перенесенный благоприятствующей судьбой в иной круг, я по чести говорю, что я еще не успел забыть ни то палочье, которым вбивали в меня это правило, ни самое правило. Откровенности такой, ей-богу, в наше время днем со свечой не найдешь, но, клянусь вам, она составляет, может быть, только миллионную долю всех достоинств. У меня много всего было! Говорю вам словами Федора в «Свадьбе Кречинского»: «Было, батюшки мои{123}, много всего было, да былъем поросло!» Отчего именно все былъем поросло – это другой вопрос. Разреши я этот вопрос, как мог бы я разрешить его, моя бутада не была бы напечатана. При моем же мирозерцании бутада{124} моя представляется мне рукой-кормительницей.

– Иван, – говорит мне она, – помолчи благородно, а то ведь выпить не на что будет.

Воз с корзинами у моста на Грибном рын-



ке. Фотография начала XX в. Частный архив

Я не хлопочу о хлебе, потому что не о хлебе едином жив будет человек. Я оправдываю целью средства и молчу. Молчу, закусивши бледные губы, и тогда, когда хочется мне разрешить вопрос, отчего все мое быльем поросло, и теперь молчу, когда человек, с которым я делил все, что доставал своей мозолистой работой, которого я толкнул на дорогу, на мою просьбу о ночлеге, сказал мне:

– Не могу.

– Отчего ж? – спрашиваю я.

– Да вот, видишь ли, – говорит он, – в одной комнате я сам сплю, а другая, хочется мне, чтобы всегда чистая была. Сам согласишься, – говорит, – придет ежели завтра кто ко мне поутру, а ты спать тут будешь, – неловко.

– Правда, – отвечаю я ему. – Действительно, это неловко.

В моей голове промелькнуло в это время представление о том зверином голоде, который обыкновенно мучил нас обоих, когда я давал у себя приют этому человеку. Живя в столичном городе, мы были с ним беспомощны, как матросы в море, претерпевшие кораблекрушение{125}. Поистине я не согрешил бы тогда, ежели бы убил его для того, чтобы не дать ему достаемой на его долю порции черного хлеба с гнилым маслом, специально, впрочем, добытой мной. Но я не убивал его, хотя мускулы у меня, как вообще у плебеев, могу сказать, таки тово... Я ничего не сказал ему об этом представлении из нашей прошлой жизни и вышел.

Когда у меня после таких случаев бывают деньги, я обыкновенно запиваю, потому что, помню я, отец мой, когда, бывало, придет до-

мой с половиной бороды, с израненным лицом, на котором засохла кровь, тоже запивал. Пусть кто меня осудит за это! «Родителям подражай!», – измарал я сто тысяч раз аспидную доску, когда учился писать. А я что же делаю, когда запиваю? Разве кто уверит меня, что я в этом случае не подражаю родителю?

Я прихожу к одному весьма юному студенту, занимающему двухаршинную келью.

– Ночеватьпустишь, чтоль? – спрашиваю его. – Меня носастый немец с квартиры прогнал.

– Располагайся, – говорит, – как тебе свободнее, на этом полу, потому что на кровати со мной нынешнюю ночь спать тебе невозможно. Праздник завтра.

– А! – догадался я и ушел.

К нему накануне каждого праздника ходит одна швея, до бесконечности милое и наивное создание, на которой мой бедный приятель неизменно решил жениться и которую он, вследствие того, что называется, возвышает до себя. Я не буду мешать вам, счастливые дети!

– Так тебя, говоришь, носастый немец с

квартиры прогнал? – сказали мне в другом месте. – Этот пассаж имеет в себе ту хорошую сторону, что ты принужден будешь найти себе другую нору: тогда я к тебе привалю на новоселье с компанией, а теперь ночевать у меня невозможно. Завтра праздник и сейчас

*«Придет сюда она,
Это милое созданье{126}.
Чернобровая моя!»*

Сам знаешь, у ихних мадамов работы ни в праздник, ни под праздник не бывает, а ночевать просишься! Эх ты, голова! Гряди и ожидай меня на новоселье с компанией.

– Поди ты к черту и с компанией!

– Впрочем, стой, подожди на минуту ругаться. Чаю не хочешь ли? Я для своей Дульцинеи{127} припас было крендельков, сухариков разных ерундистых, так ты пожри их. С нее довольно будет любви огневой.

– Пожалуй, давай в карман: я с собой заберу, а чаю мне твоего дожидаться некогда.

– Укладывай с богом – и марш под дождь! На дожде, говорят, больше растется, – сострил он окончательно, подавая мне бумажный па-

кет с ерундистыми крендельками и сухариками.

В другие комнаты *снебилью*, к другим приятелям прихожу я, упорно преследуя мою цель – ночевать не под открытым небом. В передней, освещенная тусклым светом вонючего ночника, обыкновенно сидит мегера, родившаяся на сокрушение бездомного народа в каком-нибудь селе Ярославской губернии. Как возовая лошадь, громко сопит она над двадцатой чашкой кронштадтского чая {128}. Обыкновенно, не умея смотреть на этих, как они называют, хозяек иначе, как со скрежетом зубов, я в это время отступаю от своих принципов и самым заигрывающим манером желаю мадаме приятного аппетита-с.

– Вот вешать-то некому! – злобно ворчит мадам, – в какую погоду шатаются. Пол-то весь загрязнили вы мне! – возвышает она свой крикливый голос, вечно просящий денег. – Снимайте поскорее пальто. Словно утопленник какой ввалился. Где только носило вас?!

– В гостях был у вашего благоверного. По-

клон с нами вам прислал. Поцеловать вас, как можно, наказывал.

И при этом я как будто изловчаюсь влечь её комиссионный, так сказать, поцелуй, но зверовидное существо находит в себе, против моих ожиданий, настолько женственности, чтобы самым неуклюжим манером гримасничать и увертываться от моих, жаждущих теплой постели, объятий.

– Какого ты черта возишься там? – слышится из-за перегородки голос моего приятеля, к которому пришел я с намерением ночевать. – Говорил бы прямо, что на ночевку пришел, так я бы тебе тоже прямо сказал, что нельзя нынче у меня ночевать, потому что праздник завтра.

«И тут праздник!» – с ужасом восклицаю я про себя.

– Каким же образом у тебя-то праздник? – кричу я ему в стену, – ведь ты жид.

– Ну, это уж не твое дело! – отвечает он мне. – А за то, что ты жидом ругаешься, не пущу же тебя ночевать, хотя одна добрая душа очень меня упрашивает укрыть тебя от темной ночи.

Я видел, что мои дела поправляются, т. е. что ночевнице мое почти уже готово, но я ушел и отсюда, потому что за стеной слышал некоторый умоляющий шепот:

– Пусти его, Евзель, ночевать, пожалуйста, пусти. Ты не сердись на него, что он тебя жидом изругал. Он ведь, этот Сизой, почти всегда пьян. Может, это он спяна тебя изругал.

У этой девочки, которая навещала Езеля Гараха, такие большие, такие ничего не выражающие глаза! Я всегда как-то не симпатизировал ей, а тут еще шепчет она, чтобы Езель Тарах, студент медицины, снабженный трехаршинными бакенбардами и талейрановской головой{129}, не мстил приятелю своему, Ивану Сизому, за то, что тот его жидом назвал.

– Ну, хорошо! Я прощаю тебе, Иван, что ты меня жидом обругал, – кричал мне с хохотом Езель. – Иди и ночуй. Обещаю тебе не пить твоей крови за обиду мне нанесенную.

– Как это трогательно! – злобно заметил я, сознавая необходимость уходить и отсюда, чтобы не видеть больших круглых глаз феи, вышептывающей мне великодушное прощение.

Но прежде, нежели уйти мне от Езеля, я сцепился с хозяйкой преимущественно в видах, чтобы, разозливши ее, лишить тем самым надлежащего аппетита, с которым она заливала нутро свое чаем. Я начал с того, что она коломенская жирная дура, а не хозяйка, что ей бы только судомойкой в солдатских казармах быть, а не хозяйничать. Зверообразная баба, к великому моему наслаждению, была поражена в самое сердце.

– Вот оно, вот оно, как накинудся! – могла она только выговорить, глядя на меня с заметным недоумением.

– Ну, какая ты хозяйка? – продолжал я надавать ей жару. – Мне вон Тарах сказывал, как ты в самоварную трубу воды налила, а углей наклала туда, куда добрые люди воду льют. Вот ты какая хозяйка! Небось на правой руке пальцев сколько, не знаешь.

Тарах хохотал во все горло за своей перегородкой. Он, очевидно, понимал мою дипломатию, которая главным образом состояла в том, чтобы, сразившись с хозяйкой часа на два, сколько можно сократить мучительную ночь на тротуарах.

– Есть ли у тебя какое-нибудь мирозозерцание, дура ты эдакая? – спрашивал я у бабы. – Ты вот теперь воображаешь, что сняла три лачужки и пустила в них жильцов, так ты хозяйка не только над этими лачужками, но и над самими жильцами. Почтения от них требуешь. Хочешь, чтоб они тебя мадамой звали. Какая же ты мадам, когда чаю по двадцати чашек зараз выпиваешь?

– Что ж такое? Купчихи-то не пьют разве?

– И купчихи тоже дуры, как и ты. Чай грудь сушит.

– Крепкий сушит-то, а я какой пью? Чуть только желтеется.

– Молчи лучше! А то сейчас офицера вызову из крайней комнаты. Он с тобой не будет разговаривать, а по-вчерашнему возьмет да отдует.

– Как же! Каждый день будет дуть? Что ж, что он барин: я его хозяйка зато. Я и в квартал дорогу найду.

– Про квартал ты тоже перестань разговаривать. Там вашу сестру хорошо учат. Там тебе сразу объяснят, что ты не имеешь никаких филологических соображений. Там тебе ка-

кой-нибудь ундер Хлобов или вестовой Шпыренко сразу растолкует, что ты хозяйка только своего чрева, а вовсе не жильцов.



Водовозы у фонтана на площади перед Шереметевским странноприимным домом. Фотография 1880-х гг. Частный архив

Забираясь иногда в самый мозг к таким франтихам, я, к величайшему моему ужасу, находил, что слово «хозяйка» употребляется ими в значении, так сказать, деспотическом. Ежели, например, жилец, разбешенный той опрятностью, которую обыкновенно соблюдают эти создания в своих клетках, возвысит голос для приказа вымыть пол, вытереть

мебель, хозяйка сначала струсит этого голоса, а потом на дороге в кухню непременно скажет: «Экий народ какой безобразный! Вишь как на хозяйку кричит!» Вследствие столь наивного понимания происходили, например, такие столкновения.

Прошлой зимой на Грачевке жило очень много французов, рабочих с Нижегородской железной дороги{130}.

– Баба! – говорит один молодец своей хозяйке, уходя фланировать по московским улицам, – убери комнату. Никогда ничего не сделай, скверно тут, тут и там!

При этом он указывает на заплесневелые, замороженные углы, на залитые водой подоконники, на запыленный графин, в который напозли пауки. Последнее обстоятельство всего более возмущает француза.

– Утри, mille diables! Деньга не дам! Var-r-bar-r-re{131}!

– А вы, мусье, не ругайтесь. Я не варварка. Я ваша хозяйка.

– Ventrebleu! Козяйка! Что такой козяй? Ты мена нанимал? Ты мена деньги платил? Я теба деньги платил, monster{132}!

– Что ж, что деньги платил? – орет в свою очередь хозяйка. – Я не позволю кричать на себя, – заимствуется она фразой у своей племянницы, весьма образованной мамзели, никогда, впрочем, не ночующей дома. – Я хозяйка в своей фатере.

– Bah{133}! – восклицает француз. – Свой фатер? Мой фатер! Я платил деньга. Матушка, черт!

Баба направляется в двери деликатной рукой иностранца.

– Матушка, черт! – повторяет он, выпроваживая ее за дверь.

Но такое обхождение окончательно противоречит ее пониманию слова «хозяйка». Она начинает орать и бранить француза всякими непристойностями. Француз не выдерживает и дает ей туза, на который баба отвечает громким «Караул!» Ее фаворит, обыкновенно еще довольно молодой портной или сапожник, стремительно бросается к ней на помощь из глубины кухни.

– За что ты дерешься? – азартно спрашивает он француза, потряхивая волосами.

– Fichtre{134}! – шипит француз.

– Нет, ты скажи прежде, за что ты прибил ее? – настаивал фаворит.

– Bah! – вскрикивает француз на своем уже родном наречии, не зная, как это выразить по-русски. – Отчета от меня требует эта свинья. Что ему за дело? Этот непонятный лепет мастеровой объясняет трусостью, которую он, по его соображениям, навел на француза своим грозным видом. Поэтому он схватывает его за борт сюртука и говорит: – Иди-ка-сь, друг сладкий, к фартальному!

Француз неистово взвизгивает, когда прикоснулась к нему посторонняя рука. Сильным движением назад он освобождает свой борт, сбрасывает с себя коротенькую вигоневую жакетку и в одну минуту поражает мастерового градом ударов.

– О-го-го! – в азарте визжит француз, как угорелый, фехтуя около своего врага. – Отчет тебе нужен? Вот тебе отчет!

Мастеровой минут пять не может оправиться от этого быстрого нападения и, словно в столбняке, все это время стойко выдерживает удары; наконец он успевает, что называется, подмять француза под себя. Тесная комна-

та очень много помогает ему изловить эту маленькую птицу с острыми когтями.

– Так ты такой-то? – задыхается в свою очередь мастеровой. – Ты, я вижу, бойкий. Погоди же, я таперича помну тебя. Теперь не скоро вырвешься!

Хозяйка достает откуда-то длинную палку и ею принимается возить француза с гораздо большим ожесточением сравнительно с ожесточением своего друга.

– А! разбойники! – дрожащим от злости голосом кричит француз и старается выбиться из-под мастерового.

Наконец победитель и побежденный выкатываются на просторный двор, где побежденного снова разыгрывает мастеровой. Французская ловкость берет верх над русской силой. Хозяйкина палка торжественно переломлена французом о спину хозяйки. Мастеровой, не видя возможности изловить врага и снова подмять его под себя, как ошалелый, пугливо прислоняется к забору и нечувствительной спиной выдерживает быстрые налеты разозлившейся французской птицы.

– Messieurs, messieurs{135}! – кричит фран-

дуз, рассчитывая, что его услышат товарищи, живущие в соседних домах или случайно проходящие мимо. – Спасите: меня убивают!

И не два раза случилось так, что на его сторону набегал десяток французов, на сторону хозяйки десяток мастеровых, и Грачевка оглашалась военными криками двух наций, как бы на настоящей войне, азартно сражавшихся до тех пор, пока не приходила другая, серая армия, которая и разгоняла воителей палочьем.

– Чудесно это, право, с ненашинскими драться! – говорили мастеровые, возвращаясь после драки к своим станкам и верстакам. – Задали им жару на порядках!

– Небось так-то и в Севастополе действовали!{136} – предполагает другой.

– Известно, так же, – уверенно заканчивает третий, со страшными желваками на окровавленном лице. – В Севастополе только пострашней, чай, было, потому там штыками дрались, из ружей палили.

Мне удалось выкинуть часа три из моей безночлежной ночи, которые я благополучно препровел со съемщицей, объясняя ей насто-

ящее значение слова «хозяйка». Потом, когда уже различные доказывающие факты мои привели ее в состояние, близкое к бешенству, т. е. когда она начала задыхаться от злости и одуренно заметалась по кухне с целью, вероятно, отыскать обломки той палки, которой она или не она некогда колотила француза, я распрощался с ней, ибо у меня при всем том, что я ни более ни менее как только Jean de Sizoу, как у всякого другого человека, совесть-таки сохранилась еще.

«Довольно! – думаю я, уходя. – Должно быть, теперь к заутрене скоро заблаговестят. Пойду в церковь замаливать невольный грех моей нищеты».

– Ежели и завтра не найдешь квартиры, – кричит Тарах вслед за мной, – приходи ко мне: я ждать буду.

Темный бульвар, на который я вышел в это время, показался мне уже не таким темным, каким он был в действительности, потому что его освещало мое представление лица моего приятеля, отпустившего меня ночевать под открытым небом не одного, а по крайней мере с надеждой провести у него завтраш-

НЮЮ НОЧЬ.

Я сел на скамейку и задумался.

Бог знает почему мне спутанно вспомнились картины моего незатейливого, но мирного прошлого, как вдруг, словно отпавший дух, загрязненный, усталый и бесприютный, как я, появился передо мной, точно из земли вырос или бы с неба упал, мой друг экс-студент Дебоширин.

– Здорово! – сказал он, пожимая мою руку. – Без ночлега?

– Как видишь, – отвечал я, – а ты?

– Нет! У Пржембицкого был?

– Был. К нему пришла Стеша.

– А у Скворцова?

– И у него тоже: Паша или Саша.

– У Гараха?

– Не говори. У него теперь эта девочка с овечьими глазками... Она теперь умаливает его, чтоб он простил меня, что я его жидом назвал.

– Я думаю, по ее просьбе он тебя и простит, – серьезно заметил Дебоширин. – А она, по моим соображениям, ни за что бы тебя не простила, когда бы слышала, что ты ее глаза

называешь овечьими. Впрочем, завтра я не премину доложить ей об этом для поддержания между вами доброго согласия.



Питье чая на морозе. Гравюра Л. А. Серякова по рисунку В. М. Шпака из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Ты лучше поди доложи черту., что ты дьявол! – озлился я на него за его шутку в то время., когда грудь хотела лопнуть от кипевших в ней слез и проклятий.

– Кричи сильнее., – советовал он. – Это тебе полезно. Выкрикивайся и будь готов наслаждаться дивными красками ночной природы под открытым небом.

– Уж лучше бы ты к будочнику как-нибудь подобрался. У тебя., я знаю., связи тут есть., – просил я Дебоширина., обезоруженный его хладнокровием.

– Что нам будочник? Будочник – табак! А я тебя в клуб{137} сведу, милое дитя! Ты только не бранись. У меня кстати имеются два пяточка.

– Что же мы сделаем в этом клубе на два пяточка, и какой это именно клуб?

– А клуб в Нехорошем переулке. Впрочем, ты его едва ли знаешь, потому что я сам очень недавно открыл его в одну из подобных бессонных ночей. Мы там на гривенник хватим самой оглушающей водки и вдобавок просидим целую ночь безданно, беспошлинно. Я был там не более пяти раз, хотя, зная свою бездомность, успел познакомиться с хозяином настолько, что он уже открыл мне некоторый кредит. Обещаю тебе знакомство со многими из посетителей. Публика, я тебе

скажу, первостатейная.

Я просто не буду есть никакого меда, когда меня обещают сводить в какое-либо место вроде нехорошевского клуба, где обыкновенно гнездятся по ночам те ночные птицы человеческого рода, редкое появление которых на улице среди белого дня колет как будто светлые глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моим руководителем в нехорошевский клуб, куда меня тянет магнетическая надежда на возможное тепло, а в темной дали яркой путеводной звездой блещет стакан водки, заглушающей человеческое горе, обещанный Дебосириным.

Несмотря на позднюю пору, Нехороший переулок кипел самой широкой, шумной жизнью. Из раскрытых окон, неизбежно украшенных красными драпри{138}, громко неслись безобразные звуки разбитых клавикордов; визгливые скрипки заглушали песни, которые из каждого дома вырывались на улицу. Какие-то особенно хриплые голоса мужчин, какие-то, только в Нехорошем переулке возможные, надсаженные, так сказать, голоса женщин дикими ругательствами терзают

свежий воздух ночной. Говорю, терзают потому собственно, что более громко, чем в другое время, раздавались в нем эти ругательства, следовательно, могу думать, что свежие воздушные струи очень страдали, когда их разрывали хулящие природу человека выкрики ночного разврата.

Громкий стук пролетов извозчиков-лихачей, которые, сломя голову, летают вдоль переулка, окончательно завершает эту шумную, оглушающую картину.

В этом-то переулке, в лавчонке под вывеской: «*Продажа китайских чаеф и разных овощных товаров*» – и находился так называемый нехорошевский клуб.

Когда мы вошли в вечно бодрствующее капище, там было только двое посетителей. Один, во фраке и клетчатых шароварах, довольно молодой человек с толстыми скулами и посоловевшими глазами, сидел на скамье у самых дверей, ближе, как он говорил, к холодку, и бессмысленно смотрел в грязный пол клуба. Другой, в очках, с бакенбардами, могущими возмутить самую ледяную душу, принадлежащий, по-видимому, к расе ученых,

развалился на стуле у прилавка, сосредоточив все свое внимание на огромном стакане с водкой, стоявшем перед ним.

У задней стены лавки, с заложенными за спину руками, стоял хозяин, бледный, апатичный толстяк со взъерошенной прической. Подле него безотлучно пребывал молодой мурластый{139} парень, – необыкновенно слонообразная мебель. Его назначение в лавке, очевидно, заключалось в том, чтоб одним вздохом низвергать на середину мостовой буйных клубистов.

Дебоширин весьма коротко пожал руку хозяину и господину с возмутительными бакенбардами, слегка ткнул в едало слонообразную мебель, отчего она радостно улыбнулась, и спросил водки. Спектакль начался слезливыми просьбами скуластого юноши, с которыми он обратился к хозяину.

– Степан Андреич! – умолял его несчастный клубист, – ради бога, одну только рюмочку, голубчик. Больше я и просить не буду. Только что выпью одну рюмочку, сейчас и уйду.

– Вы и так уж очень много напили, – бес-

страстно ответил хозяин.

– Плевать! Ну, право, плевать. Завтра все отдам. Ну, пожалуйста! Ради Христа, прикажите налить!

– Налей рюмку, Семен! – обратился хозяин к малому. – Только одну: больше, смотри, не давай.

Юноша жадно проглотил рюмку и судорожно скривил лицо. Бакенбардист во все горло захохотал сделанной пьяницею гримасе.

– Чему вы смеетесь, милостивый государь? – запальчиво спросил его юноша.

– Вы, вероятно, хотите сказать: над кем? В таком случае я говорю, что над вами, – отвечал протяжно бакенбардист.

– Так вы подлец после этого!..

– Что такое? – равнодушно осведомились бакенбарды.

– Ты подлец!

– Ну, любезный, будь осторожнее, а то как раз скушаешь оплеуху.

– Что? Ты смеешь мне дать оплеуху? Мне? Чиновнику?

– Для меня все равно, кому ни дать. Лучше

замолчи.

– Да ты-то кто? Мещанин какой-нибудь? Сапожник?

– Мещанин и сапожник. Ты угадал.

– Так я тебя, скотина, в часть отправлю.

– Эй, не горячись. Дам оплеуху, – пожалуй заплачешь...

– Ударь! ударь! – закипел юноша. – Попробуй, ударь.

– Ты просишь?

– Прошу – ударь!

– Господа, – обратился бакенбардист к публике, – прошу вас быть свидетелями, что вот этот франт безотвязно просит ударить его.

– Ударь! ударь! – орал чиновник, подставляя свою физиономию и стибая ее несколько на бок.

– Получай! – сказал бакенбардист, и вслед за этим раздалась сильная оплеуха.

Юноша повалился на пол.

– Ничего, недурно; того стоит, – внушительно заметил хозяин.

Тяжело вздыхая, юноша поднялся с пола. На его губах показалась яркая кровь. Убедившись, что получить оплеуху вовсе не так

трудно, как кажется с первого взгляда, он присмирел, как ягненок. Не имея ни копейки в кармане, ни кредита у хозяина, он все-таки продолжал сидеть в клубе, упорно вглядываясь в оставшиеся на прилавке графины с водкой. Заметно было, что у него сохранились весьма сильные надежды выпросить еще рюмочку Христа ради; но, с другой стороны, приятельский кулак очень серьезно пошатнул эти надежды, так что во все остальное время юноша ни одним словом не выказал не только этих надежд, но даже и своего присутствия.

– Вы нынче на водку что-то и не смотрите, – обратился хозяин к Дебоширину.

– Денег нет.

– Так что же? Вы знаете, что я вам на сто рублей поверю. Сделайте одолжение, не церемоньтесь.

– Пожалуй. Только смотрите: двух графинов в мгновение ока, можно сказать, вы недо-считаетесь.

– На доброе здоровье, – любезно пожелал нам хозяин, наливая стаканы.

– Пожалуйста, закусить чего-нибудь спро-

си, – шепнул я Дебоширину.

– Дождь-то как разыгрался, просто страсти! – говорил вошедший в эту минуту весьма подозрительный верзила. – Мы уж к вам, Степан Андреич, как в храм спасения, забираемся на всю ночь.

– Откуда шли? – спросил хозяин.

– Да так. В «Крымце» поболтались немного, по окрестностям тоже. Нет на улицах хода.



Малый Каменный мост. Открытка начала XX в. Частная коллекция

– Значит, нового ничего нет?

– Почитай ничего! Разве вот на это посмотришь? – И верзила подал часы. – Простень-

кие, – добавил он. – И купить, пожалуй, охотника не найдется.

– Я, ежели сходно будет, возьму пожалуй за себя, – хитрил хозяин.

– И толковать нечего, – согласился верзила. – Получи! Мы вот тут выпьем у вас чего-нибудь да закусим – и квит.

– Семен, подавай, что прикажут, – завел хозяин слоновобразную машину.

– Капусты мне кислой на пяточок, да две селедки отпустите, – говорила лавочнику некоторая бойкая девица с изумительно быстрыми манерами.

– Кисленького захотелось? – шутили бакенбарды. – Я и сам, когда устаю, всегда селедку или капусту ем, – продолжал он, задумчиво лелея свой сенокос. – На горячие сердца это хорошо действует.

– Не очень-то с вами разговаривать станут, – обидчиво отвечала девица. – Умылись бы прежде.

– Умыт уж. А вот на вас полюбоваться позвольте, – заигрывал он с девицей. – Небось так и разит кокосовым.

Бойкая девица, в справедливом негодова-

нии, весьма энергически оттолкнула любезника и, как мимолетное виденье, скрылась из лавки с приобретенными селедками и капустой.

– Много, должно быть, разбирают у вас селедок-то и капусты? – спросил у хозяина бакенбардист.

– Берут-с довольно, – удовлетворил его хозяин.

– Очень их по вечерам на соленое да на кислое тянет, – со знаменательной улыбкой прибавила от себя слонообразная мебель.

– Волосатый! – Самым заигрывающим тоном вдруг вскрикнула только что вышедшая девица, на мгновение показавшись в дверь лавки.

– Обиделась с первого раза, так проваливай. Я не очень люблю недотрог, – ответил волосатый.

– Тебя-то кто любит, – презрительно спрашивала девица за кулисами. – Ровно свинья из камышей высматриваешь.

– Ах ты дрянь! – заревели сенокосные луга. – Вот я тебя.

– Сволочь! – вместе со звонким хохотом

прилетело к нам с улицы в клуб звонкое слово, и затем раздался шорох быстро улетающих башмаков.

– Не метнуть ли? – спросил подозрительный верзила у пришедшего вместе с ним рыжего франта, блиставшего необыкновенно оригинальными брелоками на часовой запялке.

– Сколько закладываешь? – спросил франт.

– Да мы, для провождения времени, сыграем на зелененькую{140}.

– Не хочу я, братец, зелененькой твоей руки марасть.

– Валяй на десятку, когда так, – с увлечением предложил верзила и вынутыми из кармана картами начал метать штос.

– Поцелуй ручки у десятки и разлучись с ней навеки, – пошутил рыжий франт, срывая банк милочкой-дамой, которую он весьма страстно целовал прежде, нежели пустил ее в экспедицию за приятельской десяткой.

– Ничего, – покорился подозрительный верзила тяжелой судьбе своей. – Вот тебе другая десятка.

– И другой мы найдем место в кармане. Го-

ТОВО?

– Готово.

– А когда готово, поди, мой дружок, возьми у него и эту десятку. Я тебе платье сошью, – благословлял рыжий свою даму на новый подвиг. – Ва-банк!

Верзила с проклятием положил даму налево по второму абцугу{141} и заложил двадцатипятирублевый банк.

– И это нам пригодится на шляпку, – флегматически предполагал рыжий франт, выбирая понтерку{142}.

– Две карты сии по пяти рублей каждая, – неожиданно произнесла доселе молчаливая личность, по всей вероятности, принадлежавшая отставному монастырскому служке. Его длинное полукафтаные{143} и плисовая шапочка{144} до очевидности доказывали справедливость этого предположения.

– Можно-с. Отчего же-с, – благодарственно пробормотал подозрительный верзила.

– Как же это? – в недоумении спрашивал служка, когда карты, поставленные им, были обе убиты банкочетом. – Ну, была не была! – как-то отчаянно говорил он. – Еще на десять

рублей прокиньте.

– И на десять можно, – великодушно согласился верзила. Внимание всех клубистов сосредоточилось по преимуществу на играющих. Шелест карт один только нарушал общее молчание.

– Степан Андреич, отпустите, пожалуйста, до завтра селедочек парочку да капустки фунтик, – упрашивала хозяйина хриплым, болезненным голосом молодая еще женщина.

– И так много я тебе наверил, барыня, не могу больше. Мне самому нужно за товар платить, – отказывал лавочник.

– Ей-богу завтра отдам.

– Завтра и за капустой приходи.

– Двадцать пять целковых туз, – шумел в азарте служка.

– Бит туз, – мимоходом сказал верзила. – И твоя дама бита, – заметил он рыжему франту.

– Экое счастье дураку повезло! – отозвался рыжий франт.

– Степан Андреич! очень сердце жжет. Отпусти капустки. Мне она все равно лекарство. Я тебе платок в заклад дам.

– Куды мне тут с вашими закладами!

– Пятьдесят целковых последние! – крикнул служка. – Налейте сосуд, – обратился он к хозяину – хочу горе залить.

– На пальто играть будете? – спросил Дебоширин подозрительного верзилу. – В десять рублей принимаете?

– Можно-с, – учтиво ответил верзила, осмотрев пальто.

– Пять рублей! – поставил Дебоширин. – Пораздольнее мечите, а то руки обобью. Режу!

И, срезав талию, он пристально начал всматриваться в беглые пальцы банкюмета.

Счастье изменилось от этого пристального взглядывания. Служка выиграл пятьдесят рублей, карта Дебоширина тоже была дана.

– Отыгрались? – спросил Дебоширин у служки.

– Слава Богу! – ответил он. – Воротил.

– Что же? разве вы не будете больше играть?

– Не буду.

– А я так еще закачу! – радовался служка.

– Не играйте и вы, – серьезно сказал ему

Дебоширин.

– Отчего же?

– Оттого, что проиграете. Вам не повезет.
Верзила смекнул, в чем тут штука.

– Какое право имеете вы, – важно спрашивал он, – отсоветовать им играть? Не в свое дело прошу не мешаться.

– Молчи, мошенник! – крикнул на него Дебоширин. – Разве я не видал, как ты передергиваешь?

Рыжий франт и подозрительный верзила ожесточенно бросились на Дебоширина; мы дружно приняли их на наши толстые палки. Благодарный служка помог нам.

Пользуясь происшедшей свалкой, охрипшая женщина стащила было несколько селенок, но слоновобразная мебель схватила ее на месте преступления.

– Ведь жгет мне сердце-то! – оправдывалась она. – Без соленого али кислого умерла бы, пожалуй, а он в долг не дает.

– Тащи в квартал! – приказывал хозяин.

– Заступитесь, голубчики, – ох, не выдавайте меня! – упрашивала она предстоящих. – Высекут меня там.

– Отпустите ее, Степан Андреевич, – вступился Дебоширин. – Я заплачу за нее.

– Учить их следует, – противился хозяин. – Ну, да уж бог с ней! Ради вас только прощаю.

– Благодетель! – кричал служка Дебоширину. – Выпьемте по сосуду. Все бы я им ерникам{145} проиграл, когда бы не вы. У тестя раздобыл деньжонок, домишко покупаю, так в задаток нес, да и закутил.

– А вы домой скорей поезжайте. Будет уж сосуды-то осушать А то на других жуликов налетите, – некому будет спасти.

– Я, благодетель, сейчас же домой и отправлюсь. Только выпьем еще по сосуду, уважь ты меня, ради бога!

К крыльцу лавки с грохотом подкатила пролетка{146}, и в дверях показался герой. Все в нем, от волос, торчавших из-под шляпы á la черт меня побери, и молодецких концов галстука, глядевших в разные стороны, до малейших черт лица и необыкновенно резких телодвижений, изобличали героя á la russe {147}, натуру в высокой степени широкую и размашистую.

Варварка у Гостиного Двора. Открытка на-



чала XX в. Частная коллекция

– Водки! живее! – командовал он. – Поворачиваться у меня по-военному!

Почтенный хозяин клуба, оставив свою обычную флегму, с трактирной ловкостью налил ему стакан.

– Стар-р-ранись, душа, оболью! – страдал герой свою душу, и на лету, так сказать, проглотил водку.

– Закусить чего прикажете? – предупредительно спрашивал хозяин.

– Квасу! Я закусываю квасом. Жив-ва! Кто хочет пить? – спрашивал герой, торжествен-

но осматривая нашу компанию. – Пейте в мой счет, сколько влезет: за всех плачу.

Некоторые клубисты с благодарностью принимают это предложение. Слонообразная мебель и толстый хозяин не успевали наливать стаканов.

– Квасу! Водки! – попеременно кричал герой, принимая от пьющих на его счет должную дань благодарности и уважения.

– Накачивайте теперь его, – указал он на стоявшего у порога пьяного извозчика с дураковатым лицом. – А ты, Ванька, пей, сколько душа затребует. Без церемоний валяй. Да дайте ему папирос крепких. Бафра{148}! Жив-ва!.. Люблю я тебя, каналья! Молодец ты господ возить.

Счастье дураковатого Ваньки было полное. Подпершись фертом{149}, он до истомы затягивался папироской и улыбался самым глупейшим образом.

– Сколько следует? – спросил герой.

– За восемьдесят стаканов восемь рублей, за пять бутылок квасу двадцать пять копеек, за пять пачек папирос рубль двадцать пять... – отвечал хозяин.

Герой вынул туго набитый бумажник, и клубный прилавок заблистал радугами сотенной кредитки{150}.

– Нет ли помельче?

– Ну, уж мельче у меня не бывает. Пошли-те разменять. Да, впрочем, ей ты, Ванька! поезжай туда, где мы были сейчас. Там тебе разменяют. Да уж сиди лучше здесь, нарезывайся: я сам съезжу.

– Ладно, ваше благородие, – отвечал извозчик, – только насчет поднесения не оставьте.

– Пусть пьет, – лаконически приказал герой хозяину, взял с прилавка ассигнацию, сел в пролетку и поскакал по переулку.

– Кто это? – спросил у извозчика хозяин.

– Барин какой-то. Страсть какой богатый! Мы с ним другие сутки путаемся.

– Ты почаще таких-то вози, – просил хозяин.

– Уж это с нашим почтением; а вы мне вот поесть чего-нибудь дайте. Эдак белорыбицы, или икорки, – сладострастно претендовал неумытый Ванька.

Вошло двое пожилых господ с весьма бюрократическими признаками и геморрой-

дальным цветом лиц.

– А, знакомая лавка! Тут с меня прошлого зимой шубу сняли, – проговорил один.

– Ошибаетесь, – счел долгом разуверить хозяин. – У меня подобных происшествий не бывает-с.

– Толкуйте! я очень хорошо помню, что и вы тут были.

– Спрррраведливо, – подтвердил другой и пошатнулся.

– Никак-с нет. Это, вероятно, случилось в другой лавке. Тут их пять.

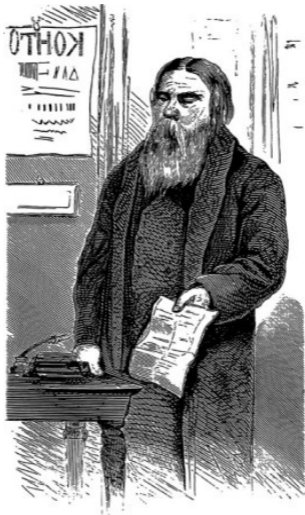
– Может быть, может быть. На вас претендовать то же, что воду лить в решето. Давайте-ка водки.

Бюрократы выпили и удалились. Их сменили двое молодых офицеров.

Артельщик. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Нет, как хочешь, а мы далеки еще от истинной дороги прогресса, – говорил один.

– С какой точки будешь иметь взгляд.



– Конечно, с абсолютной.

– Абсолютного ничего нет. Дайте нам водки.

– Абсолютного нет в смысле абсолютном, но возможно абсолютное всегда существует.

– Но как же ты определишь это возможное?

– Собственным убеждением определяю.

– Это будет ерунда.

Значительно заложивши, офицеры вышли из клуба.

– Что-то нет твоего барина, – сказал хозяин, обращаясь к извозчику.

– У барышень, надо думать, засиделся. Известно, разговоров-то у них побольше нашего будет.

– Не улизнул ли?

– Эвона! Не из таких, – проговорил извозчик, беспечно пуская клубы дыма.

Прошло еще с полчаса. Хозяин послал слоновобразную мебель в тот дом, куда отправилась герой.

– А барина-то твоего в другой раз у барышень вовсе и не было. Во всем переулке ни одной пролетки нет, – доложила слоновобразная мебель.

– Батюшки! – вскричал извозчик, мгновенно вытрезвившись. – Сейчас зарежусь пойду!

– Отпустите-ка шеледочек пару, Штепан Андреич, да капуштки, – суетливо говорила сильно запыхавшаяся мамзель.

– Поди ты к черту и с селедками! – не менее суетливо ответил ей хозяин. – Запирай лавку, Семен! – продолжал он, выталкивая на

улицу извозчика, который с отчаянием запустил руки в волосы и кричал:

– Ой, родимые мои! Удушусь сейчас.

Публика поспешно улепетывала из клуба.

Между тем уже совершенно рассвело.

– Слушай-ка, стой! – сказал Дебоширин, подавая мне выигранные им пять рублей, – ты постарайся нынче нанять себе квартиру.

– Да ты на эти деньги сам можешь устроиться, – ответил я.

– Будет глупости городить! – нетерпеливо закончил Дебоширин. – Разве не знаешь, что я привык уж?!

Аркадское семейство{151}, или Новая камелия в кепи (московская идиллия)

*Что на свете прежестоко?
Прежестока есть любовь.*

Из народной песни

*Я пред тобой на коленях! – с неподдель-
ным пафосом сказал граф Андрей, воз-
дымая руки к небу.*

Из романов «Русского вестника»

Мои повести я всегда начинаю описанием природы, побуждаемый к этому следующим обстоятельством.

Будучи, по натуре своей, человеком улицы, я, шатаюсь из конца в конец по нашей широкой отчизне, видел по крайней мере сто миллионов людских глупостей и двести миллиардов людских же подлостей. Вспоминая об этой мириаде орнаментов земного шара, без которых, по мнению некоторых, он и не удержался бы в пустом пространстве, я прихожу в неизъяснимое бешенство. Созданный быть ловцом душ, т. е. исправителем человечества, я до смертельной жажды томлюсь в это время желанием такой богатырской силы, которая бы всегда давала мне полную возможность всякого джентльмена, способствующего своей подлостью или глупостью равновесию земного шара, схватить за волосы целой горстью и тузить его – и тузить, дабы он был чист и нравствен, дабы он, наконец, не препятствовал моему собственному *ндраву* быть добродетельным и видеть других таковыми

же...

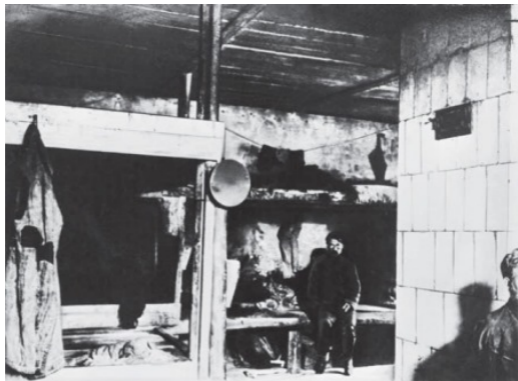
Да! Не проходит ни одного дня без того, чтоб я глубоко не скорбел об отсутствии в моих мускулах надлежащей развитости. Когда мне приходится выражать эту скорбь, я бываю страшен, как лютый зверь, и обыкновенно лечу к Пуаре учиться гимнастике{152}. Свежий воздух постепенно охлаждает мое горящее лицо, скорый бег утомляет на минуту возбужденное разлившеюся желчью тело, и я начинаю припоминать время и место, где совершилась известная глупость или подлость, возмутившая меня. Начинаю, говорю, припоминать время и место совершения известного нелепого дела, и чем ярче освещало это дело хладнокровное, ничем не возмущающееся солнце, чем веселее смотрелась в моей памяти сцена людского несовершенства, тем я делаюсь и тише, и тише, тем решительнее бросаю свое намерение давать *практику* Пуаре и, наконец окончательно, так сказать, опомнившись, я заломляю набок мою порыжелую, бонвиванскую{153} шляпу и иду, иду, иду.

И оно – это безалаберное море безалаберных дел людских – шумно катится пред глаза-

ми моими, одинаково бесправно топящее и бесправно выносящее на берег ловцов своих. Привыкли глаза мои не слепнуть от ослепляющего блеска волн того моря, – уши мои не глохнут от грохота, и если что-нибудь иногда мешает моему обыкновенному, постоянному занятию смотреть на это море и думать о нем, так это только выраженное уже мной желание физической силы, чтобы, с одной стороны, помочь какому-нибудь храброму и честному пловцу жизненного океана, который, спасши менее сильных, сам тонет теперь, теряя последние силы; с другой, чтобы стукнуть в лоб негодяю, который из трупов, утопленных им, сделал себе широкий, покойный плот и с улыбкой добродетели подъехал на нем к мирному берегу... Скотство!

Но я удержусь моей тукманкой{154} превращать эту улыбку в гримасу смерти. И без меня невинное спокойствие этой физиономии самым гнусным образом исковеркается и ужаснется при виде черта, который неизбежно встретит ее в жаркой бане ада. Впрочем, вера в эту встречу еще не так успешно успокаивает мое бешенство, как успокаивает ме-

ня или шумный день, беспощадно освещающий зверство людское, или тихая ночь, непроглядная темнота которой снисходительно укрывает его. Поэтому природа у меня всегда на первом плане. Она лучше всего, что только я узнал во всю мою жизнь. Блистая некогда неподдельной красотой в мои детские глаза, она заставила меня искренно полюбить ее, – вследствие чего и настоящий очерк я начну с того собственно, в каком состоянии была природа в то время, когда завязался узел подлой глупости, составляющий его тему.



Коечно-каморочная квартира на Хитровке.
Фотография начала XX в. Частный архив

Узел московской идиллии завязался в одной из тех свойственных только Москве улиц, которые я называю девственными, а другие, когда говорят про них, называют: «у черта на куличках, у сатаны на рогах»{155}. Решайте сами, которое из двух названий справедливее.

Было восемь часов утра. Кто знает нравы девственных улиц, тому нечего говорить, что обитатели их в восемь часов утра все давно на ногах; но кто не знает этих нравов, тот непременно подумал бы, что жители еще спали. Так было все тихо на улице, что, кроме табачного дыма, который густыми клубами выпускала из окна маленького домишка некоторая усастая ермолка{156}, ничего не было видно на ней. Росла тут, правда, ярко-зеленая трава, увлажненная еще не высохшей росой, за заборами стояли развесистые деревья, на них чирикали садовые птицы, будочник стоял на крыльце своей будки со стаканом чая в руках, показывая вид, что он пьет за здоровье солн-

ца, только что взошедшего над громадами настоящей Москвы; следовательно, я как бы со-
врал немножко, когда сказал, что ничего не
было на девственной улице, кроме табачного
дыма усастой ермолки. Я, изволите видеть,
потому позволяю себе маленькую вольность в
частностях моего очерка, что главная основа
его целого до бесконечности справедлива.
Примите это в соображение и слушайте, что
будет дальше.

Над двойным рядом покосившихся хижин
девственной улицы, над ее травой и деревья-
ми было такое мирное сияние весеннего дня,
какое, думаю, должно освещать только свет-
лые сады рая и божественные лики, населяю-
щие эти сады.

Никак нельзя было подумать, чтобы ка-
кая-нибудь людская голова, освещенная этим
солнцем, дышавшая этим ароматным днем,
решилась бы пойти в дисгармонию с окру-
жавшей его повсеместной красотой и обезоб-
разить его своей пошлостью и подлостью. А
между тем этим именно светлым утром, так
живительно пробуждавшим жизнь после
теплой ночи, на этом именно тихом месте,

при виде которого в вас непременно пробуждалось желание выстроить на нем свою кущу, чтобы в ее безмятежной тиши терпеливо ждать конца, когда истает в вас вечно ноющее сердце, – навстречу вам, безобразным червем, выпалзывала людская мерзость, разгоняя ваши добрые мысли и ожесточенно вооружая вас против блага жизни.

В первый раз этим утром людская дичь заветилась предо мной сквозь зеленые листья гелиотропов, гвоздик и тому подобной дряни, которой Анна Петровна Маслова, по наречию девственных улиц, Маслиха, думала украсить три окна своего, как она выражалась, флигаря {157}.

Будучи титулярной советницей, следовательно, одной из тех барынь, которых по справедливости называют чертовым помелом, потому что ничто не может быть нелепее их понятий и засаленнее их костюмов, Маслиха в тот самый день, когда я взглянул на ее гвоздики, стояла перед зеркалом в своем венчальном, гродетуровом платье {158}, с узенькими рукавчиками, с талией под мышками, и надевала чистый кружевной ворот-

ничок.

Ну, думаю себе: у Маслихи, должно быть, именинница ныне какая-нибудь есть – и при этом мне очень захотелось самому побывать на этих именинах для того собственно, чтобы посмотреть, с каким азартом чиновница нападёт на даровой именинный пирог, как будет жаловаться богатым гостям на своего покойника, оставившего ее будто бы без куска хлеба с детьми мал-мала меньше, и как вообще, пропустив, аки бы от боли под ложечкой, значительную дозу возбуждающего, она будет целовать ручки благодетелям и проливать пред ними свои вдовьи, горькие слезы. Не скажу, чтоб я уж отроду моего не видывал таких картин, но, по чрезвычайной их занимательности, я чем более смотрю на них, тем более они подвигают меня услаждаться ими.

Редко ошибаясь в своих предположениях, здесь, однако же, я ошибся.

– На именины куда-нибудь собрались, Анна Петровна? – спросил я Маслиху, запуская глаза в самое утро ее комнаты.

– Ах, испужал ты меня до смерти, Иван Иваныч! Какие там именины? Дочь из пенси-

она взяла, так вот срываюсь теперь: попов жду, молебен будут служить, гости вечером обещались. Приходи, барышни будут, – попрыгаете.

– Очень благодарен, Анна Петровна, что не забыли. Непременно вечером буду.

– И не говорите лучше, не стойте понапрасну, – отнеслась Анна Петровна к нескольким личностям, стоявшим в ее передней с узлами под мышками. – Разбудите дочь, – ей-богу велю собаку на вас спустить.

– Анна Петровна! – слышались мне поющие голоса. – Али долго? Али мы плательщиками вам всегда не были? Вы, примером, одним глазком только ежели взглянете, так с эким добром ни в жисть не расстанетесь.

– И глядеть не хочу, – отойдите лучше. Мало я на штаны-то ваши плисовые насмотрелась, да на рубахи-то ситцевые?.. Стыдились бы.

Фабричные упорно стояли около притолоки, выражая каждую секунду готовность сейчас же развязать свои узлы и представить их на ревизию Анне Петровне.

«Радость у соседки, – думал я про себя, гля-

дя сквозь частую сеть цветов на опечаленные лица мастеровых, – дочь к ней из пансиона приехала; а между тем других людей эта радость может сделать голодными». Философские размышления, особенно летним утром, я очень люблю.

– Вот, Иван Иванович, для этакого-то дня, – обратилась Анна Петровна, – хотят меня в грех ввести. Просто отбою нет от закладов, а выгоды никакой. Нанесут тебе юбок старых, поддевок изношенных, да так и бросают, не выкупимши. Весь дом завалила тряпками, а старьевщики не берут. Никуда, говорят, не годится.

– Анне Петровне здоровья и благоденствия! – пробасил в это время дьячок, нечаянно вошедший в переднюю с церковными книгами и одеждами.

– А батюшка скоро? – торопливо спрашивала Анна Петровна.

– Изволят жаловать. Вот они на дворе уж.

Калитка щелкнула, на дворе раздались тяжелые шаги, дьячок стремглав бросился отворять дверь передней, и Анна Петровна всецело отдалась принятию благословения вошед-

шего священника.

Из маленьких окон «флигаря» по всей длине и ширине девственной улицы разнеслось трехголосное пение, сизыми струйками полетел из них пахучий дым кадильный, который сделался еще ароматнее от аромата гвоздик и гелиотропов, с которым смешался он, когда пролетал по их зеленым листьям.

Я пошел дальше. Мастеровые, выходя из калитки, на чем свет стоит пушили неудавшийся заем и в то же время крестились, потому что, нужно думать, что и до их озабоченных ушей донеслось знакомое пение.

Теперь я попрошу у вас позволения объясниться с вами насчет личности, виденной нами сейчас, закладчицы. Надеюсь, что я не сказал лишнего слова, того, что обыкновенно называют ни к селу ни к городу, когда просил этого позволения, потому что речь пойдет об одной из тех дикорастущих на терпеливой русской почве женщин, которые с нелепым оттопыриванием нижней губы, с какой-то, лишь только им свойственной, возмутительнейшей томностью на всем лице, гнусливо величают себя бл-л-а-а-рродной женщиной.

Не знаю, как на кого, а на меня эта рекомендация производит самое одуряющее действие. Я в это время не столько хохочу коверкающемуся предо мной тупоумию, сколько бешусь и страдаю, потому собственно, что дозволено же наконец людям обезобразивать свои лица гримасами безобразнейшей мартышки.

Поистине скажу, что предмет, к которому толкает меня теперь дума моя, именно таков, к которому подходить и от которого отходить нужно не иначе, как вымывши руки самым лучшим французским мылом. Но, подходя к Анне Петровне с вымытыми руками, я вместе с тем вооружаюсь всей терпимостью, к какой только я способен, и заодно уже смываю с себя чувство ненависти и к Анне Петровне, и к лицам вроде ее, долгое обращение с которыми отразилось на мне так несчастливо, что мне нужно вооружиться всей твердостью мысли для того, чтобы разумно отречься от злости на них, ибо от века не знали они, что творили, и, увы, до самого гроба не будут знать, что будут творить... Не на ваши головы падут грустные результаты нашей безмер-

ной, национальной дури!..



Зарядье. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Моя желчь, Анна Петровна, утихла теперь. Более она не оскорбит вашего блага-родства своими вспышками. Справедливо и тихо расскажу я вашу жизнь от начала до настоящего дня, и если я, правды ради, обнажу, например, ваше далеко не титулярное происхождение, то верьте мне, что о ваших молодых партикулярных днях я буду говорить с тем именно глубоким сочувствием к ним, с которым я

обыкновенно скорблю о том вызывающем всякое участие мире, где неприметно протекло наше общее, так беспомощно страдавшее детство...

Анна Петровна родилась, тому назад лет пятьдесят, на широком дворе богатого степного барина. Посторонние вытягивали ее за волосы и за уши, мать поливала обильными слезами, и вот, подогнанная однажды нетерпеливой рукой отца, она кубарем выкатилась из душной людской на двор, поросший густой травой и старыми деревьями. Степная природа, бросившаяся в глаза ребенка прекрасной жизнью своей, вырвала из души его саму собой сложившуюся песню. Согласным хором заливаются степные птицы, порхая по старым деревьям и по высокой траве, и Анютка, слушая их, оглашает своим детским голоском барский двор.

– Чья это девочка на дворе кричит? – спросил усастый барин у лакея, не вынимая изо рта благовонной трубки.

– Наша-с, – отвечал Петр.

– Годов сколько?

– Шестой пошел. Больная она у нас, сударь,

какая-то, и на двор-то, почитай, в первый раз выбежала.

– Голосенко у твоей дочери, Петр, славный, – пожаловал барин своего верного слугу. – Вишь, словно синица чирикает. Отведи-ка ты ее к регенту и скажи ему, чтобы к хору он ее приучал.

– Не маловата ли будет? Измывы кабы не было над ней от регента. Бьет он их очень, осмелюсь доложить.

– Не бить, так какой из вас выйдет прок? – почти сердито спросил барин Петра, и Анютка поступила в муштр{159} к регенту.

– Альт, ваше превосходительство, у девочки неслыханный, словно бы у птички какой, – рекомендовал своему принципалу новую ученицу регент, весьма конфузливый молодой семинарист.

– Ну, хорошо, братец, хорошо! Старайся, – я тебя награжу, – поощрил его барин.

Между тем высокая не по летам, белокурая и голубоглазая Анютка выростала не по дням, а по часам, и действительно, в церкви ли, или гости, бывало, в доме у барина соберутся, она, словно птичка, вьющаяся над высоким и гу-

СТЫМ лесом, вылетала своим голоском из целого хора, сосредоточивая на одной себе внимание старинных степных жантильомов{160}

– Две тысячи на ассигнации, честью клянусь, без всякого сожаления бросил бы за эту канашку{161}! – говорили отставные корнеты и поручики – барские гости, покручивая гибельные усы.

– Пожалуй бы, и еще прикинул сотню, другую? – насмешливо спрашивал раззадоренных усачей счастливый владетель канашки.

– Еще бы не прикинуть, черт меня побери! – отвечал какой-нибудь Бова-королевич в лютом азарте. – Хочешь три тысячи?

– Прибавь что-нибудь, – торговался любостяжатель-хозяин.

– Разрывайся сердце! Идет к ним легенький сосунок от Догоняй – не догонишь.

– Ха-ха-ха-ха! – раздражался хозяин. – Ты ведь от Догоняй ничего не хотел из дому пускать. Вот и промахнулся. Только я тебе, милый друг, вот что скажу: себе берегу на старость эту синицу. Без нее, сам ты видишь, весь хор никуда не годится.

Но я сейчас только заметил, что, так много распространившись о барской хористке, отступил от плана моего очерка. Если я должен много о чем-нибудь писать, то никак не об Анютке, потому что такое подробное развитие девичьей жизни противоречит моему заглавию и, сам я очень хорошо понимаю, не идет к делу. По этому случаю я прибегаю к некоторым сокращениям.

Прекращаю я на некоторое время мой полночный труд для того собственно, чтобы, не смущая никого несимметричностью моего рассказа, в тишине моей бедной комнаты неслышно погрузиться о том печальном конце, к которому непрерывно приходили стройные, белокурые и голубоглазые певицы барских хоров.

Длинный ряд воспоминаний о моей собственной пошлой жизни возник в голове моей по поводу моих представлений о молодых днях Анны Петровны. С болезненным трепетом, который произвели в моем сердце эти воспоминания, я повторяю про себя обыкновенную, некогда Анюткину, историю в наших степных барских усадьбах.

В длинном флигеле, скупо освещенном сальными свечами, идет вечерняя спевка. Дворня до того привыкла к стройным концертам хора, что окончательно уже перестала шататься под окнами флигеля со своими вечными досугами. Конфузливый регент, управляя тридцатью человеками, выражал собой полнейшее счастье. Скрипка под его пальцами, как живое существо, до осязательности ясно пела про это счастье. На молодого человека были устремлены голубые глаза, блиставшие и любовью к нему, и каким-то благоговением. Полновластный распорядитель хора, регент нарочно становил Анютку впереди всех против себя. Смотрят они друг на друга, обвороченные друг другом, – и скрипка поет в руках регента, и Анютка поет, а хор, невольно поддаваясь могуществу любви, могуче вторит им, – и вне флигеля тихая, сельская ночь кажется еще тише, потому что казалась она вам глубоко заслушавшейся песней любви.

Балаганы. Худ. В. Е. Маковский. 1869 г. Открытка начала XX в. Частная коллекция

– Анютку барин зовет! – выкрикивает



вдруг повелительным голосом лакей, на минуту появляясь в дверях певческого флигеля.

Как внезапно порванная струна, умолк хор и скрипка умолкла, закончив свое пение вздохом, похожим на тот, которым вздыхают в последний раз в этой жизни.

– Баста! – угрюмо скомандовал регент.

– Што скоро бросил спевку-то? Ай не по сердцу, что к барину Анютку позвали? – толковали между собой певчие, расходясь по своим каморкам.

В двухгодовой промежуток, который последовал после описанной мной спевки, заме-

чательного ничего не случилось, исключая того, впрочем, обстоятельства, что барский хор почти что расстроился, потому что регент втянулся в запой, а Анютка с каждым днем теряла свой птичий голос и видимо сохла...

В моей памяти возникает другая сцена. Первозимье засыпало широкий барский двор своим белым, ослепляющим снегом. Весь двор исслежен разнохарактерной обувью дворни, которая толпилась около флигелей, помещавших прислугу. Перед крыльцами этих флигелей стоят одноконные крестьянские подводы, на которых молодое дворовое поколение отправляется в Москву, по предварительному барскому определению, в выучку разным добрым и полезным мастерствам. Семнадцатилетняя Анютка тоже едет с этим обозом в столицу, чтобы в совершенстве изучить там в частности – добрую нравственность, а в главном – приятные манеры, необходимые для такой ловкой горничной, которая требовалась для вырастающей барышни. Барин, назначая Анютку для этой высокой цели, руководствовался здесь главным образом тем, что Анютка и после своего курса в столи-

це сохранит еще свежесть своего личика и что, по его наивным соображениям, не от чего было осечься в богатой Москве ее белокурым кудрям...

Прощаясь с детьми, дворовые так же горько плакали, как горько плачут и недворовые, когда расстаются со своими детьми. Следовательно, особенно занимательного в этих громких материнских выкриках, в этих молчаливых отцовских слезах – ничего не было.

Наконец обоз, провожаемый целой гурьбой, тронулся в свой далекий путь. На облучке тех саней, где сидела закутанная в бараний отцовский тулуп Анютка, прилепился и пьяный регент с тщательно закутанной в разные отрепья скрипкой.

– Вы не бойтесь, не горюйте! – утешал он Анюткиных отца и мать. – Со мной она там не пропадет. Будьте покойны: как только приедем в Москву, сейчас же я по докторам пушусь. Так и так, мол, голос самый ангельский имела. Воскрешайте, скажу. Певица, скажу, выйдет несравненная. Ну, они воскресят!

Но до конца отморозил глупый кутейник {162} бессапожные ноги свои, когда шатал-

ся по Москве, разыскивая воскресителя-доктора. До смерти, так сказать, исходился он по широким столичным улицам, и вся польза, которую он мог принести своей талантливой ученице, состояла в том, что после него Анютка снесла на толкучку его самоделковую скрипку и на деньги, вырученные за нее, купила новые башмаки, два золотника чаю и полфунта сахару.

– Сердце у меня очень ломит! – говорила Анютка, – когда я взгляну на эту скрипку...

Прошла тут Анна Петровна все те фазы столичной жизни, которые неминуемо предстоит пройти существу, изучающему горничное мастерство и добрую нравственность, – до того, что окончательно забыла, билось ли когда-нибудь ее сердце в то время, когда конфузливый регент восторженно посвящал ее в тайны партитур, и, говоря высоким слогом, она до того погрузилась в прозу городской жизни, что успела своими трудами, как она говорила, выкупиться на волю, заплатив барину такой куш, который, как я рассчитывал, она могла иметь тогда только, когда прожила бы в горничных двести тридцать семь лет и

восемь месяцев.

Поступила она тут, как бы экономкой, к некоторому приказному{163}, одному из тех добродетельных смертных, которые, по смыслу присяги, даже до последнего издыхания мажут казенными чернилами по казенной бумаге. Когда сей седовласый столоначальник, худой и бесстрастный, с серебряными очками на помутившихся глазах, дожив до пятидесятилетнего возраста, увидал, что от жизни, кроме могилы, ждать ему нечего, он сочетался с Анной Петровной законным браком в тех видах, что для чего-де и не осчастливить девицы?..

Вследствие таких, далеко, впрочем, не потрясших земного шара событий, мы и видим Анну Петровну титулярной советницей, дающей теперь маленький балик, по случаю окончательного выбытия из пансиона ее дочери, наследницы всех благ, приобретенных и беспорочной службой бесстрастного приказного, и деятельностью самой Анны Петровны.

Обильно обкушавшись великолепных романов Дюма{164}, молодая пансионерка все

балы вообще, даже и те, которые даются русскими титулярными советницами, представляла в своем воображении не иначе, как такими, которые давали многообразные Людовики и их изящно храбрая аристократия. Поэтому стол, накрытый в зале, назначавшейся также и для танцев, весьма раздражительно подействовал на нервы героини бала.

– Что это, маменька, какую гадость вы тут наставили? – в справедливом негодовании спрашивала она мать, небрежно тыкая вилкой в разные грибки и огурчики, поставленные на стол вместе с водкой для услаждения имевших быть на бале кавалеров и дам.

– Что такое? – торопливо осведомлялась Анна Петровна. – Али таракан во что попал? Много их у меня в кухне проклятых. Ничем не могу выжить.

Вид Николаевского вокзала и Каланчевской площади. Середина XIX в. Репродукция с литографии И. Шарлеманя. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

– Фи! – прогримасничала барышня, решаясь не умирать до тех пор, пока лично не убе-



дится в том, что ее тапан и не иное что называется балом, как потчевание водкой и свежепросольными огурчиками.

Все эти уродливые жизненные представления, почерпнутые нашей барышней из «Графини Монсоро»{165}, как стая маленьких птичек, спугнутая кем-либо, в ужасе взвивается над уединенным полем, в страшной суматохе, заметались в голове ее, когда пансионерка в первый раз вступила под убогую кровлю родительских лар. Стройный ряд соломенных стульев, вытянутый в маленьком зальце, аляповатый диван, обитый ситцем, круглый стол

перед ним, созданный как будто медведем для медведя, модные картинки времен покорения Очакова{166}, висевшие на стенах в уродливых бумажных рамках, бесстрастный портрет отца, написанный масляными красками, и даже сами гелиотропы и гвоздики на окнах – все это вместе необыкновенно покорило молодое лицо девушки, потому что вся эта роскошь с первого шага ясно и отчетливо доложила ей, что жизненная обстановка, в которой должна вращаться героиня девственной улицы, далеко не та же самая, какой обставил некогда графиню дю Барри {167} ее царственный друг.

– Так эдак-то? – протяжно подумала про себя барышня.

– Да-с! эдак-то!.. – ответили ей с двусмысленной улыбкой соломенные стулья, дешевые обои, гелиотропы и гвоздики, тараканы, ползавшие по стенам, и мыши, шуршавшие за обоями.

– Да! Так-то! – басисто скрипнул ей в свою очередь медвежий диван.

– Мы здесь все так!.. Мы всю свою жизнь так!.. – монотонно подтвердил ей бледный

портрет отца. В ужасе барышня порхнула в свою двухаршинную спальню и принялась плакать...

Наконец и плакать надоело барышне. Посмотрела она на двор, поросший зеленой травой; там так уныло тэкали еще не оперившиеся цыплята, такими голодными глазами посмотрела на нее включенная собачонка, а по густой траве к стае беспечных воробьев прокрадывалась такая алчная, такая хитрая кошка, что наша барышня не могла с этой домашней картины не перенести своих наблюдений на девственную улицу. Двое фабричных разодрались на ней, что называется, в кровь; несколько мальчишек нестерпимо визжат, перенимая у взрослого русскую манеру колошматить своего недруга; будочник издали освещает эту отечественную сцену своей покровительственной улыбкой; черный угольщик с высоты своего воза кричит: угольев, угольев! передернув для могучести выкриков свой рот до самого пугающего безобразия. Все!..

Где же, где же они, эти храбрые шевалье д'Артаньяны, благородные Атосы, меланхоли-

ческие Арамисы{168} и т. д.? Барышня! не плачьте больше, советую я вам от всей души моей. Трава девственных улиц недостойна быть измятой сапогами рыцарей из глянцевитой испанской кожи; колючие головки репейников, украшающих виды из вашего замка, собьются тросточками неуклюжих приказных, которые, – канальство! – в непродолжительном времени приударят за вами, но никак не попадутся они под благородные острия рыцарских шпаг, которыми бы молодые люди стали оспаривать друг у друга высокую честь поклониться вашей красоте. Есть у нас бедные женихи и богатые, развратные волкиты, но рыцарей нет!.. Помните это, молодой, но извращенный друг мой, и перестаньте плакать!..

Но вы не слушаете меня. Вы все продолжаете надеяться, что на балу, который ныне дает ваша мать, загремят наконец серебряные шпоры, зашумят шелка и бархаты, обшитые point d'Alencon{169}, и какой-нибудь удивительный гвардеец, вроде графа де Бюсси{170}, один раз навсегда покорно станет за вашим стулом, гордо в то же время осматривая моло-

дежь, которая, по вашим соображениям, станет перед вами живой стеной.

Смотрите же теперь сами, что за бал у вас будет и какие comt'ы и comtess'ы{171} удостоят его своим посещением. Первый пришел некто Андрей Петров, по ремеслу башмачник, а по плоти и естеству брат Анны Петровны, по словам его приятелей, могший учуять всякую выпивку на пятьсот верст и даже далее. Еще не успел, как следует, раскланяться сей великий по своим делам ходок, как за ним ввалила толпа молодых приказных, тоже, по слухам, совсем не дураков по питейной части.

– Мои приятели – славные ребята! – рекомендовал их зараз Анне Петровне молодой приказный, троюродный племянник ее покойного мужа, ходивший к ней обедать по праздникам.

– Очень приятно! – засвидетельствовала Анна Петровна, указывая табуну на соломенные стулья.

Приказные молча кланялись и сердито скрипели наваксенными, надо полагать, до тошноты сапогами.

– Так это племянница-то? – провозгласил

дядя Андрей, схватывая со стола две сальные свечи и поднося их к самому лицу героини. – Вот я тебе гостинец принес, – и при этом он вытащил из заднего кармана пару козловых башмаков своего рукоделья. – Понашивай на здоровье да дядю вспоминай. Мы тоже, хоша и не в синем ходим, а про свое дело в тонкости рассудить можем...

Приказные саркастически улыбались.

– Будет тебе с ней, брат! – говорила Анна Петровна. – Она с господами ведь все жила с большими, – к нам, черным людям, привыкнуть некогда было.

– Пусть привыкает! – поучал дядя, наливая себе водки. – Только я тебе, сестра, одно скажу: смотри в оба за девкой!.. Востра она, должно, оченно... Опять и года у нея такие... Кабы, примером, полюбовника себе она какого не изобрела. Вот что!

Саркастические улыбки приказных перешли в довольно громкое, хотя тщательно скрываемое, ржание.

Вид Кремля со Швивой горки. Фотография из альбома «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных



зданий и других сооружений. 1884 г.» Фототипия «Шерер, Набгольц и К°».

Государственная публичная историческая библиотека России

– Чего ржете-то, стрекулисты? – с сердцем обратился к ним дядя Андрей, – До письма-то вы не очень бойки, а до девок-то, знаю я вас, чертовых детей!

– Ты, однако же, не ругайся, скотина!.. Не к тебе пришли!.. – азартно заговорил было некто из ржавшей среды, весьма нечаяточный барин с физиономией утеса, поросшего

дремучим лесом и закрытого черными тучами.

Анна Петровна принуждена была в этот момент взять на себя роль тех сабинок{172}, которые некогда успели примирить своих соотечественников с похитителями-римлянами. Надобно сказать, к чести Анны Петровны, что роль эта пришлась ей как нельзя более по средствам. Но барышня наша вместо того, чтобы по справедливости восхититься этой русской драмой, утрюмо наморщила черные брови и, посматривая на закусывающего дядю, гневно прошептала: *quelle cochonnerie* {173}!

Но я не буду описывать всех подробностей бала, потому что, опиши я их с той фотографической верностью, какая, говорю это, покручивая усы, всегда отличает меня, моя героиня имела бы полное право до самого гроба оплакивать свою жизнь. По этому случаю на самый разгар бала я набрасываю этот знаменитый мрак неизвестности, под которым скрыты дела и люди в миллион раз важнее нашего бала и людей, украшавших его своим присутствием. Довольно будет, если я для

необходимой характеристики его скажу, что дядя Андрей, теснейшим образом подружившись с утесообразным приказным и еще каким-то подслепым и безбровным губернским секретарем, специально засел с ними около стола, где помещалась водка, и постоянно приставал к Анне Петровне с просьбами, чтоб она им еще немножко подлила. Не довольствуясь взаимным созерцанием, которое, видимо было, доставляло им неимоверное наслаждение, они, однако же, нередко вмешивались и в увеселения общества.

– Ур-ра-а! – восклицали новые друзья, бросаясь в средину танцующих. – Музыкант! дай-ка мне скрипку-то, – говорил губернский секретарь, – я им сыграю, и шутовски подмаргивая рыженькими ресницами, он заливался тоненьким голоском.

*А-а-а-х! ба-а-рыня, ба-а-рыня,
Сударыня барыня.*

– Замолчите, Трофим Ильич! – умоляла его Анна Петровна. – Видите, девицы здесь есть.

– Девицы? где девицы? – спрашивал Трофим Ильич, обводя общество своими оловян-

ными глазенками. – А, вот они! – радостно взвизгивал он, бросаясь в оробевшую стаю барышень.

– Ай! – нервно вскрикивали разноцветные уточки, разбегаясь от него по разным углам.

– Держи, держи их! – орали дядя Андрей и утесообразный приказный, растопыривая пьяные руки.

– Ур-р-аа! – азартно провозглашало все трио, когда какая-нибудь несчастная барышня, попавшись к ним в лапы, билась и стонала в них, как внезапно подстреленный заяц.

– Будет вам озорничать-то! – шутливо укоряла трио Анна Петровна. – Руки-то, смотрите, у бедняжки не вывихните. Я вас тогда...

– Не будем, не будем, Анна Петровна, – урезонивал подслепый приказный. – Вы нам только, матушка, водочки подлейте еще.

– Сказано, не будет – и баста! Ты только не разговаривай с нами, сестра, – бурлил дядя Андрей, – мы теперь на серьезе разговор промеж себя ведем. Хоша и чиновница ты, все же эфтих разговоров понять ты не можешь, а водки ты нам подлей. Мы еще по махонькой пройдемся.

– Водка-то вся, голубчики, а посылать поздно теперь. Кабаки все давно заперты.

Утесообразному приказному приснилось в это время, что он в трактире, а потому он зарорал во все горло:

– Как нет водки, чертова дочь? Подавай – я за всех заплачу.

– Однако ж, Анна Петровна, довольно это невежливо с вашей стороны, что вы вместе с такой сволочью и нас к себе пригласили, – сказала одна бойкая барыня. – У меня дочери на возрастах.

Но немногосложны те глупости, которые откалывает человечество на девственных улицах. Этой претензией бойкой барыни бал кончился, и только дядя Андрей долго еще куражился над вдовой сестрой.

– Для брата у тебя водки нет! – негодовал он. – А брат твоей дочери в подарок ботинки принес, али нет? – сказывай!

– Бог с тобой и с твоими ботинками, братец! Возьми ты их назад и ступай поскорее домой, – унимала его Анна Петровна.

– А ты думаешь, не возьму? Известно, возьму. Я по крайности на сон грядущий выпью

на них. Д-да!..

– О черти! – долго еще слышалось, как бурлил дядя Андрей уже на девственной улице – Куды это, братцы мои, кабаки попрятались только? Где ты тут, каба-а-ак? – звонко оглашал он ночную тишину.

– Ну-ну, молчи ты у меня, пока цел! – ответил ему будочник сонною октавой, – а то я тебя в сибирку сейчас заберу.

– Ка-а-бак, где-е ты тут? – растягивал дядя Андрей, не слушая будочника.

Барышня между тем разливалась рекой в своей крошечной спальне.

II

Вам, может быть, покажется необходимым, чтобы я назвал по имени мою героиню. Извольте: ее звали *Сафи*. Вас, вероятно, удивит такое имя, и если вы, не веря мне на слово, будете отыскивать его в святцах, то недоверие это обличит только окончательное незнание ваше нравов девственных улиц, а никак не мою ложь. Все девочки, когда-либо игравшие на мягкой траве этих улиц до поступления их в пансион, зовутся Сонями, Сонечками, Сонюшками и т. д., а потом, когда они выходят из пансиона, их обыкновенные русские имена заменяются курьезным словом – *Сафи*. Весьма могло случиться, что вы ни разу не слыхивали такого имени; но мне, как нраво-описателю, нельзя же не знать того милого наречия, которое так характерно названо «смесью французского с нижегородским» {174}.

Калужская площадь в Москве. Фотография начала XX в. Частный архив

Осенние дожди смыли веселую зелень с



девственной улицы. Тихая и печальная, по естеству своему, она сделалась еще тише и печальнее, когда глубокая осень развела по ней черную, непроходимую грязь. Наша барышня лишилась всякой возможности выйти куда-нибудь к знакомым, с целью попросить у них почитать романчиков. Первый пушистый снег завалил наконец уличную грязь, лихой мороз узорчато расписал оконные стекла, следовательно, последнее наслаждение – по целым часам упорно осматривать улицу – прекращено, потому что сквозь морозные узоры ни одного клочка решительно

не видать. Злость и тоска!.. Во все лето, в целую осень ничего сообразного со своими мудренными мечтами не могла высмотреть бедная Сафи на девственной улице. Бесконечная зима, кроме неисходной тоски, которую принесла она, варьировалась вдобавок частыми выходками Анны Петровны, обращавшей высокое внимание нашей маркизы на прилежное занятие домашним хозяйством. Ни одного платья не прибавилось в гардеробе Сафи и, увы, всю зиму она должна была накрываться ковровым платком, потому что Анна Петровна, при всех стараниях приобрести для дочери, по случаю, зимнюю шляпу, оказалась на этот раз решительно слабой женщиной и горемычной вдовой.

Но вот снова сошла весна на окоченевшую землю, снова веселая жизнь зацвела на девственной улице; но мыслей и лица Сафи несколько не развеселила эта все обновившая жизнь. На оттеплевшей почве быстро выростала яркая зелень; но в то же время на ней не показывалось даже малейшего признака тех идеалов, которые так крепко засели в сердце моей барышни. Но она не утратила еще своих

надежд. Целые дни бедная Сафи просиживает у растворенного окна с книжкой в руках и ждет чего-то. Ждет, говорю, а там какой-нибудь жуир-приказный{175}, в твердой уверенности, что барышня в урочные три часа сидит у окна с той целью, чтоб усладить себя зрением его, Петра Воробьятникова, любовно делает ей ручкой, обтянутой в красноватую пеньковую перчатку.

Петр Воробьятников, Дон Жуан{176} ты эдакой из нижнего земского суда! Скажи мне, что ты такое в сравнении с каким-нибудь шевалье де Мезон-Руж{177}, и не срамись более, потому что рано или поздно Сафи пожалуется маменьке на твою наглость, и Анна Петровна в тот момент, когда ты, нежно-задумчивый, потому что страстно влюбленный, будешь проходить под окнами ее флигеля, не преминет окатить твой франтовской сюртучок грязными помоями. Твоя дерзость, конечно, в этом случае получит справедливое возмездие; но зачем же пострадает твой сюртук и зачем сам ты будешь страдать по барышне, которая всегда, от полноты сердца, готова презирать всякого молодого франта, полагающе-

го свое наслаждение в том, чтобы носить на своем жилете толстую бронзовую цепочку с злостным намерением ввести в заблуждение доверчивого ближнего и заставить его подумать, что цепочка та золотая и что она придерживает таковые же карманные часы.

«Господи! – думала про себя Анна Петровна, глядя на постоянно нахмуренную, вечно ничего не делающую и даже как будто разобиженную чем-то дочь. – В кого только ленивая такая да злая родилась она у меня? Ума не приложу: отец был смирный, занятливый...» И когда представление о негодности и непутности дочери чересчур тесно наполняло ее голову, она, что называется, с великим азартом принималась допекать свою Сафи. Долго, бывало, слушает она брань матери, бессмысленно упершись в нее своими воспаленными от постоянных слез глазами, и как будто ничего не понимает. Так противоречила ее действительная жизнь мечтам о той жизни, которую ее воображению помогли сочинить те безобразные романы, которые обыкновенно читают в наших пансионах девицы украдкой от своих сторожих.

– Что ты глаза-то на меня выпучила, словно дура какая? – гневно спрашивала Анна Петровна дочь, еще пуще разбешенная ее молчаливым равнодушием.

Сафи наконец вздрагивала от этого крика и пробуждалась. Начиналась общая перепалка. Звонким голосам хозяек уныло вторили своим дребезжанием стекла флигеля, словно огорченные этой ссорой, и вообще дела принимали такой печальный оборот, что ни мать, ни дочь не могли смотреть друг на друга без крайней злости. Щебетухи-свахи, которых отовсюду тащила к себе Анна Петровна с целью, при их посредничестве, как можно поскорее отделаться от дочери, наполнили своим трескучим говором прежде уединенный флигель. На медвежьем столе происходили нескончаемые чаепития, сопровождаемые горькими жалобами Анны Петровны на непослушную дочь, которые передергивали все существо Сафи.

– Чего ты на нее глядишь, на старую? – говорила ей другая Сафи, подруга нашей барышни по пансиону, поступившая теперь в гувернантки куда-то. – Я, та chere{178}, как

увидала, что дома кушать часто нечего, сейчас же к детям одного вдового старика нанялась. Житье-то какое, если бы ты знала!..

– Да я никуда не хожу и к нам никто не ходит. Где же я найду место?

– А «Полицейский листок» на что? Пошли кухарку в мелочную лавку, там получают. Я сама брала из лавочки.

«Полицейский листок» оказался благодетельнее чаелюбивых свاخ. На его столбцах, к великой своей радости, Сафи прочитала однажды следующее: «Нужна молодая особа для первоначального обучения благородных детей. Адресоваться можно каждый день на Сивую улицу, к отставному от гусар полковнику Кочетищеву». Публикация эта тем более обрадовала Сафи, что благородное семейство, кроме приличного вознаграждения, обещало молодой особе летом житье в подмосковной, а по зимам – постоянное столкновение с избранным обществом.

«Приличное вознаграждение, житье в подмосковной, большой свет!..» – восторженно твердила про себя будущая гувернантка, когда в безграмотном письме к полковнику от

гусар Кочетищеву предлагала ему свои услуги по части первоначального обучения его благородных детей.

И вот, как и в начале повести, мы опять видим Анну Петровну перед зеркалом, облаченную в свое парадное, гродетуровое платье, в воротничке и рукавчиках, паче снега белейших. Она достойно хочет выполнить поручение, которое дает ей Сафи к полковнику. Как бла-о-родная женщина, она, конечно, могла бы, не роняя себя лицом в грязь, лично трактовать не только что с полковником, а даже и с генералом, что не раз и выполняла с большим успехом, накануне больших праздников выхлопывая себе какое-нибудь вспоможение; однако же вдова не забывает прихватить с собой и дочернее письмо, которое Сафи, с целью рекомендовать свою эрудицию, изобразила на французском диалекте и притом тем рассыпчатым, мелким почерком, называемым, обыкновенно, пшенцом.

В этом-то месте моей идиллии и начинается именно то, что некогда назвал Гоголь нитью завязки романа.

Пред нами становится теперь во весь свой

бравый рост отставной от гусар полковник Владимир Александрович Кочетищев. Ежели бы я, выводя на сцену новых героев, за отсутствием фактов, рисующих их характеры, описывал их наружность, я бы сказал про полковника, что по манерам своим он был неотличим от маршала Симона в известном «Вечном жиде»{179}. Те же волосы, стриженные под гребенку, тот же громкий, командирский голос, то же царственное загибание головы к небу, характеризовавшие храброго маршала, неминуемо бросились бы вам в глаза, когда вам в первый раз приходилось остановить их на Кочетищеве. Но, имея столько сходства с одним из благороднейших сподвижников великого императора, мой полковник в психическом отношении представлял с этим деятелем Великой армии радикальную противоположность. Дозволяю себе это замечание потому только, что, по моему убеждению, лицо не всегда может быть зеркалом души. Насколько я прав в моем сомнении, судите сами по тем фактам, которые я имею изложить сейчас пред вами.

Средние городские ряды. Вид от Лобного



места. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России

Я очень хорошо знаю полковника Кочетищева. Издерживая ежегодно на публикации, что его дети весьма будто бы нуждаются в гувернантке, по крайней мере по триста рублей, в сущности для него в целом мире не было вещи бесполезней хорошей, солидной гувернантки, потому что в формулярном списке его очень явственно было изображено, что он холост. Нетрудно после этого догадаться,

что и детей у него совсем не было. Я думаю, что странность и кажущаяся бесполезность такого расхода достаточно разъяснится следующим:

– Comment ça va{180}, mon colonel? – спрашиваете вы при встрече с Кочетищевым, разумеется, ежели имеете честь быть с ним знакомым.

– Ничего! нынешним утром тово... четыре канашки недурненькие-таки приходили... – отвечает он, раскатываясь своим басистым хохотом.

– Что ж? – любопытствуете вы дальше.

– Что ныне за времена такие! – в свою очередь осведомляется у вас бравый полковник. – Недаром жалуются на повсеместную дороговизну... К одним, мой отец, приступу нет никакого, а другие ругаются на чем свет стоит. Придет там какая-нибудь мещанка, milles diables! и начинает тебя костить, позабыв всякое уважение к заслуженному солдату... А за что? Sacr-r-risti{181}! за то, что ты ей, так сказать, карьере хочешь пробить... Вот век, сто ему тысяч чертей.

– Это ужасно! – непременно должны вы

воскликнуть в это время, потому что в противном случае полковник согнет вас в бараний рог.

Окончательно долепливая старого гусара, я не могу не сказать, что вся жизнь его была непрерывным рядом побед над прекрасным полом. Все широкое достояние благородных предков полковника было употреблено им на составление себе репутации такого зверя, на которого ни одна женщина не могла взглянуть или без явного ужаса, или без тайного восторга.

Но когда разлетелись те игривые, грациозные птички, за которыми так удачно охотился Кочетищев, когда увидел он, что вместе с ними улетели и родительские души и десятины, тогда он несказанно взалкал... Из веселого, постоянно выпивавшего малого, он на тридцать втором году своей доблестной жизни превратился в злостного бульдога, с пеной у рта облаивающего те, по его словам, подлые времена, которые заслуженному гусару и столбовому дворянину представляют самые удобные случаи издохнуть смертью голодной собаки, ежели этот гусар и дворянин промо-

тает родовое имя. Все добрые друзья, некогда обожавшие Кочетищева, откачнулись от него в этот период его бешенства, потому что горе было тем, кто имел дерзость не разделять его пессимистских взглядов на подлость нынешних времен. Полковник гнул и ломал своих оппонентов точно так же, как гнул и ломал он железные кочерги для назидания публики и для собственного своего удовольствия.

Но чем больше злился наш полковник, тем желудок его становился пустее и требовательнее, потому что текло время и с ним вместе вытекал из гусара старый жир, накопленный им в счастливые дни.

«Чем заболел, Кочетищев, тем и лечись», – подумал про себя гусар, когда увидел, что лаем ничего не поделаешь. Но вам очень хорошо известно, что в наши времена трудно, или даже совсем невозможно было ему вылечить тем же, чем он заболел, потому что какими, так сказать, медикаментами могли наполнить утробу полковника те миленькие физиономии, которые одной рукой обирали его, а другой сорили обобранное по простран-

ному лицу земному? Следовательно, из этой области Кочетищев ничего положительно не мог вытянуть для удовлетворения своих жантильных потребностей. Оставались ему в десерте купчихи и разные искательницы сильных ощущений; но про искательниц сильных ощущений ныне что-то не слышно, а купчихи, как мне известно из достоверных источников, весьма апатично слушают бряцание стальных ножен, так вальяжно исчерчивающих песок бульварных аллей. Живой пример этому представляет герой мой. Самые развальные позы, которые принимал он в извозчичьих колясках, взятых, по старому знакомству, а *bon credit*, самое шикарное прицепливание звонкого палаша и даже наигибельнейшая манера крутить усы, не принесли того благодатного результата, которого так алкал полковник.

«Ну, вр-р-ремена! – процеживал гусар сквозь зубы, отдыхая в квартире от своих кавалерски-искательных туров по стогнам широкой Москвы. – Это не женщины, а какие-то камни!.. Надобно изыскать другие средства».

А в квартире между тем было пусто и хо-

лодно, а одинокое, басистое ворчание полковника делало ее еще пустее и холоднее... И вот в таком-то печальном уединении из нашего полковника начинает вырабатываться самый отъявленный позитивист{182}.

Не приученный играть, что называется, ни в дудочку, ни в сопелочку, сей знаменитый муж, по прошествии, впрочем, знатного количества времени, разродился такого рода мышлением: «Я хочу жить в обширном значении этого слова, т. е. нанимать эдакую приличную квартирку, в умеренном бельэтажике, тысячки в две с половинкой, иметь возможность на столишко тратить – ну, хоть по полтысячке в месяц, да на платишко, да на разные непредвидимые расходы... поблагодарю Бога искренно, если он пошлет мне на эти расходы хоть десять тысяч... Но я теперь все прожил, служить же там за какие-нибудь триста рублей в год – кланяюсь и целую ручки; по этому случаю мы, для нашего обновления, выкинем нечто такое, что более согласно было бы со средствами могучей природы нашей».

Вследствие таких высоких соображений в одно прекрасное утро, на той широкой арене,

на которой московская богатая молодежь практически изучает жизнь, явился некоторый новый деятель, произведший своими загребистыми лапами невероятный фурор. Этот новый деятель был полковник Кочетищев. Он обратил в наличный капитал остатки прежней роскоши, обрыскал и занял у всех кредиторов, которые ему еще верили, и торжественно явился на эту арену с сосредоточенным взглядом, с крепко сжатыми кулаками.

Лица, действовавшие в это время на сцене, все, до одного человека, поклонились энергической грации нового актера, и новый актер не обманул в свою очередь впечатлений, которые он произвел на них. Со страстью и талантом истинного артиста, в немного лет полковник прочитал зрителям свое: «быть или не быть», и молодежь получила полное право во всякое время дня и ночи идти к доброму старичищу – Володьке Кочетищеву, который разводил на бобах всякую беду, а добрый старичище, взамен проливаемых им милостей, добился в другой раз возможности рыться по локоть в деньгах.

Учинивши такую мену, полковник, натурально, сделался опять, по выражению Расплюева{183}, велик и славен.

Очень может быть, что я недостаточно говорил о Кочетищеве, и мне никак нельзя будет не согласиться с тем, кто мне заметит, что поучающая жизнь таких людей требует больших разъяснений. Всегда первый осуждая в себе мои недостатки и промахи, я повторяю, что непременно и глубоко восчувствую справедливость такого упрека, но в то же время я должен буду сказать в свое посильное оправдание следующее: чем крупнее жизненный дока{184}, попавший под мое перо, тем менее я пишу о нем, потому что не могу выносить той страшной муки, которую испытывает мое сердце в то время, когда я обрисовываю этого доку...

Вот Анна Петровна совсем другое дело. Если я один раз несколько и увлекся, говоря о ней как о чиновнице и благородной женщине, зато благодущию моему не будет пределов, когда я буду говорить о ней просто как об Анне Петровне. Об ее походе к полковнику Кочетищеву нельзя даже иначе говорить, как

с некоторым лиризмом.

Идет Анна Петровна по московским, сногшибательным улицам, по вонючим бульварам идет, через перекрестки уличные зверем лесным порыскивает, от нахальных Ванек легкой пташкой упархивает, а самое ее всю думушка ласковая совсем в полон забрала.

«Вот, – думает Маслиха, – была я крестьянкой, всю свою молодость прожила простой мужичкой, а теперича барыней стала, дочь-барышню вспоила, вскормила и к месту к большим господам определять иду. Эх! кабы Господь послал ей добрых господ, чтоб ее ленивого норову не заметили, за грубые слова не наказывали. Хоша бы чем-нибудь она мне на старости помогала...»

Жжет и палит жаркое городское солнце голове Анны Петровны. Всю ее залепило белой пылью, по лицу течет пот ручьями, уши хотят треснуть от грохота экипажей, а Анна Петровна, где вприпрыжку, а где тихой, отдыхающей поступью спешит к полковнику Кочетищеву, – боится, как бы другие у ее дочери место не перебили.

Наконец, вот и квартира полковника Коче-

тищева.

– Барин дома? – робко осведомляется Анна Петровна у усастого Лепорелло{185}.

– Генерал дома, – важно и, так сказать, без малейшего сомнения, отвечает ей Лепорелло. – Вы от кого?

– Я от себя, батюшка. Доложи, голубчик, вдова-чиновница пришла. На чаек дам.

– А насчет чего вы? Мы, ежели т. е. не насчет нужных делов, не про всякого докладываем, потому нам так приказано.

– Я насчет дочери.

– Насчет ежели дочери, доложу сейчас, потому эфто нам завсегда нужно.

Много на своем веку видала Анна Петровна всяких больших господ, со многими из них она говаривала со всякой смелостью; но при взгляде на полковника, а по словам его лакеев – генерала Кочетищева, она как будто обробела маленько. Сама она в этом признавалась.

– Нельзя мне было никак не заробеть перед ним, – рассказывала она, – потому на всяком месте у него богатства всякие разбросаны. Золото да серебро, ковры да картины вез-

де такие, каких я от роду нигде не видала; а сам сидит бравый такой, в шитой шапочке, в халате каком-то мудреном, длинную трубку, да такую-то ли духовитую, курит, а другой рукой все это усы свои длинные гладит.

– Ну-с, madame, что вы скажете нам? – спросил полковник Анну Петровну, когда она стала пред ним, как лист перед травой.

– Да вот, ваше высокоблагородие, сирот горьких не оставьте, заставьте за себя вечно Бога молить... – заголосила Анна Петровна с низкими поклонами. – Как вы таперича в газетах публикацию такую пустили насчет губирнантки, так ежели милости вашей угодно, дочь у меня есть, и она эту должность справит как следует.

– Гм!.. – откашлянулся полковник. – А как она того... лет т. е. примерно каких?

– Деятнадцатый пошел с Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.

– Д-да! Н-ну, это ничего. А портретика ее вы с собой не захватили?

– Нет, отец мой, портрета-то у меня. Не снимала я с ней. Отцов ежели, можно принести.

– Нет, отцова-то мне не нужно. У меня отцов-то портрет свой есть.

– Как не быть у вас родительскому портрету!

– Известно есть. Да, впрочем, не в этом дело. А вы вот что, матушка, присядьте-ка покуда. Кофе, небось, любите?

– Да я мало пью-то его, отец; а то ничего, я его, в гостях когда, помногу пивала.

Принесли кофе. Собеседники видимо хотели сообщить друг другу нечто весьма интересное, но как будто затруднялись чем-то.

– Н-ну-с, так как же? – заговорил наконец полковник.

– То-то, то-то, благодетель, как же нам с этим самым делом быть?

– Как быть? известно как: посмотреть прежде надо, да ее спросить, согласна ли будет.

– Согласна будет! – с уверенностью доложила Анна Петровна. – Кабы она была несогласна, она бы меня не послала. А посмотреть ежели нужно, так мы завтра сами придем.

Вследствие такого разговора, между вдовой титулярной советницей и отставным

полковником, завязалось нечто вроде нежной дружбы. Раза по три они уже навестили друг друга; но решительных переговоров о приеме Софи в гувернантки еще не было.

– Мозжит, – думала Анна Петровна. – Жалованье должно быть, хочет маленькое положить, глядячи на нашу бедность.

– Прикидывается старая, будто не понимает, о чем я хлопочу, – в свою очередь размышлял Кочетищев. – Норовит, должно быть, деньгу хорошую с меня зашибить...

Так всю жизнь свою, замечу я лично от себя, весь род людской волнуется и гибнет в мутном море недоразумений, которые он сочиняет сам для собственного одурения.

И долго, говорю, тянулись бы эти переговоры между полковником и наивной вдовицей, что, дескать, так как же-с? – спросит, бывало, Кочетищев, – да так-то, генерал, ответит ему Анна Петровна, – и опять продолжительная пауза.

Средние городские ряды. Вид с Москворецкой улицы. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публич-



ная историческая библиотека России

Узнайте же теперь, каким глубоким превосходством обладает нынешняя отечественная женщина пред отечественной женщиной доброго старого времени. Сафи сразу смекнула дипломатию полковника и повела дело таким манером:

– Полковник! – сказала она однажды Кочетищеву, – нет ли у вас на примете хорошего жениха? Я была бы вам очень благодарна, только чтобы непременно он не бедный был.

– Как же, как же, mademoiselle! Есть у меня

женихи даже и очень небедные.



У водоразборного фонтана на Сухаревской площади. Худ. А. М. Васнецов. 1925 г. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Великую истину кто-то сказал, когда сказал, что от малых дел происходят иногда великие результаты. Кажется, чего бы проще в наш эмансипированный век, что молодая девушка спрашивает своего знакомого старика, нет ли у него на примете богатого женишка? Имею много достовернейших данных, которые, к сожалению, не пойдут к делу, чтобы

сказать, что в наше время такой вопрос даже и из уст молодой девушки совершенно нормален. Только же далеко не так ничтожен этот вопрос, как вам покажется с первого взгляда. Между моими героями он установил совершенно новые, далеко поведшие их, как вы сами увидите, отношения. Полковник, до сего времени обдeldывавший дело приема в гувернантки с Анной Петровной, теперь повел его преимущественно с самой Сафи. Только за то ли, что ее таким образом отдалили на задний план, или за что-нибудь другое, – Анна Петровна неимоверно разозлилась на дочь. Вдовый флигарь еще ни разу не видал в своих убогих стенах таких горячих сцен гнева, угроз и даже проклятий, которые делала Анна Петровна своей Сафи, когда полковник уезжал от них.

– Вспомни, срамница, кто у тебя был отец! – говорила Анна Петровна. – Заслуженный человек был твой отец. И теперь его брат на губернии председателем Казенной палаты {186} служит, а сестра за старшим секретарем губернским выдана. Бона места какие благородные занимают; а ты на эдакие дела пуска-

ешься...

– Вы еще свою родню крепостную причли бы сюда, а то мне одной с вами скучно с голоду умирать! – давала ей ответ Софи.

Но мы не будем микроскопично-описательны в этих случаях. Довольно будет, если, для уяснения воцарившейся во вдовьем флигаре суматохи, я скажу, что в результате всех этих выкриков, которыми так интересовались обитатели девственной улицы, Анна Петровна снимала со стены родительское благословение и, под опасением его гнева, усовещивала дочь отстать от каких-то делов, которые будто бы, по ее словам, весьма срамили благородное родство ее покойного мужа.

Таким образом, для поверхностного наблюдателя представлялась возможность, из этих слов Маслихи, заключить, что Софи имеет как бы дела с полковником; но, с другой стороны, поведение самой Софи в отношении к полковнику было именно такого свойства, что окончательно разногласило с таким умозаключением, ибо, когда Кочетищев начинал ее приглашать переходить к нему в дом, Софи

обыкновенно отвечала ему таким образом:

– Я очень рада переехать к вам, полковник! Только я не могу этого сделать до тех пор, пока вы не найдете мне хорошего жениха.

– Да, да, отец! – подтверждала решение дочери Анна Петровна, уже достаточно освоившаяся со своим великосветским гостем. – Ты уж найди сироту-то, приищи женишка; а то ведь у нас родство какое: покойников брат – председателем, а сестра – за старшим секретарем!.. Хорошо разве мне будет, как они меня начнут совестить за такие дела?

И вот в одно прекрасное утро вдовий флигель принял в свои стены полковника, который приехал с каким-то отменно красивым юношей, в сюртуке изящного фасона и с манерами самого фешенебельного лорда.

Продавец кваса на московском рынке. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Юноша бросил свой мягкий, женственный взгляд на Софи, и Софи запылала к нему той пожирающей все человеческое существо



страстью, к которой приготовили ее исторические романы Дюма.

Тут уж почти и конец. Мне остается только сказать, к чести полковника Кочетищева, что он ради того только, чтобы соединить две полюбившие друг друга с первого взгляда души, пожертвовал молодому на обзаведение пять тысяч рублей, а главное – доставил ему у одной вдовой купчихи место ни более ни менее как в три тысячи рублей, и вы не подумайте, что в год, а в месяц...

Хорошо быть таким могущественным, как наш отставной от гусар полковник, ибо муж

Софи без его могучей помощи, хотя и принадлежит к древней, но, к несчастью, проерыжничавшейся фамилии, пропал бы окончательно. Равномерно и Софи: истаяла бы она, бедная, и засохла, не успевши расцвести, отыскивая в девственной улице героев Лувра, а теперь, благодарение небу, она жена очень обеспеченного человека. Это само по себе, а главное то, что она тоже, опять-таки благодаря великодушную полковника, имеет средства зарабатывать свой кусок хлеба своими трудами, находясь гувернанткой при воспитаннице Кочетищева, взятой им для услаждения дряхлой старости.

Не так ли, други, всегда наказывается порок и вознаграждается добродетель?..

III

Как бы эпилог

После довольно продолжительного отсутствия я опять увидел Москву. Была Святая неделя. Шатаясь по Подмосковному, я случайно встретил одного приятеля, который в былые годы имел возможность тереться в большом свете. Изгнанный из рая в настоящее время, он все еще продолжает думать, что он весьма великосветский барин, и на этом основании все еще раскланивается со своими великолепными друзьями.

– Слава Богу, – подумал я при встрече с ним, – теперь ежели какая-нибудь светлая звезда блеснет в мои слепые глаза, у меня есть под рукой человек, который скажет мне ее имя.

И действительно, приятель очень щедро рассыпал предо мной познание о beau mond'e {187}.

– Князь Зарубай-Незарубьев! – благоговеино шепчет он мне и в то же время, улыбаясь самым игривым образом, приветствует князя

своим бонжуром.

Князь недоумевающим взглядом окидывает бедняка, величественно надувает губы, морщит лицо и наконец обращается к милейшему существу, сидевшему вместе с ним в блестящей коляске.

– Графиня Пепермент, маркиза Кло де Вужо! – рекомендует мне мой благородный друг весьма развалившееся существо, тупо смотревшее из каретного окна на народные волны.

– Bon jour, madame la comtesse{188}! – кричит он старухе, рискованно подбегая к ее коляске. Маркиза награждает его истинно рыцарскую храбрость ласковым кивком головы, из чего я, как после оказалось, весьма справедливо заключил, что она совсем спятила.

Таким образом, много знатных особ было представлено моему благосклонному вниманию. В благодарной к их отечественным заслугам душе моей я благословил доблестных патрициев моего племени и хотел было отправляться домой, как вдруг с нами поравнялся невообразимо патентованный{189} экипаж, влекомый благороднейшей вороной

четверней. На козлах этой невиданной еще под солнцем колесницы достойно восседало некоторое строго-серьезное существо, широкоплечее и поросшее густой бородой цвета остывшей смолы. К великому моему удивлению, в этом экипаже, видимо строенном для царей, помещался полковник Кочетищев. Подле него на задней скамейке сидела какая-то бархатная, самой высокой отделки, дама, в чертах лица которой я нашел как бы нечто знакомое.

– Ведь это полковник Кочетищев? – спрашиваю я моего приятеля, пораженный той блистательной обстановкой старого гусара, в какой еще ни разу мне не приходилось видеть его.

– Да, это он! – удовлетворил меня мой знакомец.

– Что же, он женился, что ли? Бархатная дама жена его, что ли?

– Нет, бархатная дама жена приятного господина, который сидит напротив. Она у полковника в гувернантках, а муж ее – главным управляющим у своей соседки. Это – известная богачка, купчиха Полетникова.

– Чей же этот экипаж? – спросил я.

– Да как вам сказать? – недоумевал мой приятель. – Он у них общий, хотя и куплен на деньги Полетниковой. У них все общее, потому что это образцовые друзья. Все, кто только знает их, иначе и не называют, как аркадским семейством. Впрочем, полковника и приятного господина называют еще камелиями в кепи{190}; ну, да ведь на чужой роток не накинешь платок. А счастью их, по чести вам говорю, завидуют самые равнодушные глаза.



Московская тройка. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и насто-

щем». Государственная публичная историческая библиотека России

И точно: в толпе народа, глазевшей на торжественное шествие наших друзей, раздавались завистливые восклицания, одобрение лошадям, экипажу. Тут же, впившись слезящимися, старческими глазками в парадную дочь, стояла Анна Петровна Маслиха, в черном, новеньком салопчике с беличьим воротником, и когда патентованная коляска поравнялась с ней, она набожно перекрестилась, и по лицу ее пробежала улыбка полнейшего счастья...

Воздадим же и мы, в свою очередь, хвалы небу за то, что наши времена рождают еще людей, способных восхищаться и умягчать сердца наши теми душевными прелестями, которые я и рекомендовал вам в моих героях.

Погибшее, но милое создание

I

Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я по-настоящему должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором – мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа – о девственности московских улиц.

Во время моего первого знакомства с Москвой меня всего более поразило следующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улице и видишь, что на каждом

пункте ее кипит та деятельная, столичная жизнь, которая, как известно всякому мало-мальски порядочному фланеру-наблюдателю, заставляет любопытных провинциалов останавливаться чуть ли не на каждом шагу и смотреть на ее суету с неприличным даже раскрытием рта. Так вот, говорю, идешь по такой улице и постоянно тебе мечутся в большие глаза эти чудаки, до глупости заинтересованные разыгрывающеюся на ней ярмаркой столичного тщеславия, до болезни глушит тебе уши грохот экипажей, и так это всего тебя распалит и разозлит эта «людская молвь и конский топот»{191}, что, естественно, озлобляешься против этого ничем не смущаемого зеваки.

«Эдакой балбес!.. Чего он тут зевает? – с какой-то злобой думаешь про любопытного. – Так спокойно загородил тротуар, как будто он устроил его исключительно для своего удовольствия».

Но не в этом дело. Главная сила вот в чем: оглушенные страшным шумом одной из главных улиц столицы, вы вдруг совершенно неожиданно, как бы по воле могучего чаро-

дея, переноситесь из этого места будто за три-девять земель. Так велика бывает разница в жизни московских местностей, находящихся в самом близком соседстве, что, перешагнувши иной раз из одной улицы в другую, вы только возможностью волшебства объясняете себе эту странную перемену домов, людей и даже самого климата.



Толкучий рынок в Москве. Полдень. Худ. В. Е. Маковский. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Разозленные грохотом экипажей, навязчивостью разносчиков, неотразимыми претензиями на вашу щедрую милостыню тьмы

темных личностей, извозчиками, которые как будто с намерением злят ваше плебейство титулом сиятельства, наконец, полным счастьем восторгающегося всеми этими прелестями провинциала, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налево – и декорация в мгновение ока окончательно изменяется.

Перед вами уже не те изумительно грандиозные четырехэтажные дома в половину квартала, невольно заставляющие вас при взгляде на них раздуматься, обыкновенными ли человеческими силами строили их владельцы, или они прибегали в этом случае к каким-нибудь волхвованиям?.. Таких палат, говорю, нет и в помине.

Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками, дающими вам неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бедное, но благородное семейство, – с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепой собакой, равнодушной ко

всему окружающему и глубокомысленно-молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочной лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками знаменательно заложенными за спину. На губах его сияет улыбка. Из окна, противоположного лавке, его высокоблагородие Роман Ефимыч, отставной майор и кавалер из палочной академии{192}, «вежливенько», как бы и своего брата майора или титуляра, приглашает лавочника на чашку чаю. На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что, обыкновенно, решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такой будкой.

В подобных улицах только и есть эти два пункта, откуда еще проглядывает жизнь. Остальные точки их решительно необитаемы и безжизненны, следовательно, девственны.

Дальше слышно и видно только, как наследственные деревья, осеняющие гвоздистые заборы, дремотно качают верхушками и тихо шуршат листьями. Мертвая, ничем не прерываемая тишина и молчание самое усыпляющее завершают картину...

Почва этих, редкому смертному известных, стран должна быть очень плодородна, потому что вся весьма тщательно удобрена всеми принадлежностями, негодными в хозяйстве: старыми, дотла изношенными подошвами, золой и разного рода, весьма легко поддающимися гниению, остатками от некогда, по всем вероятиям, пышных одежд. Распаханная неизвестно когда и неизвестно зачем проехавшими тут колесами, почва представляет все возможности прозябать на ней разной травке, достаточно высокой для того даже, чтобы в ней резвились и прятались разношерстные котята.

Блинщик. Москва. Открытка начала XX в.
изд. «Шерер, Набгольц и К°» Частная коллекция

Приехавши в столицу из глубины степей



более или менее откормленным парнем, я некоторое время был объят глубокой тоской по родине. Эта тоска усиливалась до тяжелой болезни, когда, бывало, городской шум прерывал золотую цепь моих представлений о тишине степей наших, о их могущественной красоте, о их, наконец, своеобразной, неприметной для постороннего глаза жизни, которая в неисчислимое количество раз казалась

мне тогда и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей своим громом мою степную натуру против столичной деятельности.

И вот, когда я в первый раз, случайно, попал в одну из девственных улиц, когда я увидел за забором одного домика развесистую яблоню, а на улице невыполотую траву, в которой играли котята и чирикали молодые воробьи, когда я почуял в воздухе нечто напоминавшее аромат степи, я почувствовал к этим улицам необыкновенную слабость. В их успокаивающей тиши очень скоро проходила хандра от отношений и обязанностей, которые неумолимо принуждают меня выполнять городская жизнь; поэтому вот уже несколько лет брожу я по этим улицам, ищу их близ застав, в Замоскворечье, ищу в сердце Москвы, и я даже открыл такую местность, которую сами обыватели не могли назвать мне. Недавно только, когда я изучал прилегающие к ней улицы, со мной встретился необыкновенно дряхлый старец, который сказал мне, что место это называется «Марьиной слободкой» {193}, что это очень хорошее место, потому что живут они себе здесь тихо да смирно, ров-

но у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился с этим стариком. Мой новый знакомый, когда я проникнул к нему в гости, представил меня другу своему зашивальщику, тоже старику, живущему с ним на одной кровати, и потом уже на именинах у старика-зашивальщика я самым тесным образом сблизился с одним удивительно искалеченным ветераном и с соседом будочником. Будочник, в свою очередь, обязательно пригласил меня к себе на именины.

– Смотрите же, не забудьте, сударь, третьего числа, – говорил он, прощаясь со мной. – Пророчица Анна и Симеон Благоприимец, это и есть мой ангел.

Таким образом, третьим февраля и начинается мой рассказ, характеризующий девственность московских улиц.

Только моя необыкновенная страсть смотреть, как поживают на белом свете разные добрые люди, заставила меня ехать «к черту на кулички» – на именины к будочнику. Мороз был необыкновенный; треск промерзнувших крыш и заборов нарушал в этот раз мертвое молчание, обыкновенное в девственных улицах.

По приметам, сообщенным мне новым знакомым, я узнал дом, в котором квартировало его семейство. Маленькая, отощавшая собачка звонко ответила на скрип калитки, произведенный мной; ей откуда-то из угла отозвались куры сонным, продолжительным воркотаньем. Какой-то человек в мерлушечьем халате, с кокардой на фуражке, вероятно, хозяин дома, пользуясь ночной темнотой, нисколько не компрометируя значка, рекомендовавшего его благородную породу, мел двор.

– Кого тебе? – сердито допросил он меня.

– Знакомого одного: будочником в здешнем квартале служит.

– Служит?!. Разве будочники служат?.. Служат только чиновники... Вон ступай наверх.

Собачонка, тая от злости, подкатывалась мне под ноги. Мерлушечий халат ожесточенно прикрыл ее своей страшной метлой.

Я отворил тяжелую дверь, сколоченную самым медвежьим образом из толстых дубовых досок. За дверью царила непроглядная тьма; где-то вверху раздавались громкие голоса; плач охрипшего ребенка смешивался с гармоникой и с разухабистой песней.

Наконец я отыскал ступень лестницы и, с твердой верой в благость Провидения, полез куда-то. По мере моего приближения к небесам гармоника становилась слышнее, и я уже явственно слышал слова песни. Это был лихой хорей{194}, сложенный, вероятно, по-этом-закройщиком и производивший в гостях гомерический хохот. Мне даже слышно было, как певец, окончив куплет, извинялся перед кем-то:

– Извините-с! – доносилось до меня. – Из песни слова не выкинешь. Ха-ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха-ха! – раздавалось во тьме, охватывавшей меня. – Не выкинешь: это точно.

Того склада не будет, ежели выкинуть. Валяй всю!

– Ничего, ничего. Пойте, – отвечал на извинение певца женский голос.

Гармоника снова сделала несколько аккордов, как будто умирал какой-то самый бесшабашный удалец и при последнем конце своем захотел потешить отлетающую душу самой любимой, самой удалой песней. Вот из ослабевшей груди вылетели две-три ухарские ноты, шутившие над смертью, и замерли вместе с веселой жизнью. В тот самый миг, когда следовало окончиться последнему аккорду, певец вдруг подхватил его своей оригинальной, хореической поэмой, и снова темноту, в которой блуждал я, прорезал музыкальный поток слов, возбуждивший новый хохот со стороны публики и вызвавший новое извинение со стороны певца.

Зная очень много всяких народных хореов и ямбов, я тем не менее с большим наслаждением слушал эту песенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны как по своим мотивам, так и по содержанию. Первые, будучи необыкновенно однообразны (они состо-

или из одного вздоха, безустанно продолжавшегося во все четыре строфы каждого куплета, – такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, следовательно, ослабевая в конце каждую же секунду, с новой силой вылетал из здоровой груди), – удивительно варьировались гармоникой. Последнее же, повествуя о похождениях некоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупной русской солью, которой так забористо просолены наши доморощенные поэмы.

Облокотившись на какую-то стену, я выслушивал неимоверно забавные приключения вдовой барыни, и передо мной уже понемногу начинали рисоваться и одинокая глухая деревня, и ее безответная улица, наивно названная мужиками *красной*, – весь этот мирный быт далекого захолустья с каждой минутой яснее и яснее вставал в моей голове, и издали чуял уже я, как в конце улицы показалась эта барыня-домоседка. Бойко несет она свою благородную голову, храбро задравши ее к светлому небу, и крик ее, разносясь по всей красной улице, до самого основания возмущает всегдашнюю тишину последней. Я

начинал уже видеть барыню действующей в тех комических событиях, которые рассказывались и песней, и гармоникой, как вдруг стена, о которую я опирался, не выдержав моего напора, со скрипом валится на бок: я лечу вместе с ней я отчаиваюсь в моей драгоценной жизни, но, благодаря богам-хранителям, оказалось, что это была не стена, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.



На площади у Сухаревой башни. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Я ввалился в комнату или, лучше сказать, в какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавке, противоположной кровати, подле крошечного стола сидели две женщины. Человек шесть мужчин необъяснимым образом лепились около кровати, на которой не то сидел, не то лежал певец с гармоникой – молодой солдатик. При всем старании публики потесниться и дать мне пройти я с трудом освободился от кулька, в котором, зная родные обычаи, привез имениннику штоф Руже{195} и приличную закуску, чем (объясняю это символическое обыкновение) я как бы желал и даже давал ему некоторое право на пользование благами еще смачнейшими.

– Напрасно беспокоились, – говорил именинник, принимая от меня кулек, который в момент снискал мне расположение всех гостей.

– С ангелом! – приветствовал я. – Примите – не побрезгайте.

С меня насильно стащили шубу, которую было хотел я снять сам, и посадили к дамам. Ко мне подвели маленькую девочку и строго, с подзатыльниками, приказывали ей поцеловать у дяденьки ручку. Охрипшей, простуженной грудью, ровно треск маленьких стальных часов, девочка прохрипела: «Дяденька! пожалуйте ручку».

Я поцеловал бедное дитя, осужденное родиться в пещере с промерзшими стенами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь к раннему гробу, и в колыбели уже обреченное страданиям. В глубине души моей я благословил это дитя всевозможных нужд на добрый труд в бедной жизни, на силу бороться с соблазном, который щедро рассыпается в подобных приютах праздностью и бессердечием молодых и старых богачей.

Я осмотрелся. Совершенно обледенелое окно пещеры, разогретое самоваром, как-то особенно грустно слезилось. От него и промерзнувших стен, тоже согретых и именинным истопом печи, и дыханием гостей, шли волнистые седые пары, наполнявшие всю комнату. Единственную сальную свечу, горевшую

на столике, особенно густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещере слепой, ненастный свет, сообщавший всем предметам какой-то седовато-убогий цвет.

Прежние приятели мои, зашивальщик и искалеченный ветеран, грустно уединились в самую темноту к печке, широкое отверстие которой, сияя во мраке, делало из них как бы волшебных стражей заколдованного входа в подземное царство. Нисколько не вмешиваясь в общий разговор, они серьезно и терпеливо ожидали, когда наконец дойдет до них очередь принять из рук хозяина рюмку и, пользуясь этим случаем, пожелать ему от Бога всяких благ – душевных и телесных. Они, очевидно, были в загоне, т. е. внимание на них почти не было обращено, потому что очередная рюмка доходила до них после всех. Высокий старик, отставной фельдфебель с бобровыми усами и подковообразными бакенбардами, убедительнейше приставал к каждому гостю, чтоб он одолжил ему заимобразно до завтра гривенник, который он хотел подарить хозяйскому ребенку. Молодецки

повертываясь на каблуках от одного гостя к другому, он уверял всякого с какой-то, так сказать, воинской энергией, что такой милой и умной девочки он сроду еще не видал.

– Христос свидетель! – басисто и размашисто говорил он, – не доводилось никогда видеть, а в каких-каких губерниях не побывал. Дайте до завтра гривенник, сейчас подарю, потому люблю ребят и опять же я прост.

Отсутствие в его кармане собственного гривенника, который бы на деле мог доказать его любовь и простоту в отношении ребят, вызывало у гостей недоверчивые улыбки. Хозяин просил фельдфебеля не беспокоиться, однако же очередную рюмку подносил ему только третьему от конца, несмотря на его относительно высокий ранг. Бравый фельдфебель нисколько, впрочем, не претендовал на такое пренебрежение к военным доблестям. Он пил, когда ему подносили, и любо было смотреть на него, как он, приняв от имениника рюмку, говорил ему покровительственным басом начальника:

– А это можно, можно выпить: вино в пользу солдату, а паче фельдфебелю.

При этом он быстро опрокидывал рюмку в рот, настойчиво отвергая всякую закуску.

– Кавардак выйдет, ежели всякую рюмку закусывать будешь, – наставительно поучал он. – По-моему, выпил одну, хватил другую, так много уж. Ну, после этого и насядь на закуску. Поешь вплоть и пей сколько хочешь; а как таперича неблагополучно себя почувствуешь, курни трубочки – и шабаш.

– А, по-моему, как я завсегда рассуждаю, без закуски пить – чревобесие выйдет одно; а чтоб оно тоись в пользу человеку пошло – пустяки, – возразил молодой солдатик.

Бравый фельдфебель завел с ним продолжительный дебат весьма горячего свойства.

Я начал присматриваться к другим личностям.

Самым почетным гостем был, очевидно, молодой полицейский унтер-офицер, урезавший, как говорится, до ризположения{196}. На всякую внимательность, на всякое потчевание хозяина он отвечал одним бессмысленным, икающим смехом.

– Не р-разберу, – кричал он, мотая головой. – Обстоятельней говори: я – твой началь-

ник!

– Кушайте, кушайте рюмку-то. Очередь за вами, – отвечал хозяин, видимо робея.

– Ну, выпил. Што ты еще можешь мне говорить?

– Кроме как угощения, могу ли с начальником о чем говорить?

– Вер-рно! На чистку снега не ходи завтра. Сиди дома: я тебе позволю.

– Благодарствую, сударь. Позвольте ручку поцеловать.

– Целуй! Я тебя за твое почтение очень люблю. На вот твоей девчонке двугривенный.

И ундер, не знаю почему, залился своим икающим смехом.

Выпивка с каждой минутой принимала более и более широкие размеры. Бравый фельдфебель пустился в пляс с самыми неистовыми выкрутасами. У него сыпались необыкновенно смелые поговорки, поминутно вынуждавшие его извиняться перед дамами.

– Простите, Христа ради, старику, – умолял он скороговоркой, постепенно делаясь бравее и бравее. – Ради именинника простите. Мне по-настоящему уж пора бы и перестать чер-

та-то потешать, да куда ни шло! Может, за мою службу Богу и великому государю мои грехи на том свете и простятся.

Фельдфебельский пляс увлек всех. Разговоры сделались живее, движения порывистее. Молодой солдатик, заливаясь самым лихим манером на гармонике, дружелюбно подмаргивал мне и сидевшей подле меня женщине в шелковом платье на пляшущего старика. До этого времени вся публика слишком заметно сторонилась нас обоих, называя мою соседку не иначе, как барышней, а ко мне ежели кто относился, так с почетным титулом вашего благородия.

– Да это что? – говорил фельдфебель, останавливаясь наконец предо мной. – То ли в старину было!.. Укатали бурку крутые горки. Имеем, сударь, окромя Егория{197} и всяких медалей, шестьдесят годов на плечах, а по божьему-то сказать, на баранью морду всех этих штук не купишь. Выходит, я их заслужил. Заслужил? – Истинно заслужил, потом да кровью во владение свое приобрел. Оттого теперь и кости болят. Зато, чтоб обидеть меня кто мог – подожди!.. На офицерской линии со-

стою, – в сусалы-то ко мне не больно доберешься... Вот что!.. Хозяин! поднеси нам по рюмочке с барином, храбрости ради.

Хозяин поднес нам. Фельдфебель чокнулся со мной и хватил; я тоже.

– Офицером быть бы вам, – сказал он, – знатно вы пьете, потому и ум, надо полагать, немалый имеете. Не люблю я, как барич какой рюмку поднесет ко рту и рожу скорчит, да отплевывается, ровно его в лоб ошарашили. У меня сразу: марш! – орал он, в мгновение ока уничтожая другую рюмку, которую, не дожидаясь потчевания хозяина, налил уже сам. – По дружбе говорю: пивал прежде, – продолжал он, – тоись столько этого добра употреблять мог, что офицеры, бывало, в полку нарочно складываются: четверть купят – как это я пьяный буду? Часика с два посидишь за ней, – и аминь; только голос покрепче делается. А нынче вот, кроме как сила не та уж стала, жена завелась. По дружбе сказываю: бьет, коли что насчет водки пронюхает... А насчет жены вот что скажу я тебе, друг ты мой сладкий: черт да баба хоть кого околпачат. Вот со мной какой случай был. Года три

тому будет, приходит ко мне приятель один, тоже унтер-офицер. Дело на Масленице было. «Пойдем, говорит, выпьем для праздника. Есть, говорит, у меня знакомая женщина такая, так мы к ней в гости пойдем. Не подумай, говорит, какая-нибудь: в корпусе прачкой числится, вдова, говорит, солдатская, с матерью и с детьми в казенной квартире живет». – «Что ж, говорю, пойдем». Захватили мы, знаешь, кой-чего по мелочам: водчонки да закусчонки, сколько смогли, и приходим. Приходим и видим: так это чисто каморка у той вдовы прибрана, сама в белом чепце сидит, на пальцах шьет; лицом, признаться, не так чтобы, даже прямо сказать: страсть страстью! На девчонке на ее платьице новенькое надето, ситцевое, на двух ребятишках рубашонки такие новенькие; канарейка у окна в клетке висит и цветы стоят. Фу, ты, мол, Господи! Вот у нас солдатки-то как поживают!

– Очень, – говорит, – рада вам, господа! Милости просим садиться.

Сели. Посидемши, выпили; выпимши, разговор завели, а там опять выпили. Ничего. Детишки это такие ласковые: не боятся, как в

других местах, а так прямо на колени и лезут. Мы им с ундером на гостинцы сейчас, а мать это к нам: напрасно беспокоитесь, говорит. Тут мы еще выпили, матери поднесли, – древняя эдакая старуха, – та благодарна осталась. Хорошо-с!.. – Нам, сударь, не наказать ли еще хозяина-то по рюмочке? – вдруг предложил мне фельдфебель, задумчиво покручивая усы.



«Виды нашей прислуги». Официант. Рису-

нок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Не часто ли будет? – пожелал я узнать.

– Не часто, – ответил он.

– Ну, так накажем, – согласился я.

Хозяин весьма обязательно подверг себя этому наказанию.

– Вот я, приятель ты мой дорогой, и разогрелся у этой самой вдовы. Так это мне после выпивки хорошо у ней показалось!.. Стыдно сказать, а всплакнул я горько у ней за полштофом. Думаю себе: Господи, Господи! дожил я до седых волос, чин, по своему солдатскому званию, немалый заслужил, опять же жалованье, по тогдашней службе по моей в швейцарах, двенадцать с полтиной ежемесячно получал, – и нет у меня ни роду, ни племени, ни друзей, ни приятелей. Думаю я так-то себе, а сам плачу, словно река разливаюсь, и показалась она мне тогда, эта вдова, бог знает какой красавицею.

– А что, – говорю, – вдова божья, давай-ка,

brateц ты мой, мы с тобой перевенчаемся...

Бухнул я это ей, а она ничего, что пьяный человек присватался за нее, с лапками ко мне.

– Давай, – говорит.

Мать за попом сейчас побежала, честь честью образом благословили нас, и стали мы жених и невеста. Немало я радовался в пьяном-то виде... Проснулся поутру, трещит голова. Куда это, думаю, попал я. Уж и забыл про все. Ребятишки ко мне сей час: тятей почали звать, – она их уж наострила. Невесту тоже увидал, пришла откуда-то. Увидал ее, ужаснулся, да все и вспомнил. Куда, думаю, дену я эту ораву? Чем я ее прокормлю? Трое детей, мать-старуха еще, сам на прибавок, всего шесть человек выходит: по два рубля на душу приходится. Сумленье меня тут проняло: не маловато ли жалованья будет? Опять за вином я послал и говорю невесте:

– А что, мол, невестушка моя милая, не простишь ли ты мне шали моей пьяной вчерашней? Я бы, говорю, отходу тебе, что касается тоись насчет денег, не пожалел дать.

– Ты, говорит, пустого не болтай. Я давно

такого случая выжидала; а ежели ты, может, спятиться хочешь, так в суд пойдём. Я, говорит, тебя осрамлю, а жениться на мне все-таки присудят тебя беспременно.

Смолк я тут, потому увидал, что не миновать мне женитьбы. О том только беспокоиться стал, как это с такой чучелой на свет показаться. Женился. Баба ничего, хорошая вышла, только что муштрует она меня очень. Выпить мне чтобы когда по-старому, и не на свои, а в гостях, – ни-ни, ни под каким видом нельзя. Слаба баба, и мог бы я ее, разумеется, пальцем одним придавить, – ну, никак я супротив ее лютости выстоять не могу, когда она меня пьяного по всем суставам, по всем-то суставам, словно собаку, чем ни попало, колотить почнет... В других разгах ничего – хозяйка, как надо быть, и детишками тоже очень утешен, хошь признаться, по доброте по своей, частенько-таки приходится мне хлеб один черствый с водой есть, чтоб они без говядины не сидели, – любят тоже ребятишки говядину-то.

Мокринский переулочок в Зарядье во время весеннего половодья. Открытка начала XX в.



Частная коллекция

Потому мое дело солдатское, привычное: они меня за это и любят... Значит, ничего! Жить можно, потому другие мужья и не с такими зверями живут. Главное, не думал жениться, не люблю я этих баб, а тут шут провал: в первый раз увидал – и обабился. Не подбей меня приятель на выпивку, и о сю пору холостой бы ходил, сам бы себе барином был; а теперь – на-ка!.. Не знаю, как сейчас и домой показаться, потому, сам ты видишь, проштрафился я здорово, – жаловался мне фельдфебель, грустно качая головой и отпле-

вываясь. – Невелико, правду сказать, несчастье, когда пьяного мужа жена бьет, – продолжал он, – только до гроба до самого, должно быть, горевать мне, потому за расторопность свою от всего полкового начальства всегда одни милости получал, а тут, напоследок, сгруппил, на старости лет к бабе под палку добровольно пошел... Мне это горько – от бабы терпеть, а втрое мне горести, что сам я в эту петлю, так сказать, не подумавши, в пьяном образе влез.

Последние слова своей рацей фельдфебель произносил уже сквозь слезы. И, конечно, это были слезы пьяного человека, но тем не менее мне было очень жаль его, потому что я видел ясно, как человек, умный по-своему, только что освободившись из служебного тридцатилетнего ярма, закончил свою жизненную дорогу, так трудно и так хорошо пройденную, какой-то роковой, произвольной глупостью, надевшей на него другое ярмо, которое он должен нести уже до самой могилы...

— О чем ты задумался, Сизой? – неожиданно отнеслась ко мне вдребезги разодетая женская особа, доселе ничего не говорившая.

Я выпучил на нее глаза. «Почему это она знает меня?» – думаю себе.

– Напрасно ты притащился сюда, – продолжала она, – нечем тебе тут пожить. В этом царстве мрака, как там это у вас литературно называется, едва ли что увидеть твоим слепым глазам. Ты ведь слеп: я давно знаю.

Я остолбенел.

– Однако, Сизой, ты черт знает как постарел, и лицо у тебя, не взыщи за правду, как-то скверно вытянулось, поглупело, позеленело, измялось. Не очень давно еще ты был такой здоровый мальчишка. Помнишь?

Тут я вспомнил ее. Вспомнил, как несколько лет назад приехал я в столицу с разными детскими восторгами и, увидевши, что грозное слово и тяжелая рука тятеньки за пятьсот верст от меня, весь отдался влиянию некоторых угорелых ребят, и как эти угорелые ребята

та, воспользовавшись своим влиянием надо мной, осквернили мою шестнадцатилетнюю молодость.

В числе принадлежностей этого времени была и эта разодетая особа, известная тогда под именем разбойницы-Саши.

Это была высокая, стройная брюнетка с размашистыми приемами, громкой и всегда даже над самыми любимыми предметами злобно насмехающейся речью.

– Ребята! – говаривала она тогда, пародируя наши же фразы, – пьяницы вы, негодяи и глупцы здоровенные, это правда, но вы всегда найдете во мне добрую мамзель, готовую вам дать самые полезные советы, потому что я всех вас умнее, и доброты у меня у одной тоже больше, нежели у всех у вас вместе. Целуйте у меня ручки за это – и выпьем.

Мы целовали у нее ручки и выпивали. В настоящую же минуту я почти ничего не помнил об этом, но при виде разбойницы старинные, давно прошедшие дни молодых увлечений живо воскресли в моей памяти, обширная программа разнообразных глупостей, наполнявших эти дни, повторилась в голове

против воли и окрасила румянцем стыда лицо, давно уже от румянца отвыкшее.

– Это ты, Саша? – промолвил я.

– А то кто же? – ответила она, улыбаясь. – Глупо так долго меня не узнавать. Я не то, что ты: я ничуть не изменилась. Я, кажется, никогда так не подурнею, как ты. Скажу тебе по секрету, одного боюсь: как бы еще больше не поумнеть, тогда я еще злей буду...

– Скажи, пожалуйста, только, ради бога, без острот, как ты попала сюда? Знакома, что ли?

– Напрасная просьба, Сизой; ты знаешь, я без остроты слова не могу сказать. А попала я сюда потому, что сей макарка (ты знаешь, что макарками будочников зовут) – мой единоутробный братец.

– Ты, помнится, говорила, что ты дочь полковника какого-то, потерявшаяся от гибельных обстоятельств.

– Все ты перевираешь, забывчивый! Дочь майора, я тебе говорила, получившая прекрасное воспитание и погибшая вследствие пьянства родителя и собственной невинности. Но ты не должен был верить этому, лите-

ратор близорукий, потому что все мы – когда будешь писать обо мне повесть, скажи, чтобы «все мы» кривыми буквами напечатали – все мы так говорим. Поглупей какие, скажут, пожалуй, что тятенька был капитан, а маменька майорша; оно, может, это и правда, только отчасти, всегда же это вздор. Я просто подмосковная крестьянка, Дунька Мизгирева. Могла бы я и княгиней быть, ежели бы была прежде так же умна, как теперь, и немного злее того, как теперь. Верь ты этому, заступник простых русских людей, говорю тебе, и радуйся: я достойно бы украсилась сиятельным титулом.

Продавец мочалок. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

В былые времена я действительно угорал от такого рода фраз. В устах разбойницы они способны были тогда томить мое сердце великой тоской о том, что такая натура погибает безвозвратно: они волновали ребячью кровь мою до страстного желания посвятить молодые силы на то, чтобы поднять с болезненного одра прекрасную жизнь, изуродованную



нравственными болезнями, и исцелить ее; но в настоящую минуту мне противно было слушать эти цинические выходки и вместе с тем хотелось услышать их до конца.

– Что ты нынче подельываешь? – расспрашивала она меня. – По-прежнему ли со своими просвещенными приятелями несешь чепуху?

– Какие приятели, Саша? – отвечал я. – Тех

уж нет: я давно с ними разошелся.

– Какой ты благоденственный! В этом ты ничего не переменялся. И тогда ты был такой же благоденственный. Другие хоть пили и скандальничали, как повелевал долг службы, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку; руки только всем связывал, – две рюмки тебя сваливали. Теперь-то хоть, по крайней мере, исправился ли?

– Кажется, исправился.

– О, добрый мальчик! Ишплявились!.. Не видала я, ты думаешь, как с фельдфебелем вы сейчас наказывали моего брата рюмочками? Впрочем, может, ты поступал так вследствие высших литературных соображений, – так это по-вашему говорится? Показала бы я тебе соображения, – ну, да уж бог с тобой, не хочу я больше быть Сашкой-разбойницей. Хочу опять быть Дунькой Мизгиревой и жить по завету отцов.

– Значит, ты тоже исправилась?

– Как тебе сказать? Право, не знаю. Вы тогда толковали: исправить – значит вперед двинуться. А мне бы назад отодвинуться, к детству. Много то время лучше было.

– Конечно, то время гораздо лучше, только легко ли тебе будет возвратиться к нему?

– Я не говорю, что легко. Да шатанья-то мои мне опротивели до тошноты, а главное – старости страшно!.. Видишь ты этого солдата-ка? Вот все икает-то который? Это, милый ты мой, важная птица, завидный для девицы нашего сорта жених. Единоутробный мой и хлопчет теперь об этом из всех сил. И не почувствует, сердечный, как я стану унтер-офицершей и честной женой. Венец, брат, ведь все, не в одном нашем омуте, покрывает. Может, лет эдак через тридцать, прапорщицей буду, в большой свет попаду...

– Да, это хорошо! – сказал я в рассеянности.

– Да ты, я вижу, забавник! – ответила она с громким хохотом. – Поддакиваешь. Исполнение желаний и без твоих слов полное... Давай исправляться, Сизой!

– Давай, – согласился я. И мы выпили.

– Скверная у меня привычка есть, Жан: выпью одну рюмку, хочется другую. Выпьем по другой!

Мы выпили по другой.

– И другая у меня привычка есть, еще глу-

пее: когда выпью другую, уж не могу никак, – надо третью.

– Это ты шутишь?

– Ни-ни, – говорила она, наливая третью рюмку. – привычка; оттого я могу ишпляиваться, как ты, а исправиться совершенно нет силы, потому что за третьей рюмкой у меня непременно следует кутеж, на-квит: через реки прыгаю, моря перехожу... Я, Сизой, больше всего люблю такие приятные занятия и уважаю на свете одного тебя да выпивку, а выпивку больше тебя, – имей это в соображении.

Торговка чулками. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Между тем оргия, разгораясь, становилась час от часу безобразнее. Фельдфебель доказывал солдатику-музыканту, что он молокосос и что, ежели он не будет оказывать старшему почтения, старший ему может в морду накласть, как и закон будто бы повелевает.

– Ну, это увидим! – отвечал солдатик задумчиво, и уже не так смело, как прежде, пе-



ребирая на гармонике.

– И не увидишь, как я тебе поднесу! – горячился фельдфебель.

– Увидим, – отстаивал солдатик.

– Ну, что, Сизой, пьян ты? – спросила меня Саша, раскидываясь на лавке и закуривая папироску.

– Пьян.

– Скажи же мне, ученый ты человек, когда

люди лучше бывают: пьяные или трезвые?

– Пьяные.

– Вон! Я с тобой согласна. Значит, мы теперь с тобой ребята славные?

– Славные! – коротко отвечал я, потому что думы, одна другой печальнее, зароились в голове моей и отнимали всякое желание говорить.

– Так будь же ты совсем славный, – говорила она, очевидно пьянея. – Мне что-то ужасно весело. Веселись и ты! От скуки я покажу тебе несколько картин из моей жизненной панорамы, так как я очень часто хохотала над твоей всегдашней страстью собирать материалы для изображения народных нравов... Вот эти картины! Смотри и слушай: вышла я замуж за икотника-ундера. Вот продала я и заложила благоприобретенные шелка да бархаты, купила что нужно детям, мужу, матери его и пою:

*Подвязавши под мышки передник
{198},
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж приверед-
ник*

И свекровь в три погибели гнуть.

– Хорошо? Нам не выпить ли, Жан?

– Пожалуй, я налью тебе.

– Я тебе, пожалуй, сама налью. Только ты не будь бабой, пей со мной. Ведь я, может, в последний раз кучу с барином. Ты барин, что ли?

– Столько же, сколько ты барышня.

– Я нарочно тебя спросила: думала, что врать начнешь. Тогда об тебе ввали какую-то чепуху. Одноворцем тебя называли, поповичем и черт знает чем. Я всегда тебя за это любила, Сизой! Потому ты не плоше меня утирал носы разным ослытам. Я очень любила в свое время колотить и издеваться, в шутку будто бы, над разными тузами, и чем туз был толще и вельможнее, тем мне было слаще. Вспомнишь только – в восторг придешь... Сизой, брат мой, слепленный из одной глины со мной! предлагаю тебе тост за процветание доброты в той грязи, откуда мы с тобой выползли...

– Молодец ты, Саша, ей-богу! Ура!

– Ура! – ответила она громко. Я решительно опьянел.

– Веселей держись! – говорила она. – Ты старайся не пьянеть; мы с тобой побольше выпьем и больше поболтаем. Брат, дай сюда холодной воды и лимонов: мы будем пить и освежаться.

Нам подали воды.

– Хорошо в меру выпить, Сизой, а лучше того не в меру, когда ничто не заставляет тебя не говорить того вздора, который лезет в пьяную голову. Я очень это люблю. Запрись и пью... Ну, так вот, Жан, смотри же мои картины; они тебе будут полезны. Черт их возьми совсем, они, по-вашему сказать, рисуют общество.

– Говори, сделай милость, я слушаю.

– Помню я, – начала она, – как ты рассказывал про жизнь тех людей, которые родили тебя, воспитали, но ты говорил, что тебя так и тянуло от них. Мне очень нравился тогдашний твой рассказ: пьяна ли я была, ты ли пьяный хорошо говорил, или просто твое детство напомнило мне мое детство. Помню я себя вот с какого случая. Ребятишки и девчонки катаются на салазках с горы через всю реку. И я тут. Дорога наша лежит на аршин от прору-

би. На этом катанье был ли кто моложе меня? Только я села в салазки и мигнуть не успела, как очутилась вместе с ними подо льдом, да столкнула туда ж соседку одну: белье она мыла. Меня соседка вытащила, – место было неглубокое, а салазки там и остались. Мне никогда не было так больно, как когда я, мокрая вся, бежала с катанья по улице. Резвая я очень была, бежала скоро, а шубенка овчинная с рубашонкой замерзнуть успели. И выдрали же меня, что я чуть не утонула! Сначала высекла мать, потом жена старшего брата потихоньку от матери рвала меня за волосы, а тут отец еще высек. Не диво, что мать высекла, но я не могла понять, за что меня высек отец. Мы его только и видали о праздниках, когда он, бывало, придет из Москвы и пропьет все: пьет в кабаке, пьет дома и всех колотит. Никогда я не видала, чтоб он с кем-нибудь не дрался или бы не бранился самым подлым образом. Никогда не видала я от него ни одной ласки, а говорили все, что он был умный старик и зарабатывал много: одна беда – пил!..

Долго я сидела на печи, обсушивалась, а

сама, помню, все думала: за что этот мужик меня высек? Я всегда называла отца: чужой мужик. А он, знаешь, московская штука, сидит себе на лавке и кричит на печь: «Иди, Дунька, сюда, у тятеньки прощенья проси, ручку цалуй...» А у меня грудь надрывается от злости; задыхалась я тогда от желания быть большим мужиком и прибить его до смерти... Сижу на печи, плачу и шепчу: «За что дерется чужой мужик? Что он силен-то?.. Эка! Сладил!..» Теперь сам посуди, каким я зверем родилась. Увидала я наконец, что может чужой мужик бить меня, сколько его душе угодно, а я сделать ему ничего не могу, и надумалась. Слезла с печи, подошла к нему, говорю:

– Прости, тятенька! Дай ручку поцаловать.

– Давно бы так, – говорит. – На, цалуй! – и подал руку. Взяла я руку у него, смотрю на нее, а не цалую, потому что, помню, передернуло меня всю от радости в это время.

– Что же ты, – спрашивает, – не цалуешь?

Как вопьюсь я ему зубами в большой палец, как стисну его, так он застонал даже. Чувствую я, полон рот крови у меня, и жалко уж мне стало чужого мужика, а выпустить

все не могу: замерла... Насилу он вырвал от меня палец, – все тело было с него сорвано... Как увидела я кровь, плакать было принялась и в самом деле хотела прощения просить. Только суждено мне, должно быть, никогда никому не показывать хорошего чувства, потому что сызнова принялись они меня все обща сечь, и опять пуще разозлилась я на них, не за то, что они меня мучили, а за то, что они сильнее меня и что нет у меня у самой силы истеранить их...

Так жила я до десяти лет. Перед Рождеством приехал из Москвы отец, как водится, пьяный. Пил он после своего приезда и колотил нас дня три, до того, что мать одна оставалась с ним, а мы все разбежались по соседям. Только раз пошел он в гости в ближнюю деревню, а оттуда принесли его уж мертвым: замерз на дороге. Остался наш дом без головы. Детей родные к себе разобрали, мать в Москву в кухарки ушла и меня с собой взяла. Тут и начинается моя настоящая история.

Года два я шаталась с матерью по чужим домам, и у кого она живала, все на меня любовались, бездетные купцы вместо дочери про-

сили меня, – не дала. Бог знает отчего.

Не было ни одной хозяйки у матери, чтобы с кухни не взяла меня к себе в комнаты и платьев не нашила. Умерла мать, – осталась я по двенадцатому году одна на свете. Уж не знаю, какой добрый человек пристроил меня в учение к модистке.



Вид улицы Петровки от угла Столешникова переулка. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Тут я, должно быть, и приобрела свою силу мужскую, когда ведра тяжелые таскала, когда в морозы, кое-как прикрытая, по целым дням белье мыла на реке.

Впрочем, я эту модистку не проклинаю за ее обращение и на мастериц не сержусь; бывало, они по ночам при нас, при маленьких, впускают любовников в окна, – такое уж у них заведение было. Терпению я тут выучилась, что лошадь; пожалуй, теперь могу два дня не есть и не пить, и одеревенело, я тебе скажу, тело мое вот как: кажется, выдержу, не крикнув, какую хочешь пытку. Зато не обидел же меня после даром никто: оскорбил меня ежели мужчина, так я тоже непременно своими руками расправлялась с ним...

Дотянула я эдаким манером до пятнадцати лет, и молодежи, бывало, не отгонишь от нашего магазина. Тут найдись у меня родня – вдова старшего брата. Стала она меня брать к себе по праздникам в гости. Мастерства никакого, а живет, погляжу я, в достатке. Квартира хоть куда, комнат много. Сижу я у ней раз, вижу: подкатила к крыльцу коляска, – офицер в ней из уланов. Это князь один был, дурак и мерзавец такой, что я другого и не видывала... За тысячу целковых она ему меня и спустила. Квартиру мне нанял князь, одел, как куклу, вещей надарил, и приятели его тоже. С

год я так жила, и хоть бы раз пришло в голову, что ведь надо же этому, рано ли, поздно ли, кончиться. Платья, золота, серебра накопилось у меня в то время, так я думаю, тысяч на пять. Только приезжает вдруг князь ночью ко мне, с каким-то с другим. Поговорили они что-то, пересмотрели вещи, мебель и уехали. Наутро опять приезжает и говорит: «У меня, душа моя, обстоятельства очень плохи. Ты мне позволь на время заложить твои вещи вот этому самому. Я, говорит, скоро выкуплю». Вывезли все из моей квартиры. Осталась я в одном салопе и жду, когда это он вернется. А он день за днем реже да реже ко мне стал ездить и денег почти что давать перестал: сидела я тут и без чаю, и без обеда частенько-таки. Хозяин приходит, деньги за квартиру стал требовать. Я пошла к князю в дом.

– Ты что же, мол, денег за квартиру не платишь? Отчего у меня не бываешь?

– Я, говорит, нынче на службе состою и бывать у тебя не могу больше; прощай, говорит. На вот тебе денег. Только ты из них не плати хозяину; пусть он мебелью остальной пользуется.

А мебели оставалось на три гроша всего...

– Изредка, говорит, пиши ко мне: я к тебе приезжать буду.

– А что же, говорю, когда ты на мне женишься?

– С ума ты сошла видно?

Такая я тогда дура была: верила ведь, что может он жениться на мне. Стою я перед ним, красная вся, а в голове у меня точно колесо вертится: «Какой же ты подлый! Какой же ты мерзкий обманщик!»

Смотрела, смотрела я так-то в лицо ему и все думала, что это он шутит, потому часто, бывало, нарочно принимался дразнить меня, – да пачкой этой с деньгами, что дал он мне, прямо в рожу ему угодила...

Ну, веришь ты, что это за человек подлый был? Саблица у него эта в углу стояла, так он с ней на меня и ножнами меня по спине. Может, он и больше бы прибил меня, только вырвала я у него саблю и всю ее об него обломала... И была же я его, негодяя, до тех пор, пока не бросила. Всю руку он мне, которой я его руки держала, искусал, собака скверная, когда вырывался, а людей не позвал. Стыдился по-

казать-то, как его девка бьет.

– Я тебе вот что скажу, Сизой: все бы я на свете сейчас отдала, только бы его в другой раз еще так же поколотить... Выпьем же мы с тобой за конец моей первой любви. С князем у нас тут дела и кончились.

– Выпьем.

Прибежала я в ту же ночь к старушке одной знакомой. Квартиры она со столом держала. Рассказала я ей все, – она меня к себе приняла. «Живи, говорит, пока я тебе работу найду». И не могу я даже понять, за каким чертом, когда жила у этой старухи, каждый я вечер шаталась к квартире князевой и в окна к нему смотрела? Ругаю себя, бывало, а иду, и все хочу его встретить, взглянуть на него... Потому удивляюсь, что ежели бы он приехал тогда ко мне и сказал бы, что прямо под венец меня повезет, я бы его все-таки избила: так он мне противен был! Мороз по всему телу пробегает, как только вспомню, бывало, как он меня обнимал...

Живу я у этой старушки. Работу она мне изредка доставляла. Нанимал у ней же комнату один гимназистик, хорошенький такой,

только курс кончил и на место куда-то в дальнюю губернию собирался. Прознал он мою историю, познакомился, читать и писать учил, помогал, чем мог. Такой был скромный и добрый, никогда ни одного слова, знаешь, эдакого не сказал мне.

– Переходите ко мне в комнату, – говорит раз, – у меня веселее. Вы, – говорит, – не подумайте чего-нибудь – Я так.... Мне одному скучно. А сам краснеет.

Я и перешла. Месяца два жила я с ним, хорошо жила. Время это я никогда не забуду. Учил он меня, книги читал, стихи. Многому я от него научилась и в голове свежей стало; князя совсем позабыла. Только вижу я: любил меня мальчишка, делом перестал заниматься, тоскует. Какие же глупые дети мы были тогда! Желается сказать о своей любви, и видим мы это друг в друге, а не говорим. Долго так тянулось. Читает он, бывало, мне что-нибудь, долго читает, забудется и примется смотреть на меня, – я тоже смотрю на него, – и сидим так, пока не опомнимся, а опомнимся, стыдно, стыдно нам станет!.. В жизни у меня только это одно счастье и было. Больше бы

хотелось, Сизой, да взять негде. Давай утешимся! Идет?

– Идет! – отвечал я, догадавшись, в чем дело, и мы еще выпили. – Как же ты покончила с гимназистом?

– Как покончила? Просто: новыми слезами покончила, новыми страданиями. Вечером сидим мы с ним и так-то горячо, с такою-то лаской читает он мне:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...{199}*

Прочитал он мне это и стал говорить о снисхождении и о прощении тем, кто пал, и что какая великая заслуга поставить блудного на путь истинный, а сам все ближе ко мне. Я тоже не сторонюсь, потому что как в раю была я от этих стихов:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.*

И думаю я себе, что вот он-то и позовет меня в свой дом, и млею, и уже не отвертываюсь от него...

Ну, и позвал он меня. Обняла я его, прижалась к нему и говорю:

– Ведь вы знаете, какая я?

– Что ж такое? – говорит. – За это я еще больше люблю тебя.

– Выпьем еще, Сизой, потому что порешили мы тут с гимназистиком пожениться. Зато, как узнал об этом решении его отец, нарочно притащился из глуши из своей в Москву и отнял его от меня; говорит старый плут: «Я вам, говорит вместо свадьбы-то такие-то поронцы {200} устрою жаркие! Тебя собственными руками, а к ней в квартале солдаты руки приложат...» Было мне муки тут, друг мой!.. Один раз в жизни на человека, надобно думать, такая скорбь посылается... Я и теперь еще его не забыла: как о чем задумаюсь, сама не чувствуя, шепчу:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...*

Познакомилась я после того с различными добрыми душами – и запила... Встретилась я с одним человеком. Он дал мне квартиру. Видела, что он ужасно ко мне привязался. У него-то я и лизнула этого вашего развития да образования, – будь оно проклято!..

Очень он пристально со мной занимался, читать по-французски учил. Только чем же все кончилось? Привязалась и я к нему и поняла, в чем дело. Это был герой нашего времени: все бы ему делать добро, да силы нет. Раскусила я это, и стало жалко мне его, слабого, и оттого я больше привязалась к нему. Живу я с ним год, другой живу, вдруг он, здорово живешь, пить начинает, как сапожник какой. Убежала я от него. Пойми ты: наострил он меня настолько, что поняла я, отчего он стал пить. Стал скучать со мной, навела я на него хандру, да и обстоятельства его такие были, что я ему карьеру портила. Я и убежала от него... Хуже, думаю, как не трезвый, так пьяный к черту пошлет меня сам. Чего ж дожидаться-то? Лучше его избавить от пошлости от такой. В благодарность за нравственное добро, которое он сделал мне, я избавила его от тяжелой необходимости... Кажется, мы с ним квиты. Но странно, знаешь, что ни одного из *этих* никогда я не встречала. Выпьем, Жан, за упокой, коли они все умерли, – за здоровье, коли живы!

– Выпьем, Саша! Я главным образом люб-

лю тебя за то, что ты умеешь находить резоны, подвигающие на выпивку. Без того бы со-
вестно было так много пить.

– Очень рада, что угодила. Теперь мы бу-
дем с тобой больше пить: устала я говорить,
да и говорить не об чем... Кого я потом ни
встречала и с кем ни сходилась, с тем, ты так
и знай, я уж непременно подралась. Оттого и
хочу исправиться, – закончила она, наливая
рюмку.

Вдруг неизвестная женщина, молодая еще,
с криком вламывается в комнату и бросается
на икающего ундера. Вместе со стулом повер-
гает она его на пол и без церемоний начинает
таскать за волосы.

Хозяин и гости пытаются отбить у ней ун-
дера.

– За что ты его? – спрашивает хозяин. – Что
ты это? Что ты делаешь?

– А ты что делаешь? – азартно осведомля-
ется женщина. – Затянул в свою берлогу мо-
локососа, да на своей подлой сестре женить
его хочешь? Пока жива буду, вот вам что!..

И к самому носу будочника подносит она
кулак свой. Саша равнодушно смотрела на

эту сцену и улыбалась.

– Чему смеешься-то, паскудница? – заорала на нее незваная гостья. – Ах ты, подлянка! Чужих любовников отбивать вздумала. Не по носу табак: хрящ переест.

– Что ж ты не пьешь, Сизой? – сказала мне Саша, – Пей, пожалуйста. Черт знает как скучно!

– Ты не ругайся, матушка! – посоветовал бабе бравый фельдфебель. – Видишь: здесь барин сидит.



Большой Смоленский трактир. И. А. Зверева. Фотография начала XX в. Частный архив

И он указал на меня.

– Черт с вами, с подлыми, и с барином совсем! – еще громче кричала бабенка. – Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница! – тащила она ундера. – Я тебе задам жару. Будешь ты у меня свататься шляться!

– Говор-рри пош-шительней! – бурчал ундер. – Я твой нач-чальник.

– Ух ты, рожа дурацкая! – бесчестила его попечительница. – Вишь начальник какой нашелся!

И она заехала его по физиономии.

– Вишь какая проворная! – толковала публика про неизвестную бабу после ее ухода.

– Напрасно я тютю ей вот этой не поднес, – печалился фельдфебель, показывая кулак. – Ей бы ничего: на здоровье пошло бы...

– Истинно, что напрасно, – согласился хозяин.

– Ну, что, Саша? – спрашивал я. – Улетело твое счастье, что ты сейчас мне рисовала. Нужно тебе другого ундера искать, а то ты, пожалуй, так никогда и не исправишься.

– Черт с ним, с этим счастьем! – с досадой и отрывисто ответила она. – Неужели ты не по-

нял, что братнины хлопоты о моей, как он называет, пристройке забавляют меня? Мое счастье во мне, Jean! Мне бы только крошечку поумнеть, да злиться перестать понапрасну, да на месяц лаять перестать: вот я тогда и счастлива буду... Пока придет это время, мы с тобой выпьем: веселей ждать...

– И я с вами! – ловко подскочил к нам на каблуках фельдфебель.

– Милости просим! – ответила ему Саша.

– Милости прошу ко мне в гости, заискивающим тоном приглашал нас фельдфебель. – А ежели, может, насчет жены сомневаетесь – вздор!.. Когда она грубость какую скажет, я ей, Христос свидетель, рот передерну... Шуметь я с ней не буду тогда, – добавил он с громким смехом. – У меня ежели ты супруга, так ты меня спокой, потому на меня не налетай... Мы и без супруг на своем веку довольно много всякой коки с соком накушались! Ха-ха-ха!.. А то супр-руг-га!..

Очень поздно я вышел от именинника.

Девственная улица была совершенно пуста, и молчание самое невозмутимое угрюмо в ней царствовало. Вся заваленная страшны-

ми снежными сугробами, она представляла до того бездушную картину, что яркий свет молодого месяца нисколько не оживлял ее. Не было ни извозчиков, как в других улицах, ни просто людей. Ворота везде заперты тяжелыми замками, оконные ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми железными болтами.

Я очень хорошо знал, что тишина эта только кажущаяся, что не в одном только доме, откуда я вышел сейчас, кипит в настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселые или печальные сцены. Оттого мне и казалось весьма странным, что ни разу не удалось мне подметить ни одного проявления этой жизни ни на улице, ни в нескромных окошках. Думаю я: ведь непременно же в одном из этих домов, сейчас же, может быть, попечительница икающего ундера бьет и ругает его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улице, ни одной живой души в ней не вижу. Мне даже стало досадно оттого, что я не мог разрешить себе этих вопросов.

«Кто не имеет тени, тот не должен выхо-

дить на солнце», – случайно попало мне на язык.

Иду я и бессознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля, о котором сказал еще Шамиссо{201}, как вдруг заметил я, что от низеньких домов девственной улицы падают на снежную дорогу громадные тени. Я остановился и осмотрелся. Моя тень оказалась мне в пять раз больше обыкновенной тени, от меня отражающейся. «Вот странность! – подумал я про себя. – Отчего это у меня такая длинная тень?» Показалось мне в это время, что уличный фонарь, прикрепленный к столбу, как-то иронически посматривает на меня. Подошел я к нему близко, осмотрел я его со всех сторон, и действительно, невинный висельник смотрел на меня необыкновенно насмешливо. Подперся он в бок железным локотком и, каждую секунду подмаргивая мне своим огненным глазом, так и покатывается со смеха.

– Чему ты смеешься? – строго спросил я его. – Можешь ли ты смеяться в такое позднее время?

– Могу, могу, – отвечает он.

– Нет, не можешь! Ты светить должен, а не смеяться.

– Я смеюсь и свечу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тень.

– Вижу. Ну, что же?

– А моя, посмотри, длинна ведь?

Я взглянул и на его тень. Боже! она невиданным змеем каким-то растянулась вкось улицы, пробежала через соседнюю широкую площадь и скрылась из глаз моих во мраке уж другой части города.

Изумление мое возросло в высшей степени, тем более что тень фонаря не лежала как бы следовало, позади столба, а с непостижимым нахальством выпячивалась вперед. Фонарь больше и больше издевался надо мной.

– Отчего это? – допытывался я у фонаря.

– Так! – отвечал он, продолжая хохотать.

– Не может быть, чтобы так. Ты наверно знаешь, только не хочешь сказать. Ежели бы ты не знал, – усовецивал я его, – ты бы не смеялся.

– Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. В Газетном переулке, где я прежде

стоял, тени у всех были обыкновенные, а здесь видишь какие? Кто только проходит по этим местам, особенно ночью, все меня спрашивают, отчего это? Я этому и смеюсь.

– Будто уж все? – спросил я.

Обиженный отошел я от него, справедливо воображая, что он знает гораздо больше того, нежели сказал мне.

– Не может быть, – думаю я про себя, – чтоб обитатели девственной улицы все имели такие длинные и более обыкновенного черные тени, как у меня и фонаря.

– У всех до одного такие! – крикнул мне издали фонарь тонкой фистулой.

– Врешь! – ору я ему басом.

– У всех, у всех! – снова донеслась ко мне фистула.

– Врр-решь! – изо всех легких трублю я в ответ, и сам остаюсь необыкновенно доволен, что бас мой звонко раскатился по сонной улице.

Согласным хором ответили мне обывательские собаки, пробужденные моим криком.

– Сейчас издохнуть, ежели вру! – донельзя

убедительно прозвенел фонарь тонким голоском.

– А ежели ты не врешь, так я знаю теперь, отчего все вы сидите за дверьми дубовыми, за замками железными, – именно оттого, что у всех вас здесь тени очень длинные, – бормочу я. – А кто имеет длинную тень, тому нужно дома сидеть, пародирую я Шамиссо.

– Обстоятельней докладывай! – прохрипел чей-то знакомый голос.

Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь догадаться, кому принадлежит этот голос.

– Говор-ри деликатней: я – твой начальник!

Тут я догадался, что это икающий ундер. Сильный морозный ветер подул мне в лицо, и к первой догадке моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьян. Только что пришел я к этому выводу, как, к крайнему моему удивлению, тень моя значительно уменьшилась...

Снова донесся до меня тонкий, насмешливый хохот фонаря; но голова моя была уж настолько свежа, что я теперь не обиделся на

ЭТОТ ХОХОТ.

– Вздор! – рассуждал я. – Это только так чудится мне.

Я перешел широкую площадь и повернул в другую, людную улицу. Повстречался со мной какой-то барин в истерзанном пальто. Он спотыкался на каждом шагу, очевидно, направляясь в девственную улицу.

– Ежели они опять спрашивать станут, – бурлил он, – отчего я пью, не буду разговаривать с ними: прямо в зубы заеду...

Длинная тень бежала за истерзанным пальто...

«Вот это действительность!» – подумал я.

Над самым моим ухом сторож затрещал в трещотку; посередине улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями; где-то гудели часы.

«И это действительность», – продолжал я пробовать свежесть моей головы.

– Ваше сиятельство! Что же на рысачке-то обещались прокатиться! – говорил совершенно незнакомый извозчик. – Полтинничек бы прокатали, ваше сиятельство. – Ах! хорошо бы мне ночным-то делом на полтинничек съездить! Пра-а-ва!

Я совсем отрезвел, потому что мне предстояла длинная дорога до квартиры пешком, ибо полтинника, который бы мог, по мнимому обещанию, прокатать на рысачке, ни в кармане, ни дома у меня не оказывалось.

– И это действительность! – сказал я вслух и бодро принялся гранить замерзшую мостовую.

Извозчик, обманутый в своих ожиданиях, загнул мне вслед неласковое слово. Мне почему-то стало веселее от этого слова.

Московская тайна

I

На Спасских воротах бьет двенадцать часов Московского, следовательно, раннего летнего утра. Бой часов, впрочем, поглощается громом экипажей, криками кучеров и вообще шумным смятением той столичной деятельности, от которой невыносимо страдает голова, сама не привыкшая ежедневно толочься в этой безудержной толчее такого множества разносортных, разнокалиберных физиономий с крайне интересными оттенками многообразной суеты, манящей их, как сказано Островским^{202}, куда-то и зачем-то, под предлогом обделывания самых безотлагательных дел.

Острая, едкая пыль облаками летает в раскаленном воздухе, белыми тучами спускается на тощие деревья московских бульваров, воровски прокрадывается в окна домов, плотно, по-видимому, закрытые непроницаемыми шторами, и, толстыми слоями улегшись на

каменных тротуарах, служит для пешеходов каким-то громадным полотном, по которому, самым понятным для наблюдательного глаза образом, выводится бесчисленное множество узорчатых иероглифов о людской суете, и звенящими саблями военных, и глухо стучающими по тротуарным столбам палками мирных граждан, и хотя до невероятия широчайшие кринолины дам более или менее сметают иероглифы, но все-таки их еще остается настолько, чтобы можно было без особенного затруднения прочитать главную тему, изображаемую ими, что дескать: *vanitas vanitatum et omnia vanitas*{203}!..

Воскресенские ворота. Гравюра А. Е. Мартынова из «Русской старины» 1859 г. Государственная публичная историческая библиотека России

В это время всеобщих попыхов, в это время неизбежной надобности, представляющейся каждому пешеходу, раскрыть рот и бежать, сломя голову, расталкивая направо и налево ближних, взманенных своей собственной суетой, бежать и смачивать влагой, в малом ко-



личестве сохранившеюся еще на языке, иссушенные палящим солнцем губы, – в это, говорю, время серьезно и неторопливо, как и всякому бравому служивому надлежит, шел себе по одной из самых шумных московских улиц, заложив руки за спину, отставной надворный советник и ордена Св. Станислава третьей степени кавалер, Петр Феофилактович Зуйченко, вчера только приехавший из тех бла-

гословенных стран, которые некий мой приятель называет одним именем: *из-под Пилтавы*{204}.

Я не буду рисовать вам характера моего героя, потому что настоящий очерк пишется собственно с целью подражания *«Парижским тайнам»*{205}, где, как всякому, кроме, впрочем, наших уездных барышень, известно, рассказывается только, как принц Рудольф Герольштейн{206} разыскивал по Парижу красивых, но опаленных безжалостным солнцем камелий и возвращал их к прежней цветущей жизни, посредством безалаберного осыпания немецким золотом. Известно всякому, как осыпание золотом подействовало, например, на мосье Шуринера{207} и его злоехидную Сову, как известно и то, что, кроме этих рассказней о подвигах принца, особенной верной рисовки характеров в *«Парижских тайнах»* не имеется, хотя уездные барышни в этом случае и разногласят со мной. Они, сказать в скобках, и прочитав сию многозначитную сказку, непременно начинают думать, что вот-вот в какой-нибудь Глупов{208} затешется знаменитый иностранец со своими

неистоцимыми богатствами для того собственно, чтобы бедные, но благородные приказницы безотлагательно могли выполнить влечения своих нежных сердец, стремящихся к законному вступлению в брак с гарнизонными офицерами, которые в свою очередь – чер-ррт меня с-совсем побер-ри! – постоянно шатаюсь и тяжело вздыхая под окнами оных приказниц, от законного брака, однако, весьма пугливо ретируются, ибо-де им – канал-льство! – кар-рьер нужно сделать: с купчихи какой-нибудь, для обеспечения, военному человеку необходимого, тысяч десять или даже двадцать не мешало бы сколотить!

Но какого черта будет делать в Глупове принц фон Герольштейн! Если бы даже он и сделал Глупову честь своим посещением, – даю честное слово, он скоро бы уехал оттуда в какое-нибудь другое место, потому что глуповцы, как мне известно, ничем теперь не занимаются, как только взаимным оплевыванием по рецепту господина Щедрина. Следовательно, мое мнение относительно того, что в «*Парижских тайнах*» есть рассказ про подвиги каких-то кукол, в которые с таким удо-

вольствием играют наши уездные Марии, и нет рассказа про людей действительных, — верно. Теперь ненатурально ли с моей стороны будет, ежели я, для вящего и успешнейшего подражания Эжену Сю{209}, не стану рисовать надворного советника Зуйченко как действительного человека *из-под Пилтавы*, а просто расскажу об его необыкновенных московских подвигах, до того необыкновенных, что в них, как и в подвиги Рудольштейна, пожалуй, никто не уверует, кроме уездных барышень.

Итак, из того благодатного края, где в ожидающем изобилии растут пузатые кавуны и цветут дули, груши и сливы, т. е. из Хохландии{210}, Петр Феофилактович в первый раз приехал в Первопрестольную столицу. Все те уличные предметы, мимо которых мы с вами, читатель, как истинно цивилизованные столичные джентльмены, прошли бы, так сказать, не пошевелив даже особенно сдвинутыми бровями, в высшей степени привлекают любознательное внимание господина надворного советника Зуйченко.

С завидной способностью степного орла,

который прямо и долго смотрится в ясное солнце, Петр Феофилактович впивается своими любопытными глазами в громадный купол храма Христа Спасителя, который льет от себя целое море ослепляющих золотых лучей. Смотрится в это светлое море Петр Феофилактович до того задумчиво и сосредоточенно, что те пронзительные крики, которыми молодые шалуны-разносчики, для ради шутки, думали развлечь зазевавшегося барина, те в состоянии потрясти гору в ее основаниях, озлобленные тычки, которыми деловые, с быстротой молнии стремящиеся куда-то, люди обыкновенно сталкивают со своей дороги праздных зевак, едва-едва могли вывести его из задумчивого до столбняка созерцания московской святыни.

Идет Петр Феофилактович, а широкие картины широкой столицы переливающимися волнами хлещут ему в глаза, привыкшие видеть однообразный зеленый фон степной растительности; непрерывное гудение бегущей, кричащей, скачущей жизни бьет ему в уши. На лице его ясно написано ошеломляющее впечатление, которым непременно поражает

всякого приезжего степняка громадное столичное целое.

Очевидно было, что это целое охватило все его существование до такой степени, что отдельные частности его, как бы маленькие придорожные птички, неуловимо быстро мелькали перед его глазами таким же сбивающим с толку полетом, каким в поле роятся оживленные черные точки предрассветного мрака; роились они перед Петром Феофилактовичем и не давали ему возможности сообразить, какие именно звуки из этого громко хаотического жужжания всего более терзают его уши, какие именно лица из всей толпы, неутомимо снующей перед ним и за ним, особенно поражают его.

– Как пройти к Иверской Божией Матери {211}? – осведомляется наконец Петр Феофилактович у серого воина, важно стоящего на углу улицы.

– Направо отсюда, потом налево по Тверской, с Тверской направо и прямо, – отвечает серый воин.

– А я-то на что, ваше превосходительство? – суетливо спрашивает Петра Феофи-

лактовича близстоящий извозчик. – Разбодрил бы я для вашего сиятельства своего жеребца: живо бы к месту доставил! – обещает он, проворно загораживая Петру Феофилактовичу дорогу своим калибером.

Но его сиятельство обходит калибер и направляется направо, по рецепту серого воина.

– Экой черт толстый! Двугривенного пожалел, скупердяй эдакой! Небось вспаришься, когда дороги-то сам не знаешь.

Петр Феофилактович, неизменно привыкший видеть в Хохландии удовлетворяющее самые пылкие ожидания почтение к своей солидной фигуре с эмалевой кокардой на лбу, строго наморщивается и храбро идет на извозчика с целью проучить грубияна; но грубиян хлещет вожжами по костистым бокам своей клячи и, мгновенно скрываясь в ближний переулок, орет во все горло:

– Пробежись-ка за мной, медведь! Промни бока-то!

Извозчики, стоящие на углу, поощряют рацию своего благоприятеля до безобразия веселым хохотом.

– Скоты! – шепчет покрасневший, как рак,

Петр Феофилактович и скорым маршем идет отыскивать часовню Иверской Божией Матери.

Неотступно преследуя Петра Феофилактовича, я имел случай видеть, как благоговейно простирался он ниц на каменном помосте часовни, как становил местным иконам толстые свечи, как обделял заранее приготовленными копейками целую армию нищих, стремительно окружившую его при выходе из часовни. Одним словом, по порядку и без поразительных скачков, Петр Феофилактович проходил все те фазы столичной жизни, которые неминуемо должен пройти всякий провинциал, посещающий столицу в первый раз. Я видел, как он искренно прослезился и дал серебряный гривенник «обыкновенному» человеку Иверских ворот, когда обыкновенный человек подкатил к нему своей франтовитой военной побезжкой и, изгибаясь змеем, понес ему свою обыкновенную, тысячу раз каждый день повторяемую, исповедь:

– Бедный офицер! жертва злобной судьбы! Голодное семейство, больная жена, умирающие дети! М-с-вый г-с-дарь! страждущее чело-

вечество взывает о помощи! Бог за все запла-
тит сторицей. Мерси боку!



Немецкий рынок в Москве. Открытка на-
чала XX в. Частная коллекция

Видел я, как долго не сходила слеза с лица Петра Феофилактовича, когда он пристально смотрел вслед обыкновенному человеку, который полным галопом потащил добытый гривенник в полпивную, где сосредоточивались все жизненные надежды его, т. е. больная жена и умирающие дети.

Наконец Петр Феофилактович вытаскивает серебряную луковицу{212} – наследие

предков, смотрит на нее и отправляется в ближайший трактир, не столько с целью за-морения червячка, сколько для прибли-зительного сравнения чужеземных ресторанов с *Горот'ами*, *Париж'ами* и *Аршавами*{213}, благополучно процветающими на его благо-словенной родине. И вот три рюмки выпиты Петром Феофилактовичем с обычным при-крехтом, вылетевшим, так сказать, из всего живота, бифштекс съеден дотла, тарелка ак-куратно вычищена оставшимся хлебом, и я имею удовольствие видеть, как до сих пор озабоченное лицо моего героя расцветивает-ся приятной улыбкой, ибо «*Ведомости Мос-ковской городской полиции*»{214} почтитель-но докладывают ему следующее: «Приехав-ший из Риги действительный статский совет-ник Штруль, из Хохландии надворный совет-ник Зуйченко» et cetera{215}, не так уже зани-мательные.

Красивый молодой человек в самом злоб-ном пиджаке, завитой и раздушенный, в ла-зурных, как небо, перчатках, султаном разва-лившись на соседней кушетке, одной рукой грациозно шалит своей изящной часовой це-

почкой, конечно, золотой. Не нарушая ни- сколько приятного впечатления, которое непременно должны производить на всякого его приятные эволюции, он в то же время наблюдательно посматривает на Петра Феофилактовича и даже как будто соображает, что именно знаменует его приятная улыбка. Наконец он берет со своего стола номер какой-то газеты и элегантно шагнул человека, налощившего в своей жизни не один паркет, подходит к углубившемуся в чтение о приезжающих Петру Феофилактовичу.

– Прошу извинить! – говорит ему молодой нобль самым симпатическим голосом, делая в высшей степени фешенебельный поклон. – Сколько я вижу, вы изволили до конца прочитать вашу газету, – не угодно ли вам поменяться на мою?

Петр Феофилактович вскакивает со стула и своим поклоном и шарканьем старается изобразить нечто подобное поклону и шарканью деликатного незнакомца.

– Покорно благодарю! – лепечет он ни к селу ни к городу. – Сочту за честь! Извольте.

И при этом, когда он подавал франту «Ве-

домости», я видел, как лицо его девственно краснело, а руки пугливо дрожали.

– Очень вам благодарен! – отвечает прекрасный незнакомец. – Прошу о продолжении вашего интересного знакомства. Барон Гюббель к вашим услугам! – рекомендуется он, присаживаясь к столу Петра Феофилактовича.

– Государя моего надворный советник и ордена Св. Станислава третьей степени кавалер, Петр Феофилактович, сын Зуйченко! – важно и торжественно называет в свою очередь себя Петр Феофилактович.

– Ах, Боже мой! – радостно восклицает барон, – так вы отец ротмистра Зуйченко, моего лучшего друга?.. Я с ним в одном полку служил. Позвольте обнять вас.

– Не имею, государь мой, детей мужского пола ни единого даже. Было две дочери у меня: Митродора и Степанида, но и тех, по благой Промысла воле, в цветущих летах схоронил.

– Ах, Боже мой! – снова молится лучший друг ротмистра Зуйченко, – скажите, какое несчастье!

– Истинно несчастье, государь мой, ибо на старости лет не имею существа, руку помощи мне подать могущего.

– Ах, какое несчастье! Какое несчастье! – самым скорбящим тоном растягивает чувствительный барон фон Гюббель.

– Бог даде, Бог и отъя! – сказано в книге Иова Многострадательного. Его святая воля над нами! Никогда мы ее не преждем, слабыми и ограниченными существами в своем естестве будучи.

Барон жалостно оперся локтем одной руки о стол, а другой драматически взъерошивал свои завитые волосы.

– Истинную правду вы изрекли, Петр Феофилактович, – сказал он с глубоким вздохом. – Слабы и смертны мы все.

Настала продолжительная пауза. Барон закрыл лицо своими лазурными перчатками и, судя по его последней фразе, раздумывал, должно быть, о слабости и смертности человеческой, а Петр Феофилактович, болезненно моргая своими слезящимися глазами, и на него, и на все окружавшее смотрел так внимательно, как будто отыскивал в трактирной

толпе человека, который бы после ранней смерти дочерей его, Митродоры и Степаниды, мог достойным образом подать ему на старости лет руку помощи.

– Да! – как бы спросонья вдруг воскликнул барон, азартно пожимая руку своего нового друга, – вы истинный философ! Я уважаю и должным образом ценю ваши благородные правила. Бог даде, Бог и отъя! – вот наше единственное утешение и подпора во всех ударах судьбы. Прошу вас, достойный Петр Феофилактович, сделать мне честь откусать со мной.

Петр Феофилактович выросал в своих собственных глазах. Первый шаг, который он сделал в столице, привел его к знакомству с человеком, фамилия которого магически подействовала на него, обывателя *из-нид Пилтавы*. В его голове зароились разные счастливые предположения, которые основывались на аристократическом знакомстве с высокородным бароном. «Кто знает, – думает про себя Петр Феофилактович, – может быть, барон, по великому знакомству своему с разными высокими сановниками, местечко мне схло-

почет какое-нибудь?»

– Государь мой! – отвечал он барону, парадно поднимаясь со своих кресел, – в особенную честь и таковое же удовольствие разделить с вами трапезу вменяю себе.

Высокородный фон Гюббель в ответ на эту рацею отлил и свою пулю не менее круглого и удовлетворительного свойства.

– Моей неопытной юности приятно воспользоваться мудрыми правилами такого благоразумного и искусившегося в жизни мужа, как вы, – говорил барон, совершенно по-детски выпучив свои глаза на мудреца *из-под Пилтавы*.

Таким образом, после всех этих фраз, доказывающих отличное знакомство обоих собеседников с любезной книжицей «*О прикладах, како пишутся кумплименты разные*» {216}, барон заказал обед с такими неестественными блюдами, к которым Петр Феофилактович не знал как и приступить. При каждом появлении новых тарелок он мучительно ломал голову, придумывая, что бы такое спросить у своего юного друга с формально дипломатической целью отдалить жгучую минуту

прикосновения к блюду до тех пор, пока благородный собеседник его собственным примером не покажет ему, при помощи какого столового орудия нужно прикасаться к этому блюду.

Барон не скупился на уроки. Он ясно видел плебейскую хитрость Петра Феофилактовича и грациозно действовал в его назидание ложкой, ножом и вилкой. Петр Феофилактович без шуток засматривался на те поистине восхитительные приемы, с которыми барон обращался с замысловатым обедом, так что, по моему крайнему разумению, приемы эти в тысячу раз были восхитительнее приемов, отличавших некогда усопших предков барона в то время, когда они, конные и пешие, ручным и дальним боем защищали честь и имущество знаменитейшей, по их мнению, фамилии баронов фон Гюббель, непобедимых рыцарей безукоризненного герба кабаньей головой в грязной луже с золотой подписью полатыни: *Asinus asinum fricat*{217}.

Но всякому времени свое. Известно, что наше поколение против прежнего обмелело, поэтому и неудивительно, что в старину гра-

циозно пили и грациозно давали в зубы; неудивительно и то, что ныне грациозно пьют и не имеют силенки, хоть бы и без особенной грации заехать в физику; следовательно, если бы дело шло о правильном определении, когда было лучше на свете, теперь или в старину, я бы без затруднения ответил, что и в старину, и теперь. Но ведь всякий, кто только прочитает эти строки, без сомнения, настолько грамотен, что непременно увидит, что я, так сказать, зарапортовался и что только та необыкновенная гибкость, с какой я владею словом, помогла мне от старых времен, от гербов перейти к обеду, которым угощал Петра Феофилактовича обязательный барон фон Гюббель.

Итак, я очень рад, что разделался со старинными временами и продолжаю.

Портвейн и лафит{218}, ошеломившие своей дикой ценностью Петра Феофилактовича, развязали ему язык наконец, по крайней мере настолько, что он перестал в разговоре с бароном цитировать лучшие места из книги *«О прикладах, како пишутся кумплименты разные»*, и заговорил простой речью.

– Очень, очень рад я, барон (позвольте узнать ваше имя и отчество), что имел честь познакомиться с вами. Я приехал сюда по весьма для меня важному делу.

– Право? – спрашивает барон.

– Да, я теперь на вас как на каменную гору надеюсь. Вы мне, батюшка, Христа ради, помогите! Уж, пожалуйста, будьте отцом, заставьте за себя вечно Бога молить.

– Не просите вы меня, – умоляет в свою очередь барон, – все, что могу, я рад для вас сделать без всяких просьб.

– Будь благодетель! – фамильярничает с юношей Петр Феофилактович. – Эх! пуншику бы выпил теперь.

– Пуншу! – командует барон. – Какое же у вас дело в Москве?

– Да что, батюшка, место приехал искать. Знакомых, можете себе представить, во всей Москве ни комара, ни мухи.

И подъехать, то есть чтобы попросить там, кого следует, совсем не к кому.

– Ну, еще это беда не беда, – говорит барон, – с этим-то мы как-нибудь сладим. Какое же место вам нужно?

– Да хоть бы какое-нибудь дали, все бы всласть было! – острит Петр Феофилактович, смакуя другой стакан пунша. – Не до горячего нам, братец ты мой, лишь бы только роток попарить.

Барон снисходительно слушал разные дружелюбные эпитеты, которыми удостаивал его разгулявшийся Петр Феофилактович, думающий в это время о том, какой необыкновенно милый человек его новый знакомый.



Улица Покровка в Москве. Фотография начала XX в. Частный архив

«Что же такое? – думает он чуть не вслух. – Это ничего, что он аристократ. Я сам из обер-офицерских детей. Опять же я старик и на-дворный советник, а у него небось и первого чина еще нет. Усенки-то у него еще не выросли».

И ему начинает казаться, что барон непременно обидится на него, если он не станет об-ходиться с ним по-родительски.

– Напрасно ты, друг мой любезный, вином меня таким дорогим угощал. Я тебя давеча еще хотел побранить за это. Ты, милый, бере-ги денежку про черный день!.. – самым поуча-ющим тоном приказывал барону Петр Феофи-лактович.

– Что делать, Петр Феофилактович! При-вычка. Впрочем, очень вам благодарен, – от-вечал барон с приятной покорностью милого ребенка-ученика.

– Нужно бросать дурные привычки, дру-жок! Прикажи-ка, братец, мне еще стаканчик пуншику-то. А ежели ты меня для первого знакомства угостить хотел, я тебе вперед ска-зываю: не люблю я этих вин. Я матушку рос-сийскую люблю. Я за нее за матушку страдаю,

а люблю. За нее меня из службы новый губернатор вон вытурил. Как узнал, что я запиваю (я, братец ты мой, по году, по два не пью, да уж когда закучу, так чертям тошно! Ты не смотри, что я старик. Это ничего! Мне в это время удержу нет) – так как только он узнал, что я запиваю, и говорит: «Подавайте в отставку: вы пьяница». Я и вышел. Сначала я было не хотел выходить, а он и говорит мне: «Ну, так я сам вас выгоню». Они, новые-то, все такие!.. Черт с ними! Я пью, я и дело знаю. Опять же я редко пью...

У питейного дома. Рис. А. Агина. 1890-е гг.
Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

– Это ничего, Петр Феофилактович! – утешает барон. – У меня дядя есть князь. Он хоть и не служит теперь, но ему только слово стоит сказать, так вам какое угодно место дадут. Я к вам завтра приду и повезу вас к нему.

– Вот и отлично! Вот и молодец! – в необыкновенном восторге кричит Петр Феофилактович. – Дай я тебя поцелую за то, что ты нас, стариков, уважаешь. Че-ла-э-к! графин водки сюда. Выпьем с тобой, друг!



– Извините, Петр Феофилактович, не могу: после обеда не пью.

– Выпей, выпей, пожалуйста! Я тебя поцелую за это. Всю, всю, всю пей. Молодец! Эй ты, машинист! – обращается Петр Феофилактович к трактирному лакею. – Будет тебе чертовщину-то играть. Поставь русскую!..

Трактирная зала оглашается разухабистой «Вдоль да по речке, вдоль по Казанке»{219}.

Петр Феофилактович пускается в азартный пляс, а барон поставляет ему деликатно на вид, что это нехорошо.

– Молчи, молокосос! Разве не видишь, что я запил? Ты заезжай за мной завтра, а теперь мне удержу нет...

II

На другое утро Петр Феофилактович проснулся с больной головой. Голова решительно хотела у него лопнуть, потому что, не говоря уже про изящного барона фон Гюбеля и паров выпитого вчера вина, в ней роились густые толпы каких-то странных призраков, которых Петр Феофилактович видел как будто где-то и когда-то, но когда и где именно, он припомнить решительно не был в состоянии. Отдаленным, но тем не менее потрясающим громом в больной голове моего героя раздавался музыкальный гул трактирной машины, играющей *«Вдоль да по речке»*, – неясно припоминались какие-то новые знакомства с какими-то новыми людьми, обнимания и целования с ними, уверения этих людей во всегдашней и неизменной дружбе,

которую будто бы почувствовали они к Петру Феофилактовичу при первом взгляде на него. Припомнилась ему потом темная, темная ночь, суровые груды зданий, мрачно накрытые ею, лихая езда по каким-то улицам, кривым и длинным, услужливые извозчики, ярко освещенные подъезды каких-то домов, гром оркестров, какие-то воздушные, влекущие феи, какие-то люди разного звания, поющие под эти оркестры, любезничающие с этими феями, а наконец, во главе всей этой длинной шеренги воспоминаний, припоминался Петру Феофилактовичу сам Петр Феофилактович, буйный и кутящий до отрицания всякого, по его же словам, удержу.

– Господи! – наконец воскликнул он, – что же это я делаю? Старый я шут!.. Приехал за делом, да на первый же день и запьянствовал. А с хорошим было человеком познакомился: и место бы, может быть, он мне схлопотал. Теперь барон смотреть-то не станет на меня, на пьяного дурака.

Но слава и честь барону! Это был верный друг, добрый товарищ. По пословице, легок на помине, он, едва только Петр Феофилакто-

вич окончил свою против себя филиппику, весело влетел к нему в трехаршинный номер, заведываемый некоторой ярославской солдаткой Марфой, стремившейся главным образом к той цели, чтобы жильцы ее клеток величали ее не иначе, как мадамой, или по крайней мере Марфой Ивановной.

– Поздненько изволите вставать, Петр Феофилактович! Вас уже там невесты заждались... – шутит барон.

– О-ох, батюшка! Простите вы меня, Христа ради! Что я там набедокурил, хоть убейте меня сейчас, старого дурака, ничего не припомню, – умирающим голосом отзывается Петр Феофилактович.

– Что это вы, Петр Феофилактович? Как вам не стыдно извиняться передо мной! Велика беда покутить, когда хочется. Я вот молодой человек, да так иногда накуролесишь, что самому стыдно в зеркало на себя посмотреть. Быль молодцу не укор, Петр Феофилактович! А вы вот лучше всего поправляйтесь поскорее. Вечером нынче мы с вами к дядюшке отправимся. Я уж ему толковал об вас.

– О-о, Господи! – протягивает Петр Феофи-

лактович. – Чем мне только благодарить вас?

– Да вот когда-нибудь мы с вами в трактир отправимся, – хохочет барон, – так вы мне еще гопака{220} вашего протанцуете. Вот вам и благодарность вся. А вы это чудесно делаете:

*Черевикам, що купила,
Лыхо трепку задам{221}.*

И каблуками хлоп, хлоп... Чудо что такое! Истинно по-казацки.

– Не вспоминайте уж лучше! – стыдливо просит Петр Феофилактович, и в то же время, ободренный дружеским тоном барона, моментально распоряжается вызовом из темных пределов меблированных комнат некоторой кривой бабы для того собственно, чтоб она мгновенно летела в погреб за полштофом желудочной.

Совершая возложенную на нее экспедицию, кривая баба подала барону великолепный повод сравнить ее с несчастным сэром Джоном Франклином{222}, и хотя острога эта весьма мало подходит к моему рассказу, тем не менее я никак не могу умолчать про нее,

потому что все кривые бабы, прозябающие в меблированных комнатах, ни более ни менее как в некотором роде франклины. Смелость такого сравнения вас, может быть, очень удивит, но я желаю вам лучше удивляться смелости, с которой я сделал это сравнение, нежели собственным опытом испытать те горестные факты, которые у меня, жителя меблированных комнат, вынудили его. Мое отступление от рассказа, надеюсь, будет прощено мне, когда я скажу, чем именно я руковожусь в этом случае. Меня побуждает к отступлению высокогуманная цель: с одной стороны, прошуметь на всю Москву, что в наших комнатах *снебилью* процветает такое гнусное варварство, которое рано или поздно непременно умерщвляет всякого жильца, что кривые бабы, составляющие их прислугу, пропадают, как пропал сэр Джон Франклин, по целым дням, ежели вы будете иметь наивность послать их куда-нибудь на четверть часа. Покусывая их моим обличием, я, следовательно, с другой стороны, подвигаю кривых баб к более скорому и толковому исполнению их обязанностей, чему я, как плебс, обязанный жить

В комнатах *снебилью*, главным образом служу с детства и буду служить до самой могилы...



В трактире. Рисунок XIX в. Частная коллекция

– Где тебя черти носили? – азартно спрашивает Петр Феофилактович кривую бабу, когда она ставит на стол желудочную.

– Где носили, там теперь меня нет! – гневно отвечает баба.

– Ты у меня вперед скорее ходи, а то я тебе, вместо полтинника, какой ты с меня вчера содрала, шлык на сторону сворочу.

– Посклизнешься неравно на моем шлыку-то, нос разобьешь! – бормочет баба, благо-разумно, впрочем, направляясь к дверям.

– Ах ты, каналья эдакая! Да я тебя сейчас!.. Ты грубиянить еще тут вздумала! – кричит Петр Феофилактович, бросаясь вслед за ней, так сказать, с жаждой крови.

– Потише кричи: халат лопнет, – заканчивает баба, скрываясь в непроницаемом мраке длинного пахучего коридора, непрерывной принадлежности всех вообще комнат *снебилью*.

Петр Феофилактович, после трех рюмок настойки, едва-едва мог забыть оскорбление, нанесенное ему кривой бабой; барон хохотал во все горло, уверяя, что на эту дрянь не стоит обращать внимания, и убедительно предлагал ему исключительно заняться поправлением к вечеру своего здоровья, чтобы можно было достойным образом, не роняя себя лицом в грязь, представиться дядюшке-князю.

– А ну, как запах от этой штуки к вечеру-то не пройдет? – боязливо спрашивает Петр Феофилактович?

– Ничего! – успокаивает барон. – Он ведь

старикашка, и не услышит ничего. Только вот что я вам скажу, Петр Феофилактович. Любит дядя очень в карты играть, так вы, ежели он пригласит вас, от игры не отказывайтесь. А в случае, ежели проиграете, вот вам деньги, заплатите. Он это очень любит.

Петр Феофилактович в восторге от своего юного друга.

– Да к чему это вы, барон, мне деньги даете? Мне, право, совестно. Я, ежели проиграю, могу свои заплатить.

– До этого-то я вас не допущу – свои-то проигрывать. Не за тем я вас везу к князю. Другое дело, ежели вы у него что-нибудь выиграете, тогда так.

Последовала благородная борьба великодушных сердец, результатом которой было, что барон всучил-таки Петру Феофилактовичу довольно толстую пачку депозиток для игры со старикашкой-князем.

– Ну, так смотрите же, будьте готовы! – говорит барон. – Вечером я за вами заеду.

Действительно, этим же вечером Петр Феофилактович, предводимый милым бароном, с болезненно замирающим сердцем шагал по

широкой освещенной лестнице его сиятельства князя Рангоут-Брызгачева.

– Дядюшка! – рекомендует барон седому, величественной наружности, старику Петра Феофилактовича, – мой лучший друг Петр Феофилактович Зуйченко! Поручаю его, дядюшка, вашему доброму вниманию.

– Очень рад! – говорит князь тоном Юпитера-милостивца.

Затем Петру Феофилактовичу предстоит высокая честь усесться в креслах напротив высокого сановника, которому, по словам барона, стоит сказать одно только слово – и Петра Феофилактовича пошлют кормиться на какое угодно место.

Исполнивши процесс восседания с той ловкостью, которая так привлекательна в медведях и так смешна в людях, Петр Феофилактович находится вынужденным приставить свой носовой платок ко рту и несколько покашлять самым, впрочем, мягким, вызывающим на приятную беседу, кашлем.

Князь заводит с ним дружеский разговор, из которого Петр Феофилактович узнает, что предупредительный друг его барон насказал

о нем своему могучему дядюшке весьма много приятных вещей, успевших заранее приобрести ему все расположение благородного вельможи.

– Вы мне поскорее напишите подробную записку, как, где и чего вы желаете, – говорит князь. – Я скажу об вас моему кузену, князю Петру; он все сделает для вас.

Петр Феофилактович благоговейно кланяется сидящему перед ним идолу, а идол, молчаливо принимая от него эти поклонения, все в больший и больший священный трепет повергает душу поклонника своей торжественной, гордой осанкой.

– Вот это, Петр Феофилактович, – говорит барон, оттащивши его от князя, – важная особа, хоть и не аристократ. С Дибичем-покойником большие друзья были. Он у главнокомандующего всеми частными делами, как хотел, управлял. Теперь он преимущественно литературой занимается. Ум у него, скажу я вам, как у Вельзевула какого. Так и жжет. Весь аристократический свет его ужасно боится.

– Как же его фамилия? – спросил Петр Феофилактович, не без страха поглядывая на

старое, сторбленное существо, которое в буквальном смысле рассыпалось перед князем, заставляя его неистово хохотать.

– Едем мы, князь, – говорит старичишка, ужасающий аристократический свет, – по Категату. Только вдруг откуда ни возьмись крокодил, ширины, докладываю вам, по крайней мере, как наша Ходынка{223}, и при этом такой длинный, что например, стоя у его хвоста, вы никак бы не могли видеть его голову. Вдруг этот гигант берет наш пароход на спину и плывет вместе с нами. Можете себе представить, что мы были ни живы ни мертвы на спине этого шалуна. Наконец к вечеру мы освоились с нашим положением настолько, что общество, по моему предложению, сходило с парохода гулять по крокодилу. Как остров какой-нибудь, весь он лесом и камышами порос. Француз один ехал с нами, так тот несколько строфокамилов застрелил на нем. Ах, князь! если б вы только слышали, какие тут смелые предположения выводил я, откуда бы мог взяться на Категате крокодил со строфокамилами на спине.

– Вы вот небось думаете, старик дичь по-

рет, – говорит барон Петру Феофилактовичу. – Ничего не бывало! Это, изволите видеть, он на днях воротился из-за границы и теперь этой аллегорией непременно хочет выразить какое-нибудь политическое намерение какого-нибудь государства.

– Неужели? – спрашивает поработенный Петр Феофилактович.

– Верно, – отвечал барон.

Вечер для Петра Феофилактовича кончился интересным знакомством с Вельзевулом {224} и проигрышем князю довольно круглой суммы, которую он с важностью богатого собственника сейчас же и выложил на стол из пачки, данной ему предусмотревшим этот пассаж бароном.

Попал таким манером наш Петр Феофилактович в зять и возблаженствовал, потому что, ежели он проигрывал князю, за него платил барон, говоря, что он на чужой стороне, что ему нужно деньги беречь, как заезжему человеку; а ежели слепая фортуна подвозила Петру Феофилактовичу, он клал денежки в свой собственный карман, ибо рыцарь-барон никак не соглашался не только

брать их все, но даже и от половинной части постоянно отказывался.

– Ваше счастье, Петр Феофилактович, – говорил барон. – Старикашке-князю этого добра девать некуда, а вам при годится.

Петр Феофилактович благоразумно соглашался и добрым друзьям своим *из-под Пилтавы*, спрашивавшим у него, каково идут его дела, по почте отписывал, что делишки его, слава Богу, очень, очень хороши и что получение места почитай что совсем начеку.

Но всему бывает конец.

Одним прекрасным утром, когда, в некотором смысле, вся природа радовалась и ликовала, барон фон Гюббель в необыкновенной тревоге врывается к Петру Феофилактовичу, сладко мечтавшему в это время о месте старшего чиновника особых поручений в одной из хлебнейших губерний.

– Батюшка, Петр Феофилактович, спасите! – говорит барон, не то шутя, не то серьезно. – Старичишко-то мой беспутный что надедал вчера? Одному приехавшему помещику десять тысяч на честное слово до нынешнего дня пробухал. Четыре-то я достал кое-как (с

самого утра как угорелый мечусь по знакомым и как на грех ни одного шута дома не застанешь), а шести ближе недели нигде не добыть. Нет ли у вас свободных, Петр Феофилактович? Мы бы со старика проценты, какие угодно вам, счистили.

У Петра Феофилактовича было ровно шесть тысяч, нажитых им на различных должностях, отлично-ревностное исполнение которых сделало его надворным советником и ордена Св. Станислава третьей степени кавалером.

– Помилуйте, барон! Какие тут проценты, – говорит Петр Феофилактович. – За честь почту. Только зажился я очень у вас в Москве, скучно без дела мне, старику. Вы уж, пожалуйста, барон, попросите князя-то. Конечно, я это не к тому речь веду, чтобы т. е. того... вы извините... Я всегда с удовольствием... – лепетал Петр Феофилактович, направляясь к желтой пузатой шкатулке, которую он, по своей необразованности, всегда называл щекатункой.

– Я ему, старому, отдыха теперь насчет вашего места не дам. Я ему теперь все уши про-

жужжу, а то ведь он сопеть любит! – горячился барон.

Желтая шкатулка раскрыла свои вместительные недра. Петр Феофилактович, счастливый сознанием, что и он наконец делается полезен своему доброму другу, вынимает улежавшиеся пачки кредиток и вручает их барону. Барон уверяет его, что он через неделю привезет ему деньги не иначе, как с процентами, и после крепкого лобзания последним целованием оставляет Петра Феофилактовича на жертву ярославской солдатки – съемщицы меблированных комнат, претендующей на звание мадамы, и ее угрюмой сподручницы – кривой бабы.

«Виды нашей прислуги». Чистильщик обуви. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Сейчас сказал я «последним целованием» на том основании, что шеститысячным займом кончилось знакомство Петра Феофилактовича с интересным бароном фон Гюббелем.



После этой истории мы видим их совершенно на разных дорогах. Петр Феофилактович, очень долгое время озабоченной походкой человека, отыскивающего потерянное, каждый день подходит к великолепному подъезду князя Рангоут-Брызгачева, где на его смиренный звонок обыкновенно выскакивает серьезный швейцар с неизбежной фразой: «Его сиятельство изволили выехать», или: «Его си-

ательство не изволят принимать».

– А барон дома? – нерешительно спрашивает Петр Феофилактович.

– Я вам в прошлый раз докладывал, что барон изволили уехать за границу! – строго извещает швейцар и громко хлопает резной дверью подъезда.

Долго смотрел на эту историю соседский дворник, и вот однажды, отпустивши Петра Феофилактовича на некоторое расстояние от княжеского дома, он подбегает к нему и ведет такую речь:

– Напрасно, ваше благородие, вы ходите сюда. Здесь, судырь, страшные надувалы живут. Они себя князьями и графами величают, только все это они, мошенники, врут. Старик-от сам, который что князем себя называет, точно что дворянин, а около-то него такие, самые что ни есть сквозные, мошенники. К ним так-то иной день человек сто приходят звонить. Не вы одни...

Петр Феофилактович скоро покорился своей участи.

– Бог даде, Бог и отъя! – сказал он и смиренно стал у Иверских ворот в ряды обыкновенных

людей этих ворот, и порой вы можете видеть и слышать, как важно подходит он к какому-нибудь приходящему и с сознанием своего достоинства начинает говорить:

– Государь мой! помощью своей милостивой мошеннического и бесстыдного обмана жертву осчастливить соблаговолите.

А в другое время, ежели вам это нравится, полюбуйтесь на него в соседней полпивной, где он, блистая своими медными пуговицами на изношенном вицмундире, кутит на собранные гроши, так что ни содержатель полпивной, ни его прислуга, ни даже сам полицейский ундер не могут безнаказанно подступиться к надворному советнику и ордена Св. Станислава третьей степени кавалеру Петру Феофилактовичу Зуйченко.

Барон фон Гюббель, разнакомившись с Петром Феофилактовичем, не разнакомился, однако же, с нами. Мы и теперь не упускаем его из виду. По последним известиям из большого света – арены его подвигов, слышно, что князь Рангоут-Брызгачев, утомившись своей многотрудной деятельностью, ухитрился выйти в более светлое море других спекуля-

ций, на первый взгляд весьма честных и полезных, место же свое – атамана мошеннической шайки, передал своему юному другу, барону фон Гюббелю, который, впрочем, на самом деле есть не кто другой, как беспаспортный рижский мещанин Карл Гильз.

Есть надежда, что сей Карл, или Карлушка, достойным образом заместит князя Рангут-Брызгачева, ибо на официальном вечере, который князь давал всей своей шайке по случаю передачи им Карлуше своих атаманских регалий, последний сказал следующий назидательный спич:

«Господа! По-настоящему я должен был бы начать мою речь торжественной клятвой, что мой метод ведения наших общих дел будет такого, так сказать, беспромашного свойства, что никогда не затемнит блеска этих регалий, которые сделал мне честь передать мой уважаемый предшественник, князь Рангут-Брызгачев. Но я не начну моей речи такой клятвой, потому что, смею думать, и без моей клятвы все вы единодушно уверены, что промахов с моей стороны быть никогда не должно. Поэтому я вам скажу только то, что скажу.

Вам всем известно, что я очень и очень малограмотен, но во всяком случае, не настолько, чтоб отказаться от какой-нибудь сделки даже и по книжной торговле. На днях я так и поступил, т. е. не отказался от сделки, предложенной мне одним здешним книгопродавцем. Поясняя, в чем именно состояла эта сделка, я должен сказать вам, что я просто-напросто, по счастливому течению судеб, заграбастал у него книг рублей на тысячу. Но сила не в этом. В числе книг, подобранных мне благоприятствующей судьбой, было сотни три экземпляров сочинений какого-то господина Павлова. Несколько таких экземпляров, какие побольше поизмялись, я оставил себе собственно для ради домашнего обихода. Мучимый однажды бессонницей, я схватил первое, до чего с кровати могла достать рука моя, и достал повесть означенного Павлова, озаглавленную «Миллион»{225}. Там случайно дочитался я до такой великолепной мысли: «Я отдам на растерзание мое тело, я оскверню мою душу каким хотите пороком, я спою с кругу весь мир, я, пожалуй, пойду в герои добродетели, ежели это вам нравится, только запла-

тите мне». Отныне, господа, это мой девиз. Господа! заканчивая мою речь, я спрашиваю вас, справедливы ли после того все надежды, которые вам угодно было возложить на меня?»

Общество в полном энтузиазме. Общество поощряет громкими «ура» слова своего юного патрона; князь же, как истинно великий человек, подошедши к Карлуше, возлагает свою руку на его голову и произносит:

– Друг мой! Будь всегда таким. Смолоду я сам был такой же. А теперь устал, теперь хочу отдохнуть...

Нравы московских девственных улиц (писано, памятуя о погибшем друге)

I

Иван Сизой матушке Москве Белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здоровья желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.

Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, – это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то называл *девственными*, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразной бедностью.

Конечно, этого добра, т. е. бедности, нам не занимать стать, и, как я сказал уже, больше года шатаясь по деревням и селам, по городам и красным пригородам, я имел-таки немало случаев видеть голод и холод в мещанских хороминах, молчаливое и безустанно работа-

ющее уныние в мужицких избах; но это что же за бедность? Лица не московские, пораженные этой болезнью, не живые лица, а как бы каменные статуи, изображающие собой беспредельное горе, и я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинет меня своими впалыми, без малейшего признака слез, глазами. Плачу, говорю, и вместе с тем глубоко страдаю от той нравственной боли, которой всегда уязвляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные глаза имеют способность читать такого рода красноречивую вещь:

– Ты, брат, тово, не гляди лучше на меня, – мне и без тебя тошно. Мало ты мне, друг, утехи своим гляденьем даешь. Ты бы там иначе как-нибудь для меня порадел....

Всякий своей похотью влеком и прельщаем, следовательно, и я, как всякий, имею свою похоть, т. е. болею при виде бедности московской; ибо она молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатеет и хоть сколько-нибудь оживет. Напротив, бедность московских девственных улиц меня радует даже, потому что она рычит и щетинится, ко-

гда ей покажется не очень просторно и не очень сытно в ее темных и тесных берлогах, – в каковых движениях жизни я замечаю несомненные признаки того, что бедность эта скоро поправится и разбогатеет, хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы. Ну, да ничего! Нам и это на руку, потому что голодному рту не до горячего, – ему бы только мало-мальски чем-нибудь тепленьким пораспарить свое иссохшее нёбо...

II

В Москве у меня бездна литературных и университетских друзей, которые меня весьма терпят и у которых, следовательно, я удобно мог бы сложить свой страннический посох, но, послав их в душе моей к Богу в рай, я, по прибытии в Москву, направился прямо в девственную улицу, где жил мой старинный друг, старый отставной унтер-офицер, который был кум, т. е. у которого, благодарение Создателю, мне довелось привести «в крещеную веру» троих детей.

В девственной улице я не заметил ника-

кой перемены. В сравнении с другими столычными улицами она была тиха до мертвенности. Огни, светлевшиеся из окон ее маленьких деревянных домишек, были похожи на деревянные гнилушки, которые так уныло светятся ночью из-под печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня девственной улицы. Из ее тусклых окошек, освещенных каким-то красноватым светом, порой вырывались какие-то неясные звуки, по которым решительно нельзя было определить, поют ли там песни или плачут, – такие это были смешанные звуки. И временем, когда каким-нибудь гостем широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на своих заржавевших петлях, звуки делались слышнее, и тогда человек неопытный, случайно проходящий по девственной улице, непременно бы остановился против заведения и пугливо прислушался к этим звукам, потому что неопытному пешеходу в них бы слышалось слово: караул, – слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся из чьего-то горла, но остановленное на половине своего излета

и снова как бы впихнутое в это горло чьим-то лютым кулачищем.



Каланчевская улица. Фотография из альбома «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. 1884 г.». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России

Но я не считал этого звука за такой караул, ради которого следовало бы остановиться около харчевни, потому что мне коротко известны обычаи девственной улицы. Это был

просто крупный разговор, который вел закутивший мастеровой со своей благоверной, пришедшей с целью вытащить благоверного из заведения и отвести «на покой на фатеру» {226}.

– Пош-шол вон! – кричит на жену повелительным, горловым баритоном урезавший здоровую муху кутила. – Пош-шол вон! – повторяет он еще повелительнее, забывши в подпитии, что, ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтоб она не мешала молодецкому разверту, так нужно сказать ей во все не «пошел вон», а «пошла вон».

Затем начинались плаксивые тоны жены:

– Иван Прокофьич! Что же мы завтра есть станем?

– Об этом ты не горюй! Что об этом горевать – об еде-то?

Эх, ты бесстыдница! о чем нашла горевать – а? Гаврик! – обращается кутила к фамильярно улыбавшемуся половому, – о чем она, дурица, горюет-то? Об еде, ха-ха-ха-ха! Пош-шол вон! – и затем муж, как глава над своей женой, употребляет даже некоторую силу и пытается пропихнуть ее в скрипучую дверь

на тихую морозную улицу.

Итак, вы видите теперь, что серьезного караула в харчевне девственной улицы быть не может, потому что, в конце концов, ежели караул слышится иногда из окон, веселящих улицу своим красным и, примечено мной, как-то злобно и насмешливо моргающим светом, так вовсе нечего прислушиваться к нему, потому что все это ни более ни менее как «своя от своих»...

Историю эту, с целью получить в конце ее незловредный караул, можно продолжать таким образом:

– Остались ли деньги-то у тебя? Ай уж все пропил? – спрашивает жена, усевшись наконец с супругом за один стол около грязного, загаженного мухами, графинчика из толстого стекла с мутной водкой.

– Какие, черт, деньги? Пропивать-то мне нечего... Это уж я на сюртук валяю. Вот добрая душа, Гаврик, в двух серебра принял, а домой я и в твоём платке как-нибудь дотащусь.

Мастеровой слезливо начинает обыкновенный рассказ про то, как часто понесешь работу к барину и как, идучи к барину, рас-

суждаешь, что вот-де сейчас получу деньги, прямо на рынок, искуплю там говядины, сапожки, может, али штанишки какие-нибудь старенькие не попадутся ли, а там накуплю товару – и валяй опять за работу. Чудесно! знай денежки огребай. Рассуждаешь таким-то манером, а потом и не увидишь, как очутишься в кабаке.

– Он, говорит, барин-то, Иван Прокофьич! ты с меня деньги-то недельки две пообожди. Знаешь, говорит, за мной не пропадет. Я ему говорю: знаю, что не пропадут, только, ваше б-дие, мне деньги очень нужно. Сами изволите знать: жена, детей четверо...

– У меня, – говорит барин и смеется, – у меня, может, детей-то этих штук с сорок найдется, да ведь я ни к кому не пристаю. Приходи уж через неделю, что с тобой делать, а теперь мне некогда, прощай. С тем от него и ушел, – добавляет мастеровой, возвышая голос, – а от него, с великой злости, прямо в кабак, а из кабака сюда, потому, что же я завтра без денег стану делать?

После этого крикливого вопроса и начинается, что называется, самая катавасия, потому

что, кроме сюртука, принятого добродушным Гаврилой в двух рублях, чета начинает валить еще на три рубля, которые с большим удобством олицетворяет истасканный шерстяной салоп супруги.

– Видишь теперь, какая у меня супруга? – спрашивал мастеровой у полового, выставляя ему на вид собственно то обстоятельство, что супруга, с видимой охотой, куликнула двум рюмки залпом, как бы стараясь сразу сравняться со своей главой. – Сладость у меня супруга, стоворчивая. Она мне ни в чем никогда не перечит. Что я скажу, то и баста.

Супруга между тем не без грации закусила две рюмки солониной с солеными огурчиками, а супруг продолжает:

– Мы с ней двенадцать годов душа в душу живем! Гаврил! слушай, я тебе расскажу, как я женился на ней. Она в это время молодая была и из лица, не в пример теперешнего, красивее; а князь, у кого она в то время на содержании была, призывает меня и говорит: «Вот тебе, Иван Прокофьев, невеста! Ты, говорит, с ней не пропадешь, потому приданого за ней даю сто рублей, акромья, говорит, постели

и разных вещей...» Я ему и говорю: покорнейше благодарим, ваше сиятельство!

Сказал так-то и женился; а она, шельма этакая, целый год после законного брака шаталась к нему, к князишку-то своему. Вот она, Гаврил, какая изверг у меня! Ты, Гаврил, не гляди на нее, что она такой смиренной глядит. Шельма она у меня преестественная, Гаврил! Ты думаешь, милый человек, через кого я теперича погибаю – через нее, через анафему! Вот через кого! У! будь ты проклята! Возьму вот, да как начну по морде-то охаживать, так небось, забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти излияния, мялся на одном месте и насмешливо улыбался с видом человека, который, ежели бы не стеснялся своим лакейским положением, непременно сказал бы:

– Комиссии, право, эти женитьбы нашихские!.. Что криво да косо, то Кузьме-Демьяну... Всегда уж нашему брату-мастеровому, бедному человеку – такую-то сволочь подсунут, что целый век казнишься да страдаешь, глядя, как она кровные мужнины деньги, на офице-

ров прохожих любующись, на чаях да на кофях проживает!.. Идолы бабенки, а паче тот идол, кто их, тонкостям этим научимши, нашему брату на шею наваливает...



«Виды нашей прислуги». Половой в трактире. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Ты вот что, – отнеслась достаточно уже выпившая супруга к мужу, – ты поменьше болтай, а то ведь за болтанье-то вашего брата по щекам лупят...

– Ну, уж ты с этим делом, надо полагать, подождешь немного, по щекам-то. Право, подождешь! – сатирически предполагает муж, выпивая приличный чину и званию столичного башмачника стакашек.

– Нет, не подожду, – настаивает супруга, выпивая тоже приличный стакан. – Долго я тебя, пьяного дурака, не учила.

– Вряд ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорее поучу.

– Ну, уж это не хочешь ли вот чего? – осведомляется супруга, повертывая перед очами возлюбленного послунявленный кукиш.

– А ты не хочешь ли вот чего? – в свою очередь любопытствует супруг, ухватив супругу за жидкие космы.

Случайно отворенная в это время дверь заведения заскрипела на своих петлях и изнутри кабака вылетело женски-визгливое «Караул» и басовитые отрывистые слова: «Вот тебе,

пельма, вот тебе!» Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжным возгласом: «Ох! И комедианты же эти сапожник с сапожницей! Право, комедианты! Этак-то они у нас цепляются друг с дружкой каждый Божий вечер!..»

Но девственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась к ним, что даже тени внимания не пробудили они на ее безжизненно-молчаливом лице.

И кроме этой, другие, более крикливые, сцены разыгрывались на улице, но и они не делали ее веселее, потому что, против русского обыкновения, они не собирали около себя толпы проходящих зевак, дружный и шумливый говор которых уверил бы человека, в первый раз занесенного в этот край, в том, что край этот вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучим чародеем на вечный и беспробудный сон.

– Кар-р-раул! Кар-р-раул! – орет какой-то молодой голос в непроницаемой темноте уличного конца.

– Ты что же это? – спрашивает крикуна

хрипучий бас будочника. – Ты опять свои шуточки шутишь? Мало я тебе онамедни шею за них намылил? Ежели мало, так скажи, я тебе еще прибавлю.

– Дядюшка! да ведь скучно!.. День-то деньской сидючи за работой, чего не придумаешь?.. Выбежишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчас умереть, светлым раем тебе покажется, – ну, тогда ты не вытерпишь и в радости заорешь...

– То-то в радости! Гляди, ты у меня иным голосом, пожалуй, вскрикнешь, как вот ножами начну тебя по мягким-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-богу уймись.

– Не буду, дядюшка, однава дыхнуть, не буду, – с хохотом уверяет прежний голос, – только теперича в последний раз позволь...

– Ну, парень, придется мне, должно быть, с моего места встать... Разозлил ты меня, паренек! – И затем уличную тишину нарушает какое-то шуршание, словно бы какой одышливый и ленивый человек собирался в дальнюю путь-дорогу.

– Кар-р-раул! – снова из всех легких трубит паренек, захлебываясь от хохота. После этого

слышится легкое захлопывание калитки и шлепанье босых ног по оттеплевшему снегу.

– Экой парень-разбойник! Удрал уж... – говорит будочник, с прежним сопением и пыхтением усаживаясь на покинутое было пригретое место. – Кажинный день так-то он меня беспокоит...

Поравнялись со мной какие-то две, еще не очень пожилые, женщины, с вениками под мышками, с узелками в руках, с лицами, прорезывавшими даже ночной, ничем не освещаемый мрак девственной улицы алым румянцем, которым, как пожаром, освещались их пухлые щеки.

– Что же, хороша нонича фатера-то у тебя? – спрашивала одна подруга другую.

– Эдакая ли фатера чудесная – страсть! – отвечала подруга. – Мы ее онамедни{227} чудесно обновили. Пришел эфта в прошлое воскресенье *мой* (у меня ныне столяр), солдатика-приятеля привел. Пришодчи, как следует, поздравили с новосельем, водки полштоф солдатик-то из-за обшлага вытащил, я ему следку с лучком оборудовала. Полштоф выпили, другой послали; другой выпили – третий,

а там и за четвертым. И так-то, милая ты моя, все мы нарезались тогда, не роди мать на свет Божий! словно бы безумные толкались. Нарезамшись, мой-то и сцепился с солдатиком драться, – я сейчас же к своему на заступу пошла; а солдатик видит, что не совладать ему с нами, взял да у столяра ухо напрочь совсем с хрустом и оттяпал. Завизжал столяр так-то жалостно и кровища из него хлестала, аки бы из свиньи зарезанной, и дивись, милая, с другой фатеры, ежели не в нашей улице, так бы нашего брата за такую историю знаешь бы как в шею турнули, в три бы шеи турнули; а наш хозяин (благородный у нас хозяин-от!) хошь бы словечушка вымолвил. «Ничего, говорит, Господь с ними! На то, говорит, и праздник дан человеку».

– У нас, мать, по всей нашей улице хозяева все страсть как смирны, – подтвердила другая товарка. У меня тоже каждый праздник, почитай, и-их какие кровопролития сочиняют! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Азарны эти мужики.

– С ними поводишься только! Я уж, когда они

так-то сцепятся, прямо им сказываю: «Да ступайте на двор, лешаки, там, говорю, просторнее». Так-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккурат не на живот, а на смерть чешутся!..

– Это у них истинно, что каждое воскресенье творится неупустительно, – сказал мне вдруг вышедший из-за угла старик – мой кум, к которому я шел. Я тоже, признаться, поджидал его, потому что сам он, тоже неупустительно, возвращался в это самое время из кабака, в котором обыкновенно он проводил летние и зимние вечерки.

– Издали еще разглядел я тебя, – продолжал старик, обнимая меня. – Смотрю этта и думаю, а ведь это *куп* идет! – По вечерам, т. е. огорошив в кабаке полуштоф и туго набивши нос забористым зеленчаком, старик приобрел способность выговаривать буквы *м* и *н* как *п* и *б*, и потому в таких случаях он обыкновенно звал меня *куп*, а ежели в дальнейшем разговоре надобилось ему употребить слово небо, он просто-напросто, избегая греха сказать небо, указывал рукой в потолок, и все это понимали, как нельзя более хорошо.

– Откуда тебя бог принес? – спрашивал меня старина, видимо обрадованный. – Давно ли?

– Прямо с дороги и прямо к тебе, – ответил я.

– Вот за это люблю, что не забыл друга.

– Ну, что тут, как у вас? – любопытствовал я. – Новенького чего нет ли?

– Чему у нас новенькому быть? – спросил в свою очередь кум как бы с некоторым унынием. – Все у нас, друг милый, по-старому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь из одежды бы на угощение спустил...

– Есть, – утешил я старину, – и насчет одежды ты не беспокойся.

– То-то, ты гляди у меня: финтифлюшек-то, знаешь небось, не очень-то я люблю... – И потом, прихвативши в попутном кабаке некоторый штоф и в попутной лавочке два десятка соленых огурцов, мы с кумом благополучно спустились в его плачевный подвал.

Торговец галантерейными товарами. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция



Кумов подвал был разительно схож с самим кумом. Оба они представлялись наблюдающему глазу немывтыми и нечищенными от самого их сотворения.

И действительно: кума погладили один только раз во всю его семидесятилетнюю жизнь, и именно погладили в военной службе, и при всем том, что это глаженье уже известно какое бывало в старину, при всем том, что оно продолжалось не менее как тридцать годов, кум все-таки остался ничем более как саратовским мужиком, который хотя вволю насмотрелся разных людских хитростей, но из которых тем не менее сам он ни одной настолько не поинтересовался, чтоб изучить ее и в свою очередь повеселить ею добрых людей. Он даже не усвоил себе той кавалерской выправки, которая отличает всякого отставного солдата, и ежели у него и были длинные и густые черно-бурые усищи, так это были во все не те бравые, нафабранные, так называемые «разусы»{228}, которые так ухарски закорючены на смеющейся щеке разухабистого

военного детины, а усы дугой, строгие, молчаливые, хохлацкие, так сказать, усы.

Чуть ли еще не в год кумовой отставки пришли в Москву из глубины дмитровских дебрей толстые бревна, из которых на живую руку был сметан дом девственной улицы со своим подвалом, приютившим старика-солдата. И так как всякому известно, что каждый россиянин из самого отличного материала делает самые скверные вещи, то хозяин, сгубив столетнюю лесную красоту на построение своей безобразной домовины, глубоко задумался собственно над той мыслью, что в подвал-то, пожалуй, ни одного жильца не заманишь. Так поражены были даже невзыскательные глаза московского домохозяина неуклюжестью подвала и каким-то гневным унынием, воцарившимся в нем с первых дней его постройки...

Опечалился хозяин при взгляде на дело рук своих до того даже, что стал служить молебны об изгнании из хоромины некоего, как он говорил, «унывного» духа, нагонявшего на него оторопь; но, несмотря ни на что, дух, вероятно, в видах покарания хозяйского безоб-

разия, испортившего столько прекрасных деревьев, из хоромины не выходил. Слышали даже соседские кухарки и рассказывали об этом под секретом, что по ночам словно бы плачет кто в том подвале, шепчет что-то неразборчивое и временами, редко впрочем, хохочет чему-то...

Во время такого порядка вещей, когда хозяин окончательно уже отчаялся в возможности заманить в подвал какого-нибудь жильца, к нему пришел отставной солдат, старый такой, молчаливый и даже как будто сердитый. Посмотрел на этого солдата хозяин и тут же тихомолком подумал: «А! это он пришел ко мне подвал нанимать! Лучше быть нельзя»; а солдат, как только взглянул на подвал, сейчас же подумал: «Вот чудесная хата! Лучше требовать невозможно»; а сам подвал, как только его обзрели, угрюмо и почти неслышно прошептал: «Мало в мои стены веселья этот солдат принесет! А мне-то и на руку, потому не охотник я музыкантить-то!.. Такого жильца я долго жду!» – и при этом, говорят, в первый и последний раз улыбнулись с радости тогда еще новые стены подвала, точно

так же, как и у солдата очень что-то шевелились в это время усищи, как бы стараясь стрясти с себя чужую, случайно налетевшую на них и запутавшуюся в их непроходимой чаще улыбку.

В этом-то, так сказать, печально говорящем подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как за год перед настоящим моим посещением я оставил их, уныло-серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь. Даже горемыки-жильцы подвалов в девственных улицах, наваливавшиеся на простого старика, как наваливаются осенние листья на терпеливую землю, были все те же, за исключением разве только одного отставного капитана, тем, впрочем, только и замечательного, что он нанял себе помещение на огромной кумовой печи, куда он втащил нечто вроде кушетки, служившей ему постелью и вместе с тем сундуком. Капитан этот нисколько не характеризовал бы собой московских девственных

улиц, если бы про него не рассказывали с божбой, что он никогда ничего не ест и не пьет, ибо никто ни разу не видал, чтоб он когда-нибудь удовлетворял этим простым требованиям человеческого организма. Кроме этого, заслуживавшего внимания обстоятельства, капитан бросался в любопытные глаза тем еще, что не любил платить за квартиру и, говоря настоящее дело, не любил даже и того, когда ему напоминали об этом. Старый, расслабленный и поросший весь как бы какой щетиной, он по целым дням молчаливо переезжал с печи на кушетку и обратно, ничем не беспокоясь и никого не беспокоя; но как только кум заикался ему, что, дескать, ваше вышебородие, нельзя ли, дескать, насчет недоимочки за фатеру, – капитан сначала производил на печи какой-то необыкновенный шум, смешанный с визгом и рычаньем, потом показывал с печи свое обрамленное седо-бурыми волосами лицо, оскалив зубы, и начинал воевать, т. е. бросал с печи в приютившего его человека чем ни попало.

Хитров переулок в Москве. Фотография начала XX в. Частный архив



– Зар-р-ряжай ружье! – орал он старческим, но азартным голосом. – Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Рр-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом – марш! С Богом!

– Ну, пошла писать военная кость! – с хохотом толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.

– Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! – умолял кум жильца о прекращении батального огня.

– Ур-ра! Наша взяла! – окончательно вскри-

кивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.

– Оченно тронулись! – такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца. – Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токма что свои деньги... Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надоедает временем только – ужаси как... Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделяет: пу! пу! и-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальних расстояниях действует. Вот докуда спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..

– Ну, а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? – спросил я.

– Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с этого места прямо в гроб идет, или, ежели он подхалюза какая, так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика – и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не

доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу, все равно как к каше с маслом, привыкли...

И действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы стоворившись умереть в его темном подвале. По-прежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжей жидковатой бородой. По-прежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском «ваше благородие» и «сударь-барин», рассчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами, сундуке. Как назад тому много лет застало ее на этом сундуке известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто два-

дцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодой головой, да так и теперь ею постоянно раскачивает, – только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.

– Здравствуй, Фаламей Ильич! – говорю я старому приятелю моему башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.

– Здравствуйте, сударь, Иван Петрович! – радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадучечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мной. – Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? – обратился он к своим многочисленным ребятам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.

Толпа ребятишек, неумоимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была в свою очередь такой же, какой я оставил ее, хотя заметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неуго-

моннее; но и это обстоятельство нисколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головенках одинаково чесавшиеся больнушки, от которых, следовательно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.

Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И Господи! до того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей, братии.

Уныло и молчаливо отошла от меня, как

говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:

– Ну что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему Божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко сократишься, а он все такой же... Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас все те же...



Уличная торговля на 2-й Тверской-Ямской улице. Фотография конца XIX в. Частный архив

Шептали мне черные стены эти слова с какой-то особенно выразительной насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.

Так я помню в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седой головой и язвила меня острыми стрелами разных народных поговорок, вроде, примерно, следующей: – «Эх, дитя! не будет в тебе путя...»

До слез, бывало, понимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.

IV

— Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! — этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). — Так вот за это я тебя недолюбливаю, — повторил Обгорелый, — выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.

— Что же это я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, — сказал я, — а про Катю не спрошу: где она у тебя?

— Помалчивай до поры до времени, — с какой-то плутоватой улыбкой ответил мне кум. — Мы тут такую-то крутую кашу завариваем и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!

А Катя, про которую я сейчас осведомлялся

у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжища и добрище свойственна всей гольтяпе{229} вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица как в трубу затрубила:

– Одних шинелей у него три, – по секрету перешептывались между собой соседские бабенки, – сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит – а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? – даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. – Околеет ведь старый шут, – глаз некому будет закрыть.

– Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше!

– вступалась другая, – а ты вот что послу-

шай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. – и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своей головой, желая означить тем, сколько именно у идола-солдатица было денежных бумажек. – Теперича, – продолжала она, – видели у него также целый сундук с образами и все-то они – батюшки мои – в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных...

На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторой темной ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу-солдату.

– Она у него счастлива будет! – рассуждала молодая мать.

– А то, поди-ка, из Воспитательного дома кому еще на руки попадетс...

– Вона сокровище какое Господь мне, старому шуту, послал! – сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. – То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж верно судьба за прялку меня усадит... Поворчал, поворчал Обгорелый таким образом, а

все-таки послушной нянькой уселся наконец за детскую колыбель и своими песнями, петьми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.

Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так губельно воняющей почве подвалов рождаются существа с головками улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, – не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, – кого в том подвале хотела природа *удовлетворить*, творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, – был, есть и будет царевной моего одинокого сердца...

Торговка маслом. С рисунка Ж. Барбье из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» Госу-



дарственная публичная историческая библиотека России

Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия об ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая, белокурая головка улыбалась, радуясь такому

свету; но улыбка эта, дававшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы – бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:

– Ах, Иван Петрович! Голова ты этакая болезная! Ну, на что *это* нам? Ну, что мы с *этим* добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас с тем добром не в пример больше слез, больше и вздыханий.

И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:

– Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, по-прежнему ли наша матушка-степь своей красотой сияет.

Говорю так и смеюсь, и она смеется.

– Ой, – ответила она, – не ходите, Иван Петрович! Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, – об этом во всякой книжке

говорится, какую мы только с вами читали.

Я даже хотел было остаться, смотря на ту улыбку, с которой Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастью или к несчастью, подвал опять зашептал мне:

– Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя *тогда* своими старыми стенами в прах раздавлю...

Унося мою больную голову от гибели в этих, так мрачно глядевших, стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливеец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому именно поводу и из каких круп заварилась эта крутая каша, – понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло от той страшной боли, которою подарило его это ясное понятие о предстоявшей каше.

– Да, куманек! – снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи. – При-

зняться сказать: заварили хлебово{230}! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну и, значит, хлебывал вволю... Вот как хлебывал – до крови!.. Ну, а молодым как покажется – не знаю, и ежели т. е. не Божья воля, так лучше бы мне сквозь землю провалиться, чем голубчику моему – дите моей кровной – то кушанье из своих рук подносить...

– А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша известно от кого происходит... – вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне, парень в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черной краской, стуле.

– Молчи уж ты, голова! – сердито отозвался кум на замечание молодца. – Мы у судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя не в пример понимаем, какая она до нашего брата милостивая.... *Куп*

выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, куп, об этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!

Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал, по обыкновению, прислушиваться к тайному подвальному шепоту, а подвальный шепот на этот раз был таков:

– Иван Петрович! – глухо и печально шептали стены, – знаешь небось ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила... Ведь в степь-то тебя черт понапрасну таскал... Может, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой бы женой была верной, да доброй, да умной...

А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданием говорил молодому парню, нашему собеседнику:

– Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной муниции встретить!

– А я, дяденька, как вы сами изволите знать, – заикнулся было молодой парень, – насчет хмельного ни-ни, т. е. чтобы т. е. одну каплю когда – ни под каким видом...

– Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! – грозно прикрикнул на него кум. – Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то, ни под каким видом... Пей, говорю. И ты, куп, выпей! Повторим мы с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полноте.

И действительно, я давно уже знал свое горькое, всегдашнее дело – плакать и пить, и потому я с еще большим азартом повторил громадный стаканище.

– Так-то вот лучше! – проговорил кум, когда вся наша компанияхватила по стакану. – Теперь словно бы отлегло маленько, – полегче будто бы стало...

– Это точно, что будто полегче безделицу! – вступился молодой парень. – Только, дядень-

ка, вы теперь беспрерывно меня поддерживать должны, потому как это она в любви с *ним* находится и как я должен с ней от него под честной венец идти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется – страсть! Сердце у меня от этого приставленья во как за-жгло...

– Пей, парень, ежели приставляется! – командовал солдат. – Когда маленечко ополумеешь, всегда лекше становится. Ну! – прибавил старичина, внезапно озлобляясь, – ежели бы *он* мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.

– Нет, вот мне бы Господь когда-нибудь подал его в ручки, ночкой какой-нибудь темненькой, – я бы тово... Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез, – продолжал мастеровой солдатскую речь.

– А кто это *он-то*? – спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, – чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с *ним*, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.

– Он-то кто? – переспросил меня парень. –

Афицер один, богатый... А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел на нее и глазами своими ее любовал... Может, уж года с три той моей великой любви прошло.



Торговля съестными продуктами на Хитровом рынке. Фотография начала XX в. Частный архив

В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки, – той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком{231}, на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному

говору, *вольного обращения*{232}, и вслед за этим стуком в подвал вошла Катя, шурша толстым платьем из черного глясе{233}, сияя дорогой цветистой шляпой и золотыми браслетами на ослепительно белых и маленьких ручках.

– Банжур{234}, дяденька! – сказала она старому солдату как-то особенно разухабисто и фамильярно, – Ах! Иван Петрович... – обратилась она ко мне, – какими судьбами?

– Дитя мое, дитя мое! что ты с нами с горемычными сделала? – ответил я с громким плачем пьяного и, следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшего сердца.

«Виды нашей прислуги». Денщик. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Потом я уж ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.

– Акулина! Акулина! – кричал, как мне помнится, мой кум. – Бежи скорее за причтом {235}, – я уж всем им говорил, какая у нас ис-



тория... А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.

– Ты опять тут, ты опять пришел! – кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового. – Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.

– Рази лучше скверной девкой-то быть? – кричал в свою очередь мастеровой. – Опомнись, Катя, опомнись!., ведь они над нашим братом потешаются только – господа-то...

– Иван Петрович! – громко кричала мне Катя, – заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневоле... Будьте свидетелем: не хочу я за него идти...

Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют по неволе за немилого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие:

– Ну, ты теперь ее жених! – угрюмо бубнил солдат, – следовательно, все равно муж... Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.

– Как же! – истерически всхлипывала Катя. – Погляжу я, как вы меня прибьете...

– А ты думаешь не прибьем? – орал мастеровой. – Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь Божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моему сокрушаешься.

Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.

– Молодец, Абрам! – говорил солдат. – Так ее и следует. Опосля слюбится...

Но, повторяю, я ничему не мог быть свиде-

телем в это время, потому что сидел совершенно разбитый этой сценой, – сидел я, а Катя кричала мне:

– Подлец, подлец! что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?

Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:

– Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал: уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе... Господи! – взмолился старый подвал, как бы движник какой святой, – когда *столько* эти слова *будут идти не мимо нас?*..

– Ох, горе! Ох, горе! – сокрушенно зывал мой старый кум. – Но, может, к хорошему, может, остепенится – в настоящий закон и послушание Богом данному мужу войдет. Н-ну, только ежели *он* попадется мне когда в темном месте!..

– С Бог-г-гом, рр-рее-бята! – командовал с печи старый сумасшедший капитан. – К-ладсь! п-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага! Ур-ра!..

Так смертельно раздражили его Фаламеевы ребяташки.

Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем несообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню...

Счастливые люди

I

Раститесь, множитесь и наполняйте землю.

Кн. Бытия, гл. I

Вечер. С неба тихими, грациозно волнующимися пушинками падает первый снег. Сквозь массу этих пушинок, как красавица из-под вуали, светлый месяц любопытно поглядывает на далекую от него землю. Тишина и ласка самые успокаивающие лежат в это первозимнее время на душе человека, шатающегося по улицам.

Хорошее время, такое хорошее, что ради него я теперь и сам пойду к хорошим людям, и вас поведу туда же, хотя дорога до них, как ко всякому добру, очень далекая.

Путь нам лежит сначала по тротуарам главных московских улиц. На тротуарах этих, с каким-то глухим, сердитым грохотом, обыкновенно характеризующим всякую ночную человеческую деятельность, работают лопа-

ты, скребки и метлы дворников. В их группах часто слышатся злые возгласы на необходимость разметать, даже и ночью, улицу, которую завтра же заметет новый снег, – слышатся откровенные шутки с запоздавшими женщинами, пересыпанные раскатистым смехом, – дружеские, но тоже страшно-грохотливые заигрывания с приятелями извозчиками, стоящими около тротуарных тумб. Тут же происходят постукивания пальцем по бортовой табакерке, сладкие понюшки забористого зеленчака и таинственные стоворы, что как бы, дескать, это насчет тово... раздавить на сон грядущий полштофишку-другую.

Характер этих улиц, по которым идем мы к счастливым людям, чисто *немецкий*{236}, особенно нелюбимый коренными жителями в длинных чуйках{237}, в суконных барашковых тулупах, с длинными серьезными бородами.

Изящные керосиновые лампы освещают большие зеркальные окна магазинов, сплошь покрывших своими золотыми французскими вывесками дома этих улиц. Верхи громадных магазинных рам, как бы крыльями какой-ни-

будь невиданной птицы, драпированы изнутри грациозными белыми занавесками. У ресторанов с княжескими подъездами стоят решительно непьяные извозчики-франты, прозванные Москвой лихачами, и одеты эти лихачи в армяки из синего сукна и подпоясаны канвовыми кушаками, а на головах у них надеты бобровые шапки, с заломистым верхом, затейливо разрисованным золотым позументом.

Гурьбами стоят эти франты в стеклянных подъездах ресторанов и мебелированных комнат, ведут они со швейцарами солидные разговоры, покуривая из бумажных крючков так крепко пахнущие махорку и нежинские корешки{238}. Тихо все и солидно на этих улицах и казалось бы, что истому москвичу, сочинившему пословицу, что где, дескать, тишь да гладь, там Божья благодать, должна бы вся эта обстановка прийтись как нельзя более по душе, однако на деле выходит совершенно иначе.

И выходило именно вот как.

Идет кровный москвич, деловой, в барашковой шапке, с белокурой тридцатилетней

бородкой, – идет он теми поспешными, не терпящими ни малейшего отлагательства шагами, которые обяыывают бравую в спокойном положении фигуру русского человека к согнутую спины в три погибели, к одышке, к потной краске на здоровом лице, а главное – к какому-то шепотливому, отрывочному разговору с самим собой, вроде:

– Ах-х, Боже ты мой милосердый! Фу ты, Господи! Да куда же это я? Д-да зачем?

И вот такой-то согнутой иноходью поспешает куда-то москвич вместе с нами, *пы сва му дельцу-с, на близости, так на минутую-с* – и глубоко предался он этому быстрому, как бы на заказ, отмериванию шагов, сопровождая свое шагание неразговорчивым шепотом; как вдруг, на всю улицу, раздается звонкое ржанье стройного, белого рысака, стоящего у подъезда, а затем послышалось нетерпеливое топанье звонкой подковы о булыжную мостовую.

– Тише, дьяв-вал! – хладнокровно говорит угрюмая и, так сказать, игольчатая октава {239} с железно-решетчатого крыльца ресторана.

Чего бы, казалось, проще такого обыкновенного вечернего пассажа? Нет, мимошедший москвич вдруг, почему-то, останавливает свою проворную поступь, снимает шапку, оттирает пот с лица красным ситцевым платком, и пристальным мельком оглянувши и рысака, белая спина которого так гордо рисовалась на вечернем уличном фоне, и ярко освещенный подъезд, и саженные стекла магазинов с их белокрылыми драпри, – снова обращается в свое торопливое бегство и не то с досадой, не то со злобой шепчет:

– Вот черти-то! И куд-ды же это я, братцы мои? Зач-чем – а? Вот дьявола, так дьявола!..

Бежит дальше москвич, говоря своей походкой, что его «никтоже гонит, сами ся гоня-ху» и вдруг

– Миласливый гасударь! – как лист перед травой, выросла пред ним какая-то бурая, в дугу согнутая личность. – Миласливый гасударь! из бальницы... седьмой день... ни фкушаю, – верьте слову благородного человека!.. Находимшись при разных должностях... Многие инаралы и даже, можно сказать, графы...

– Да под-ди же ты! – с тоской восклицает

москвич, стремясь дальше и дальше. – О Б-бо-же!

– Мусью! – возникает перед несчастным другой образ с хриплым женским голосом. – А, мусью! позвольте-с на пару слов...

– Господи! Да што же это я? Где – а?

С горки, на которую, по узкому тротуару, поднимается москвич, со звонким смехом, сопровождаемым немецкими ребячьими фразами, самым полоумным манером, скатываются с глухим свистом железные салазки с целой кучей ребятишек – и бац! Москвич падает со всех ног *на холодный камень плит* и, приподнимаясь, крехчет:

– Ишь, дьяволята немецкие разыгрались!

С быстро ускользавших в туманную даль железных санок услышали между тем враждебную речь, вследствие чего солидная улица немного побаловалась, ответивши за оскорбленных ребятишек звонким смехом и немецким словом:

– О, руссиш швейн{240}!

Пойдемте же и даже, в случае надобности, побежим за москвичом. Нам с ним по дороге. Он, очевидно, бежит тоже к счастливым лю-

дям, о чем я, как человек достаточно знакомый с Москвой, заключаю по направлению его стремительного курса.

Пошли улицы потемнее. Фонари, освещавшие их, стояли друг от друга на таком расстоянии, про которое говорят: колос от колоса – не слышать человеческого голоса. Очевидно, они были поставлены для *блезиру*{241}, и они сами, как видно, очень хорошо понимали свою призрачную роль, потому что так плутовски подмаргивали и друг другу, и проходящему народу, что возбуждали в наблюдателе целый рой сомнений насчет того обстоятельства, что едва ли это фонари и что чуть ли это не какие-нибудь кривые, плутоватые люди, подкивывающие и подмаргивающие, с условленной целью обьегорить какого-нибудь любезного благоприятеля.

Подославши к воротной верее соломки и закутавшись в здоровый бараний тулуп, в самой нежной позе покоящейся одалиски{242}, лежит около одного, по-московски орнаментного, дома молодой дворник и дремлет сладкой дремой под эту тихую музыку пушистого летающего снега. То откроет глаза дворник,

то снова закроет их, то вытянет ноги, то снова спрячется под теплый тулуп и свернется калачиком. По временам он споет что-то бессловное, напоминающее собой песню сытого кота; иногда протяжно и сладко зевнет, перекрестит уста и проговорит:

– О Б-боже ты мой Господи милосердый! О Господи Боже!..

– О Б-боже ты мой милостивый! – с тоской шепчет в свою очередь бегущий впереди нас коренной москвич. – Куды? Зачем? О Б-боже!

– Ха-ха-ха-ха! – раскатывается дворник со своего уютного сиденья. – Вот, теперича, друг любезный, тебе только девять раз осталось шарахнуть. Не тужи. Эва! сколько дров наломал, а еще с обеих сторон фонари... Ха-ха-ха-ха!

– Да не будь их чертей – фонарей эфтих слепых, я бы совсем не шарахнулся. Только тень одна от них. У нас вон, в нашей улице, ни одного их нет – и чудесно! Идешь так-то – любезное дело! Ни разу не оступишься...

Говорит москвич такие слова и ожесточенно отряхает шапкой снежную пыль со своего тулупа; а фонари на едва-едва приметный мо-

мент ярко мелькнули своим колеблющимся светом и вдруг опять померкли и серьезно сморщили лица, с настойчивостью, основанной на твердом убеждении в своей невинности, показывая и улице, и дворнику, и мимоходящим извозчикам, что это «не мы, не мы, – ей-Богу-с! Мы вот светим, а дальше мы – ни-ни! Напрасно вы так про нас полагаете. Это он, может, спьяну шарахнулся, – д-да-с»!

И этой серьезной рожей фонарей были обмануты и улица, и дворник, и москвич, и извозчики.

Однако, шутка шуткой; но только, Боже мой, как нежно этот славный вечер своим серебристым снегом, своей гармонической тишиной будит и оживляет иные, видимо начинавшие засыпать, человеческие души.

Перед рождественским праздником. Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку Г. Бролинга из журнала «Всемирная иллюстрация». 1874 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Пойдемте тише, пользуясь этой, так внезапно налетевшей, мирной минутой. Будем



благодарны ей и станем смотреть на фонарь как на фонарь, а не как на одноглазого плута, которого за его насмешки, без этой минуты, непременно выругал бы и послал ко всем чертям...

Очень темны были улицы этой второй категории. Высились на них гордые барские дома, выстроенные *про себя*{243}. Их большие, так надменно смотревшие окна завешены шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался тот таинственный полусвет, при котором, по старинным романам, княгиня Мери, пользуясь отсутствием мужа, дает уланскому

корнету Г. понятие о своем высоком уме, необыкновенно тонком, анализирующем самую глубь любви. Зло смотрит на такие дома человек голода и холода, проходя мимо их больших, так крепко запертых, лакированных дверей; а я, напротив, даже люблю ходить мимо них, потому что всегда в позднее аристократическое после-обед, перед самым так называемым *аван суаре*{244}, оттуда слышатся могучие звуки дорогих пианино, – и говорят мне эти звуки о том, что разнообразные страдания, сокрушающие род человеческий, протискиваются и в надменные окна, защищенные плотными шторами, и в лакированные двери, стрегомые лакеями во фраках и в голландском белье...

Таинственный полусвет, льющийся из окон, дает мне возможность видеть прелестные цветы, уголок громадного зеркала с половиной портрета серьезного, генеральского, так сказать, лица, отражающегося в нем, – и вот я остановился на тротуаре и слушаю. Слушаю, а из дома несутся ко мне рыдания какого-то необыкновенно великого горя, и все существо мое, прислушиваясь к ним, дрожит

нервической, страстно сочувствующей дрожью...

Как прикованный, стою я, и вот, по дивной воле артиста, в голове моей крайне спутанным строем проходят многоразличные людские недоразумения: *проклятые*, от века безответные вопросы, – мысли, обязывающие человека на всегдашнее отметание от прекрасных благ земных, – мысли, фатально влекущие в могилу по такой дороге, от хаотической пустоты которой леденеет сердце и встают суровым лесом молодые кудри, – молодые кудри, каких еще, может быть, ни разу не лелеяли нежные женские руки...

Вследствие этих представлений сокрушительная истома по чужому горю зажгла душу мою своим необыкновенно жгучим огнем: эта головка, что плачет теперь над дорогим пианино, является в моем воображении несравненно прелестнее всех этих цветов, стоящих на окне, и я принимаюсь отгадывать настоящую причину грусти этой, видимо, назначенной для всякого счастья птички. Быстро сменялись мои думы, нагоняемые на меня звучавшими, как волны, октавами инстру-

мента, и ничего не мог уяснить я себе до тех самых пор, пока настоящее лицо, интересовавшее меня, не удостоило показаться мне и товарке моей – темной ночи, на минуту вырисовавшись в окне. Было оно, как рассказывается во всех романах, «интересно-бледно, аристократически-сдержанно; черные волосы обольстительно обрамляли его» и проч. и проч.

Совсем не то рассчитывал я увидеть, и обманутое ожидание сразу поселило во мне какую-то странную уверенность, что барыня эта играла так хорошо потому только, что была голодна. Я громко засмеялся глупой мысли и пошел дальше, рассуждая на тему, черт знает откуда на меня налетевшую, что любого человека ко всему приучить можно; даже крайнего идиота можно выучить быть умным. Тут же подвернулось и доказательство этой истины.

«Медведей выучивают же плясать», – думал я и хохотал все громче и громче, так что один бутарь вынужденным нашелся объяснить мне, что это довольно даже нехорошо для благородного господина – идти по улице

и грохотать по-лошадиному.

Выслушав нотацию с прирожденным мне смиренством, я пустился в самую глубь тех улиц, граничащих с заставами, на которых совсем смолкает крикливая столичная жизнь. Ворота во всех домах плотно приперты толстыми засовами, окна закрыты ставнями и лишь изредка, около освещенных кабачков, можно заметить каких-нибудь двух или трех друзей, в ватных халатах, тихо и задумчиво рассуждающих, после выпивки, о необыкновенной тягости нынешних времен и о неизбежной надобности хватить еще малую толику ради этого горестного обстоятельства.

Из будки, иногда начинающей, иногда замыкающей собой подобные улицы, льется на дорогу маленький дрожащий огонек, который ежели и горит еще, так потому только, что в будке ночным временем без огня быть ни под каким видом нельзя.

— Квартальный, пожалуй, вздумает с дозором пойти, — объяснительно покивывает огонечек улице, как бы оправдываясь перед ней в том, что он осветил собой ее естественные

виды, очевидно отвергавшие всякое освещение.

Коренной москвич, руководящий нас по дороге к счастливым людям, лишь только вступил в эту тихую улицу, всю залитую лунным сиянием, всю заваленную блестящими снежными сугробами, как сейчас же изменил свою порывистую, суетливую побегу на шаг человека, который, видимо, действует в своей сфере. Вот он шутит дружескую шутку с будничником, сладко прикорнувшим на резном балкончике своего солдатского жилища: подкравшись к стражу своей улицы на цыпочках, москвич сдергивает с него *кэлю* и изо всей силы швыряет ее в далекие небеса. *Кэли*, вероятно, не считая себя настолько заслуженной, чтобы навсегда застрять и успокоиться на одном каком-нибудь из этих летающих по небу облачков, снова черной галкой спускается на землю.

С громким хохотом оба друга стремятся захватить шапку в свои руки. Искусно подбираемая москвичом, она перелетает через снежные бугры, через низенькие лачужки, останавливается на деревьях, сучья которых

любопытно смотрят на эту игру, и, спугнутая с них ловко швырнутой палкой, снова летит по сугробам, иногда останавливаясь на них и, следовательно, вызывая тем самым разыгравшихся приятелей к новым, еще более поразительным, состязаниям в самом, так сказать, центре снежного царства, т. е. другими словами, по уши в снегу, разлетавшемся от этой борьбы миллионами серебряных искр.

Перебросивши наконец вражескую голову через забор пустынного огорода, москвич издали кричит своему спорнику:

– Где тебе со мной, полицерия ты эдакая несчастная! Хоть бы насчет куроцапства-то умел обходиться как следует, а то эва – надумал меня обороть. Ха-ха-ха-ха!

Будочник, слушая эти разговоры, энергичски царапался на высокий забор огорода, куда улетела его разнесчастная солдатская голова.

– Ишь ты, ведь, куда угораздило его запустить! – без тени даже досады толкует будочник. – Черт ведь это его расхватывает, должно быть, на игру-то. Спал бы я теперь да спал без него.

– Илю-ю-ша! – раздается через минуту го-

лос чуть-чуть уже виднеющегося москвича, – находи поскорее фуражку-то свою, да приволакивайся ужинать поживее; водочки поднесу, потому у меня сынишка менинник.

– Да как же я с чисов-то, Мирон Петрович? – кричит в свою очередь будочник. – Нельзя ведь с чисов. Пожалуй, взыску какого бы не было...

– Вз-зыску? – отзывается москвич. – Эвось! Махонький што ль? Вз-зыск!.. Приходи знай...



У входа в дом подворья Валаамского монастыря на 2-й Тверской-Ямской улице. Фотография начала XX в. Частный архив

Исполинские собаки, разбуженные этим дружеским переговором, ответили на него крикливым лаем и неистовой беготней по следам москвича; но москвич, с опытностью американского морехода, лепился под заборами, твердой ногой ступая по едва приметным тропинкам; он храбро выходил по временам на самую средину улицы, отыскивая перенесенные туда другим предшествовавшим ему храбрецом едва приметные следочки, и только посвистывал, только посвистывал.

Так он был безбоязнен среди этого безлюдья, среди этих сугробов, – так был уверен в том, что ежели собачье чутье обманется и не узнает в нем соседа, Мирона Петровича, так непременно сам он, Мирон Петрович, узнает всякую собаку своего околотка и, судя по обстоятельствам, может во всякую секунду или приласкать ее, или взбутетенить, что одинаково обезопасит его, ни для какого смертного, кроме истого москвича, неосуществимое путешествие.

– Орелка! Косматка!.. Што вы, лешие, аль своих узнавать перестали? – покрикивает

наш руководитель, мощной рукой стуча в тесовые ворота. Собаки сознаются в своей ошибке радостным визгом и фамильярными скачками на грудь и спину Мирона Петровича, что составляет такую добрую житейскую картину, что пробиравшийся в соседний домишко на ночлег забулдыга-извозчик{245} никак не может ей не позавидовать и говорит:

– Ах, хозяин! Как это вас собачки здешние любят, ей-богу! Все равно, ваша милость, по всей по улице здешней для всякого человека вы заместо отца родного, сейчас умереть!

– Разговаривай, разговаривай по субботам, Митька! – отвечает москвич голосом, в котором явственно слышатся недовольные ноты. – Ты бы вот мне долг поскорее приносил, чем чай-то по харчевням расхлебывать. Так-то, друг! Зубоскалить-то нечего. Нас не удивишь, потому сами в старину зубоскаливали...

– Ишь ты, хитрый какой! – говорит тихо-молком извозчик, благоразумно заглушаяворотным скрипом хитрое хозяйское слово. – Сейчас ведь узнает, к чему какой разговор че-

ловек подводит... А я, было, завтрашнего числа думал к нему еще подкатиться насчет займу. Теперь не даст, ни в жисть не даст, хоть и не ходи!.. Эхм-ма!..

С глухим гулом упала наконец воротная задвижка, отдернутая седым дедом-дворником, который, несмотря на зиму, был бос и в одной только ситцевой, полинялой рубахе да в пестрядинных штанах. Зорким, серьезным взглядом оглядевши хозяина, он спросил его:

– Пошто полуношничаете? У нас тут душа не на месте; все про тебя думаем: как бы, мол, головушка-то наша разудалая опять в трактир не качнула...

– А ты, дедушка, не думай, – пошутил москвич, – потому думают-то знаешь кто? индейские – петухи... Так-то!

– Ну-ну, проходи! – сердито перебил дед и затем, помолившись на крест соседней церкви, ушел во двор неторопливой, важной поступью, и в то время, когда москвич уже из самого нутра своего дома продолжал звать будочника Илюшу на сынишкины аменины, дед глухо и неразборчиво ворчал:

– Банкетчики-черти... Эх! – плачет матуш-

ка-палка по эфтому по народу! С какой радости?..

– Счас, счас, Мирон Петрович! Сей сикунтой сберусь! – в последний раз откликнулся будочник, и после этого отклика мы, читатель, остались с тобой в этой пустынной улице, залитой лунным сиянием, заваленной снежными сугробами, решительно одинокими и беспомощными, потому что, несмотря на нашу с тобой охоту знать счастливых людей и вести с ними приятное знакомство, мы, на дороге в такое желанное царство, лунным светом залюбуемся, перед снежными горами остановимся, собак лютых испугаемся...

Когда я, читатель, один иду к хорошим людям, я дохожу до них так же легко, как пришел сейчас истый москвич в свой собственный дом. Я и с будочником побалуюсь, я и собак поласкаю, ежели они смирны; а ежели злы, то даже и побью их, несмотря на то, что от «гуманства» этого, которое во мне понасыпано, я бы в пропасть всей головой моей готов во всякое время шарахнуть без малейшего разговора... Снежные сугробы, или даже грязь по колено, меня тоже несколько не останавливают на моей дороге, потому что я такую песню знаю, которая говорит, что

*Через черную грязь перепелицей
{246}.*

Но ты, читатель, всегда был, есть и будешь для меня тяжелой обузой, потому что ты ежегодно тратишь шестнадцать с полтиной на какую-нибудь газету или журнал, выписка которого обязывает всех твоих друзей твердо верить в то, что ты человек цивилизации, друг прогресса и т. д. Друзья с благоговением

просят у тебя почитать журналчика или газетки, и ты снисходительно даешь им оные и тут же сообщаем им, что Гарибальди{247}... что земная кора... питание опять... социальность... терпимость и... и черт тебя знает, о чем ты, с чужого голоса, нагородил в разные минуты своей жизни, чего совсем не городят в тех улицах, где мы находимся с тобой в данную минуту и куда по-настоящему ходить тебе решительно незачем; но ты в последние дни твоего существования очень приналег на все эти петербургские, московские, варшавские et cetera трущобы, и так как роли политика, натуралиста, социалиста и, наконец, порицателя или поощрителя различных внутренних мероприятий тебе демонски опротивели, то ты, вспомнивши золотое время твоего *невозвратно минувшего детства*, захотел, на старости лет, еще раз порисоваться в роли знаменитейшего принца Герольштейна – и пошел ты по этому случаю, вместе с авторами различных трущоб, по столичным кабакам, для ради изучения младшей, падшей и вообще всяческой братии, которую ты почему-то считаешь во всех отношениях хуже себя и ко-

тору, на этом основании, ты назвал *меньшей братией*. Авторы-то кое-как выкарабкались из кабаков, конечно, не все, и правда, что с достаточным угарцем, потому что быть в огне и не обжечься – нельзя; но тебя-то, непривычного человека, там либо исколотили насмерть, либо сам ты залился в них, не могши сладить со своим ретивым, которое до конца изомлело и сокрушилось от того крепкого буйства, какому предавались кабачные, погибающие люди на порогах своих видимых могил...

Вот почему ты для меня обуза, читатель, на этой улице. Воротись лучше назад от действительности, которой ты брезгаешь до отвращения или боишься до смерти. Вернись, говорю. Слышишь, как будочник Илюша, только что сейчас по-ребячьи игравший с москвичом, пристально всматривается в нас с тобой и, совсем как настоящий часовой, грозно вскрикивает:

– Кто идет?

А эти собаки?.. Обличаемые каждым номером московского «Развлечения»{248}, они тем не менее не перестают пробираться незнако-

мых пешеходов, беспокоящих их мирную жизнь в тихой улице.

Видишь, каким бешеным стадом и с каким неистовым лаем мчатся они на нас? Бежи!

Бежи и не связывайся с этим извозчиком, который вдруг, ни с того, ни с сего, строго и бранчиво принимается уличать тебя в полунощничестве и в шаромыжничестве, легким подсвистыванием натравливая собак на то, чтоб они согнали тебя с» ихней» улицы.

– Часовой! – кричишь ты, справедливо полагая, что будочник Илюша сейчас прольет за тебя всю кровь и сразится с собаками не на живот, а на смерть. Бедный! ты сильно ошибаешься.

– Проваливай, проваливай! – отвечает на твой крик Илюша и затем суетливо начинает соваться в разные стороны, разговаривая промеж себя, что «ах ты, братцы мои, куд-ды это д-дубину я тут положил? Ах-х! Хорошо бы это вдоль ног ему запустить...»

– Здравствуй, Илюша! – приветствую я лично стража тихой улицы. – Как живешь-можешь?

– А, здорово, барин! Кто это с тобой прохо-

дил сейчас?

– Да это так, Илюша! Это – читатель.

– Читатель?.. Какой такой? Ноне, сам знаешь, как стр-рог-га!

– Ну тебя к лешим! Ты на именины, что ль, к Мирону Петрову собрался? Я ведь слышал, как ты с ним переговаривался. Я сам тоже к нему.

– К самому?

– Нет, я к прачке – к Петру Александрову. Дома скучно стало. Дай, мол, схожу поболтать.

– Так, так! – совсем уже ласково подтверждает Илюша. – Вместе, значит, пойдём. Я тебя через забор подсажу, а то у них экую рань ворота всегда запирают, так чтобы не стучать, не беспокоить, потому дед у них – дворник, и сердитый такой насчет беспокойства... Так-то облает...

– Зачем беспокоить? И так, как-нибудь, перескочим, – нынче снег, мягко; авось, не расшибемся.

– Известно, не хрустальные. Только што же это тебя в наших краях давно не видать? Я думал – ты пропился, али бы околел; а у нас тут

без тебя какие истории пошли – бед-да!

– Ну?

– То есть просто смех! На комедию не ходи. Мирон Петров-то – слышь? – любовницу полюбил, а жена за ним, с мастеровыми (она их вином за себя заступаться подкупает), кажинную ночь по улице с дубьем, словно ведьма, бегают. Нагонит так-то его – тр-рах этим самым дубьем по спине, – а он ей говорит: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Словно солдат на смотре, – вот шут-то! А сам так и раскатывается: ха-ха-ха-ха! Я это тоже сижу здесь и смеюсь. Заб-бава!

– Да, точно, смешно, – согласился я.

– А того смешнее, как эта самая женщина, – снова заговорил и залился звонким, добродушным смехом Илюша, – как она зараз мужа и со слезами умаливает, чтоб он хоша не грохотал-то над ней, а сама все его дубьем, дубьем... «Дай ты, умаливает, сердцу моему хошь в этом разе облегченье какое-нибудь», т. е. это выходит, чтобы грохотать-то он перестал.

– Что же, они часто у вас так-то?

– Говорю: каждую ночь полоскаются. И те-

перь вот, того и гляди, сбесятся. Да ведь это что? У нас чего другого нет, а побоищев этих – сколько угодно. Ты вот знал, может, востроносую девицу, какая жила у прачки-Петрухи с учителем-то? Да ты и учителя-то знаешь, – я вас с ним часто в прошлом году в кабаках видывал.

– Ну?

– У их тоже история, да смеху в этой истории малость. Ах, жаль парня, – ни за грош пропадает, а парень добрый.

– Да в чем дело-то? Я обоих их знал, люди оба хорошие, жили дружно.

– Дружно! – с какою-то унылой иронией воскликнул Илюша – Было, может статья, когда, да сплыло; а теперича... баб этих сам шут не разберет, в какую она погибель его шарахнула! Видишь, ему, это учителю-то, – слышь? место какое-то на городе вышло. На железку {249} я его провожал, чемоданчик это, подушки, саквояж с книжками – все это в пролетку я ему выносил, и она тут же, востроносая – то, провожать его едет – и, т. е. я тебе говорю, плачет, рекой разливается и, словно бы даже как в помрачении ума, металась и вскрикива-

ла. Слышу, толкует она ему: «Ты это, говорит, нарочно к месту едешь, – отвязаться от меня, как ни на есть, захотел», потому ей это в привычку было, не в первый раз. Сам знаешь, когда, ежели к примеру, «гыспада офицер «по полкам своим разбираются, так бросают их, девок-то, без всяких эфтих церемониев, – ну, ей это, значит, и в привычку. А он ей свое толкует: «Я, говорит, не прапорщик». И точно что это он правду сказал, потому он совсем штатский... «Сколько раз говорил я тебе, – сказывает он ей, – затем и еду, чтоб и тебе, и себе спокой доставить какой-нибудь, чтобы не мыкаться нам больше с тобой по белу свету...» Утешает он ее так-то, а мне пятиалтынный {250} в руки, потому душа человек. Укатили. Смотрю, посмотрю: к вечерку эдак возвращается моя барышня. Спрашиваю: проводили? – Проводила, говорит, и смеется; а из-за угла, – о, чтоб тебя черти забрали! – уж и выглядывает хахаль какой-то, рукой эдак, поманивает, – поскорее, значит, не замешкайся! На что меня смех разбирает, так ведь истинно по тому случаю, что в тот же день... «Это после слез-то так-то вы, барышня? – спрашиваю. – После

шести-то годов вы эдак-то?..» Смотрит на меня и хохочет, аки безумная какая! «Моя, говорит, теперь воля. Куда хочу, туда и пойду. Одна, говорит, осталась. Ха-ха-ха-ха!» И то года с три я видал: гулять, бывало, пойдет с самим, или одна по надобности куда-нибудь, – всегда это так тихо, степенно, – всегда, бывало, ласково так поклонится; а тут... примечай, куда пошло! Как почнет приплясывать моя барышня, как загорланит на всю улицу песню:

С ке-ем хочу, с тем и гуляю!..

– Ну, ей-богу же, барин, – продолжал Илюша, – я перекрестился, глядя на нее, потому вижу, девка-то выпимши. Хотел было ее тут же в фартал отправить, да думаю: ежели, мол, умный человек с ней не сладил, – мы с фарталом при чем тут будем? Ай правду, должно, пословица-то говорит: «Не сделаешь пана из хама!..»

На Сухаревском рынке в Москве. Фотография начала XX в. Частная коллекция

– Иные делают, – заметил было я, но Илюша заговорил с большой живостью, как бы



приготовляясь жестоко спорить со мной, и поэтому я замолчал.

– Нет вить, какая тварь-то! Воротившись ко мне, сейчас четвертак{251} подает; говорит: «получи, да смотри, не очень болтай, потому учитель, – забери его душу сам дьявол, – жениться на мне похотел. А впрочем, посмеивается, ежели и проболтаешься сдуру, так он не поверит... Как, говорит, знаешь!..» Такая тварюха бедовая! – и опять заплясала, и опять загорланила. Плюнул да ушел в будку. Так это даже злость меня на эту мразь проняла...

– Ну, будет, Илюша. Твоих историй всех не

переслушаешь. Снимайся с часов поскорее, да и пойдём.

– Да что с них сниматься, с часов-то! Взял – да и пошел. Вот-те и вся недолга! А насчет историев, точно что... вволю всего насмотришься, потому слышь, прошло ль еще две недели, учитель-то и примахнул сюда, да все это по ночам около дома и шастает. Узнал я его и прямо ему с-бацу: так и так, мол! Малый хороший, думаю, отчего ему всей правды не сказать, – пуцай, мол, развяжется с тварью необузданной. «Знаю, говорит, – мне сердце про все рассказало... Пойдем, умоляет, – Илюша, в кабак. У меня во всю жизнь только и доброго было, что она. Пропьем же все, говорит, – вдосталь, чтобы заодно уж, чтоб и помину ни о чем не оставалось...» И вот уже, сударь мой, с месяц, как этот самый учитель по соседским кабакам шастает безуданно. Пьет, спаси его Бог, до идольской смерти... Докладывал квартальному. Тот сказал: «Поприсмотри, Илюша, попристальнее, потому тут дело не без опаски... Запахнет, пожалуй, чем-нибудь нехорошим». А ей, востроносой-то, велел сказать, чтоб она подальше куда-нибудь от

Мирона Петрова, на другую фатеру перебиралась; только она на этот счет вне сил, – видно, не очень шаромыжничеством-то люди разжигаются. Д-да-с! Жаль, жаль учителя-то, ей-богу, потому гибнет хороший человек вместо мухи, самой паскудной. И дьяв-вал, што ли, какой ее взбунтовал, – шут ее, прости Господи, знает! Ах, бабы! Ах-х, б-ба-абы! Н-ну!

– Это точно, Илюша; бывает иногда, что ты сказал сейчас насчет дьяволов, – соблазняют....

– Какой там иногда, судырь! Так надо полагать, что они завсегда такими манерами бабенок этих разжигают, потому сам я... Вот расскажу, благо к слову пришлось: родимшись, этта, в Нижегородской губернии, я женился. Женившись, вдруг от приятелей от своих доклад получаю: «ты, спрашивают, что знаешь, Илья?» – А что, говорю? А самого так в сердце что-то и шаркнуло. Должно, учитель-то правду сказал: мне, говорит, сердце обо всем рассказало. Да, да! Приятели-то мне и говорят: «а знаешь ли ты, милый человек, Фому-краснорядца?» А сами: гро-о-о-о, гра-а-а! – так и раскатываются. Раскусимши это, домой я сейчас

же побег. Бегу, земля подо мной гормя горит. Прибегши, кэ-эkk развернусь, ддэ-эkk х-хваччу... Так то-с!..

– Ну, и что ж?

– Да ничего! На другой день в губернию махнул, всю ночь тайно в овине проплакавши; а в губернии себя в охотники объявил, – прямо, значит, в царскую службу... Гыс-спада инаралы сказали мне: «Молодец! – говорят. Гуляй!» Ну, я вот и гуляю... Побежим, барин, иначе; поздновато быдто становится, – пожалуй, аменин не застанем...

Тут Илюша запер на замок будочную дверь и ключ припрятал в потаенное место, известное только ему и товарищу.

– Товарищ-то у меня, шут его побери, несуразен больно. Ужо, к полюбовнице пошодчи, сказал: до завтра не жди. Только раньше, знаю, бесприменно раздерутся, как черти, и сюда спать прибегут. Для того и ключ оставляю. Н-ну, жисть!..

III

И вот мы с Илюшей, наконец, в самом царстве этой, как он выразился про нее: «нну, жисти», – в доме Мирона Петрова, очевидно недавно выстроенном, потому что дом так привлекательно белел на ночном фоне своими гладко выструганными бревнами, а жестяная ярко-зеленая крыша так гостеприимно звала к себе. Изо всех окон мелькали те дрожащие, как будто постоянно переносимые с места на место, тусклые огоньки, какие бывают от сальных свечей.

– Мы все здесь! – вскрикнул в темных сенях над самым моим ухом голос, принадлежавший прачке – Петру Александрову, цели моего далекого путешествия. – Нас всех со всего дома вообще сбил хозяин на именины к своему сыну. Он у него над всем имуществом законный наследник. Пойдем, Иван Петрович, и ты к нему. Гуляй! И затем прачка, сделавши несколько пьяных вариаций из чего-то отроду моего не слыханного мной, схватил меня под мышки и потащил куда-то по крошечно-темной лестнице с такой быстро-

той и таинственностью, с какими злой дух увлекает в ад грешные души.

– Тро-тро-та-та! – благодушнейшим, но бессмысленным старческим голосом выводил он свою арию, блаженно хихикая и ласково тискающая меня так, что даже временами я ощущал на моей левой щеке прикосновение его небритых уст, обдававших меня жарким спиртуозным паром.

– Порядочно, должно быть, ныне заложил? – спрашивал я у старика, просто, ради дружеского разговора, но избегая, впрочем, местоимений, потому что старик по таким временам делался необыкновенно обидчив. На знакомого, который ему начинал говорить ты, он, в качестве старинного камердинера какого-то знатного московского барина, страшно принимался кричать в том роде, что «как-де ты смеешь тыкать меня, музлан необузданный – а? Где ты такой политике научился, мерзавец? У-у-у!..» Принимал он в это время гордую позу своего бывшего повелителя, опрокидывал назад седую, гладко выстриженную головенку, а руки, по-барски, закладывал в изорванные штанишки, запущенные

в голенищи, что все, в сложности, очень шло к его добренькому личику и к белому жилету, в который он неуклонно облакается вот уже, как я его знаю, четыре года. Но, с другой стороны, трудно было решиться в эти минуты почествовать его и политичным – *вы*, потому что он тогда залился бы горючими, стариковскими слезами и, благородно негодуя на вас, сказал бы вам: «Ты мне больше не друг! Сколько лет мы были с тобой на *ты* – а? сколько?» И тут случилось, что он, хотя и в бессильном азарте, но все же бросался на своего обидчика с поднятыми кулачищами, с раскрасневшимся личиком и с глазами полными слез.

– Тро-три-трэ-э-тр-ру-у! – снова восклицал он, отыскивая дверь, ведущую в нутро той бездны, в которую мы сошли с ним. А из бездны уже явственно доносился до нас глухой, смешанный гул одной из тех демонских пирушек, которые вдруг, нечаянно как-то, как бы сами собой, устраиваются в различных сферах трудящегося, но все-таки бедного мира, заставляя этот, бедный и финансами и головой, мир своими результатами думать, что

злые духи устраивают эти безалаберные оргии на погибель ему, рабочему человеку, – на погибель отца его с матерью, детям и, наконец, на погибель его мастерства, только-только что начинавшего было разрастаться и радовать хозяйское, исстрадавшееся, сердце...

– Ну-ка, я отворю, Петр Александрыч! – сказал я, тоже избегая местоимений.

– Погод-ди-и! Тро-рро-ро-р-ру-у! – снова заорал он, и наконец-то из бездны, сопровождаемый хохотом пирующих, послышался такой же отзыв:

– Тр-ру-у-та-та! – Вслед за тем дверь отворилась прямо на нас с такой силой и быстротой, как будто говоря нам: «Вы к-куд-да?»

Верхние городские ряды. Малый ветошный ряд. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°; Государственная публичная историческая библиотека России

Мы не испугались этого окрика, и на нас пахнула волнистая туча седых паров, как бы какой последний, но самый заколдованный сторож, не пускающий храбрых в наши ска-



зочные царства, – и мы вошли. Ярче всего блестело, как бы золотое, брюхо медного самовара на белой, как снег, салфетке, покрывавшей стол. Потом дружелюбно закивала и заморгала нам с прачкой пара соевых свечей в медных подсвечниках, потом засветлись чайные чашки своим уродливым золочением, наконец в уши наши ударил тот стозевный, русско-кутящий говор, называемый гомоном или галдой, и в заключение над всем этим, как шум прорвавшейся плотины, царило металлически-свирепое шипение громадного самовара.

– Добро пожаловать! – вскрикнул хозяин, Мирон Петрович, позируя перед нами новенькой ситцевой рубашкой, изукрашенной по белому полю черными мушками, плисовыми штанами, заткнутыми в козловые сапоги, а главное – длинным суконным жилетом, по которому тонкой змейкой вилась длинная часовая цепочка из так называемого нового золота.

– Гляди, хозяин, – закричал прачка, – какого я тебе дорогого гостя привел! Тро-ро-о-трэ-э!

– А-а! – протянул, в несказанной радости, Мирон Петрович. – Сколько лет, сколько зим...

– Мирону Петровичу!.. – поприветствовал, в свою очередь, я владыку дома, подавая ему руку, и владыка дома сейчас же закричал:

– Жена! Иван Петрович пришедчи... Пожаловали... В кои-то веки...

Как бы по щучьему велению, после этих хозяйских слов, стала предо мной супруга Мирона Петровича с подносом в руках и, ласково улыбаясь и кланяясь, потчевала меня:

– Извольте-ко! С дорожки-то, выкушайте...

– Ну-ко, ну-ко-сь! – торопливо упрашивал

хозяин. – В сам деле, с дорожки-то... Теперича если с морозцу-то... Ну-ко-сь!

Я выпил.

Поднос плавно обернулся ко мне своим другим углом.

– Ну-ко-сь! Ну-ко вторительную... Хе-хе-хе-хе!

– Мирон Петрович! подождите, голубчик! Закусить нужно.

– После эфтой уж закусите, – мягким тоном упрашивала хозяйка. – Без того и к столу не пущу.

– Вот это так! Вот это по-нашему. Так и не пускай, потому ты здесь, одно слово, хозяйка...

– А то кто же? Ты без меня-то пропал бы совсем... Кушайте-ка!

Я вступил во вторительную.

– Бежи-ка, Мирон Петрович, за пирогом поскорее, – приказала супруга. – Они вот выкупают у меня еще третью, да уж тогда и закусят.

– Ха-ха-ха-ха! – радуясь изобретательности своей половины, раскатился Мирон Петрович и стремглав бросился за пирогом, с которым

через секунду и стал передо мной, как лист перед травой.

– Ну-ко-сь! Всю, всю, всю! – подталкивала мою руку гостеприимная хозяйка и, таким образом, помогала ей опрокинуть в горло третью рюмку. – Всю, всю, всю! Нечего на кудри-то оставлять. Вы и так у нас кудрявы. Ну вот, так-то лучше! Теперь и в компанию милости просим, гостек дорогой!

– Так-то лучше! – подсмеивался тоже и Мирон Петров. – А то захотел дом без Троицы строить{252}...

Та ласка, с которой ввалили в меня сразу три громадных рюмки померанцевой водки, принудила мой организм с каким-то особенным удовольствием смотреть на все окружающее меня. Теплота и комнаты, и влитого в меня спирта разлилась по всему моему телу и, расположивши глаза мои к самому розовому созерцанию, поминутно вызывала на мои губы нежнейшие улыбки. Сознывая, так сказать, милую неуклюжесть этих улыбок, я в одно и то же время и старался спугивать их с моих губ, и сердился на себя, зачем спугиваю, конечно, с отличной основательностью рас-

суждая при этом на следующей глубокомысленный манере:

«К чему тут сдерживаться? Это мир не такой!.. Все здесь так беззлобно, так просто... Веселятся люди эти редко, да зато от души...»

Улыбка, нежнейшая паче только что согнанной мной, снова, алым розаном, расцвела на губах; а хозяйка, как бы отгадывая мои молчаливые думы, уже стояла передо мной со своим фатальным подносом, на котором, вместе с дымящимся чаем, блестела и новая рюмка.

– У нас просто, – отвечала в лад мне угости-тельница. – Кушайте-ка... И когда я протянул было руку к тому углу подноса, на котором стоял чайный стакан, она грациозно повернула подносом, и рука моя вместо чая схватилась за рюмку.

– Перед чайком-то! Прошу покорно.

– Ну-ко-сь, Ну-ко-сь! – по своему обыкновению, торопливо подсказывал хозяин. – Ну-ко, ну-ко! Вот и я с вами для компании...

– Тебе-то не довольно ли будет? – спрашивала хозяйка, повертывая перед сожителем своим подносом таким манером, что рюмка,

как молния, мелькала только перед носом сожителя, а в руки ему, как привидение, не давалась.

Эти супружеские эволюции производили в гостях наиприятнейшего качества дружественный хохот.

– Ха-ха-ха! Хи-хи! Хэ-э-э! – раздавалось в разных углах комнаты сдержанное грохотанье, покрываемое несколько насмешливыми трубными возгласами прачки-Петра, выкрикивавшего свое обыкновенное: тру-ру-ро-ри-дри!

– Ну, будет уж тебе! – ласково упрашивал хозяин. – Совсем ты меня ноне, девка, измучила.

– Ну, бери, да смотри ты у меня!.. Это последняя.

– Дело! – плутовски подмигнул хозяин. – Последняя у попа жена. Так ли я говорю, Иван Петрович?

– Так! – согласился я, стоя с рюмкой в руках. Хозяин чокнулся со мной, и мы выпили; а прачка-Петруха, точно как бы нарочно для сей цели нанятый трубач, оттрубил это выражение нашей дружбы сугубо варьированным

маршем.

Пошло круговое потчевание, сопровождаемое супружескими понуканиями в обыкновенном роде: «ну-ко, ну-ко-ся, по всей!»

– Да, милые, – вырывался чей-нибудь утруженный голос, – ведь я уж пятаю. Сейчас умереть, неволю!

– Бона! – вскрикнул хозяин, – сейчас уж и считать принялся. Без пяти просвир обедня-то рази служится – а? Хе-хе-хе!

– Ах, забавники! Ах, потешники! – согласно гудел хор гостей в похвалу этих присловий и поднесений.

– Мы – потешники! – многозначительно хмыкал хозяин, соглашаясь с комплиментом гостей своей способности потешать их.

– Кого же нам и забавлять-то, как не дорогих гостей? – добавляла хозяйка. – Рази они у нас часты – гостьбы-то?.. Нет, по нынешним временам, часто-то не разгостишься...

– Где разгоститься! Нет, ноне времена-то... – с некоторой жесткостью в мягком голосе продолжил будочник Илюша хозяйкин протест против нынешних времен.

Трое рослых, с громадными, мозолистыми

руками, столяров, живших в работе у Мирона Петровича, и которые, как гости не главные, давно уже *без речей* сидели вместе с Илюшей в дальнем углу комнаты, но теперь, при слове «*нонешние*» времена, тоже заявили свое присутствие, с какой-то скорбной отчетливостью заговоривши в один голос:

– Нонешние времена-то, ежели, к примеру, правду-то матушку говорить, – не-ет! В их не зарадуешься... Не с чего...

– Куша-кос! Берись, дядя Трофим!.. Дядя Микит! качни-ка во славу Божию! – подскочила и к этой полузабытой группе угостительная хозяйка, как бы утешая ее в ее прискорбии, по случаю негодности разнесчастного нынешнего света.

– Ах, ваше степенство! Мать ты наша! Без тебя што бы наша за жисть? – какими-то тягучими, так сказать, рабскими басками взывали столяры, вливая в себя, в некотором роде, предлагаемое.

Продавец кваса. Открытка начала ХХ в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция



Хозяин между тем на разные манеры прыгал предо мной со своим, еще несмысленным, наследником, поднимал его на руках к самому потолку, агукал, заставлял плясать русскую, причем и родитель, и я, и сидевшая с нами какая-то старушка-купчиха, очевидно, самая почетная гостья, изображали из себя тилиликающих губами разные вариации музыкантов; а ребенок, повинувшись отцовским рукам, семенил ножками и блаженно улыбался. Я, – трудно мне в этом признаваться пе-

чатно, – улыбался еще блаженнее...

– Наследник-с, Иван Петрович! – взывал Мирон Петров, лаская ребенка. – Как есть, законный наследник! Все для него... А-ах-х, милый барин! Одна только утеха и есть – он-н!

– Ну тоже эфти наследники! – вступилась в наш разговор почетная старушка. – Тоже ими, Мирон Петрович, я тебе прямо скажу, подождать надоть хвастаться-то... Я вот вам расскажу про наследника-то про одного, – пообещалась старушка, обращая свою речь ко всей компании. – Была я, голуби мои, вот тоже по нынешней осени в гостях у одной – у богатой. И вижу я: входит в залу барин какой-то, молодой еще, с черной с эвдакой козлиной бородкой, в золотых очках. Поддевка, этта, на ем, ангелы вы мои, такая короткохвостная, что как только он, этта, спиной обернется, так все со смеху и покатываются. Я и спрашиваю: чей это, мол, барин такой? Как его по прозвищу величают? А мне и говорят: «Да разве ты не узнала? Ведь это не барин, а Петька Коленкин, у какого, говорят, в городе две лавки». Я и вспомнила, как это при матери его еще при покойнице (дружьё мы с ней были – водой не

разольешь!) я его за вихры дирывала. Вспомнила я это и говорю ему: что же это ты, Петька, расканальин сын, заспесивелся? Подика ты, мол, сюда, – я тебе, по старой памяти, волосья-то твои напوماженные своей рукой завью. А он, разбойник силы небесные! тому ли, как вспомнишь, злодея эдакого отец с матерью учивалили, – а он, разбойник подошел и смеется. А? Над старым-то человеком?.. Вертит, вертит вот эдак, золотые мои, хвостом-то своим и смеется. Я ему и говорю: что же это ты, Петрушка, али забыл, как с вашим братом старые люди за такие дела расправляются?.. И все нет тебе от него, от паскудника, почтения! А все это смех один, все смешки, – так это на губах бегают одни смешки, милые мои, а нет тебе ни единого слова. Вот они как, эти наследники-то!

– Ай-ай-ай! – удивились гости Мирона Петровича великой обиде старушкиной.

– Вот так-то, – продолжала старушка. – Ну, признаться, я уж тут и не вытерпела: бросилась так-то на него, вцепилась одной рукой в кудрясы-то, а другой по щеке, да по щеке...

И что же, голуби вы мои? Бросились, этта,

растаскивать нас, – тащут так-то меня от него, говорят: будет вам, тетенька, будет, Марья Петровна! А я-то не пускаю, потому и замерла-то я, и учить-то без родителей, чувствую, надо; а он тоже шумит, как невтерпеж-то ему пришлось: «Возьмите ее, старую дуру!» Вырвался, отошел и опять ведь его, искириота, опять-таки в прежний смех вдарило. Стоит и смеется, – смеется и говорит: «Каких зверей ни видал, а эдаких не пришлось посмотреть...» Вот тебе и наследник! – как бы пропела старушка, преимущественно обращаясь к Миرونу Петровичу, и затем заговорила с новым одушевлением:

– После того нашлись добрые люди, шепнули мне: «Что вы, Марья Петровна, с эфтим олухом царя небесного связываетесь? Ведь на него все давно рукой махнули, потому он все книжки читает и фанаберии{253} этой ученой, словно бы черт какой, набрался. Скоромное по постным дням жрет...» Матерь Божия! – вскрикнула я, услышавши это, и опять на него. – Что же это ты, мол, Петька, делаешь? И тут ведь не допустил – такой клятвой! Упер ручищами в это самое место, прямо-та-

ки в грудку наставил – и говорит: «Будет, будет, стар человек, а то ведь в суд потащу...» Как услышала я это, терпела, терпела все от него, а тут уж и заговорила: будь же ты от меня, отныне и до века, анафема проклят! Родители если бы твои видели теперича, они бы то же с тобой, с разбойником, сделали. «Вот это дело!» – он мне в ответ послал и опять засмеялся... И ведь, ангелы вы мои, что пуще всего душу-то воротит во мне, ведь сердца-то этого в нем (когда бьешь вот кого-нибудь, так видишь, что злится на тебя человек), – ведь этого-то в нем, вот бы в камне ровно, ни чуточки нет. Такой-то проклятый! В кого уродился только?..

– Ну-с, так вот тебе и наследник! – закончила наконец словоохотливая старушка свой длинный рассказ, снова обращаясь к Мирону Петровичу.

– Д-да! – задумчиво произнес хозяин, оловельными глазами пристально вглядываясь в головку сидевшего у него на коленях сына, как бы стараясь наверное отгадать, наберется ли впоследствии его наследник такой же фанатерии, какой набрался распроклятой Петь-

ка Коленкин.

Какая-то тяжелая пауза царила в комнате, – одна из тех пауз, когда люди, ажитированные{254} разговором о каком-либо особенно интересном предмете, вдруг почувствуют, что тема исчерпана до конца, – и долго сидят они тогда молча, со взволнованными лицами, – до тех пор сидят, пока кто-нибудь из общества поумнее снова не зажжет еще более одушевленного спора какой-нибудь новой мыслью, хватающей предмет с более широкой стороны.

То же было и с нашей паузой. Ее прервал хозяйский выкрик, обращенный к жене.

– Ну-ко-сь! Ну-ко-сь, Матренушка! И магический поднос снова пошел в кругокомнатное путешествие.

Москва. Женщины покупают мануфактуру у уличных торговцев. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

И как после поэтического молчания, производимого в благородных обществах до конца исчерпанной мыслью, вновь закипает



оживленный, блестящий остроумными искрами, спор, так и у нас, после хозяйского: Ну-ко-сь, ну-те-ко! – закипели разговоры, если и не особенно поражавшие глубокомысленностью определений таких вещей, каковы, примерно, любовь, прогресс и т. п., зато человек, всегда и на все смотрящий строгими, задумчивыми глазами, – этот человек с высоким лбом и горячим сердцем, спрятанным в тихую, сдержанную, но всегда истинную речь, мог бы найти в наших разговорах стремление униженного человечества к далекому от него небу. Мог бы найти, говорю, ибо я имел случай видеть, как у таких людей, от

подобных нашему разговоров, разглаживались широкие и угрюмые морщины, бороздившие их высокие лбы, – видал, как их строгие глаза зажигались страстным огнем любви ко всему живому, – и потом я слышал, как сердца их горячее бились, вследствие чего развязывались их тихие, сдержанные речи.

– Ну-те-кошь! Ну-ко-сь! – покрикивал хозяин. – Теперь, слава Господу, делишки мои поправляются. Вот он, законный-то наследник!.. Матренушка! поднеси нам с хозяином-то с молодым!

Матренушка с улыбкой, не допуская даже и тени прекословия, поднесла обоим хозяевам.

– Иван Петрович! Сударь! – крикнул ко мне хозяин. – Давай выпьем вместе за наследника. Что осовел-то{255} скоро? Рази это по-барски?

Столяры, сидя в темном углу, давно уже порывались хлестануть по-свойски какую-нибудь эдакую «калинушку с малинушкой», если б их не останавливал прачка – Петр Александров, который, переставши трубить, вдруг принялся говорить по-божественному.

– Микитушка! – приставали два столяра к третьему, – вали!.. – И Микитушка валил каким-то горловым, как бы недоумевающим, что он именно делает, тенором:

Калинушку-у с малинушкой{256}.

И лишь только двое подпевал зажмурили было глаза, чтобы такими же горловыми и недоумевающими унисонами пустить, что

Ва-ад-да п-па-анял-ла —

как их в ту же минуту прервал громовым, но безалаберно пьяным голосом прачка-Петруха.

– Не подобает! – заревел он на певунов, принимая свою горделивую позу, с заложением рук в штанишки. – Ныне время какое? Кто нас угощает? Тру-тра-тре-дри-дра!.. Вы, милые, знайте политику... Без ней как же возможно?

– Пьем, што ли, баринушка? – говорил мне Мирон Петров. – Матреша! поднеси. Илюша! иди сюда. Ты нас, в случае чего, не лови... Пей!

– Зачем ловить, Господи? Ай мы какие? –

конфузился Илюша. – Мы рази тоже не понимаем?

– И не смей ловить! – вдруг подскочил прачка, изображая, при помощи своих, заложённых в карманы брюк, ручонок, индейского петуха. – Не подобает! Раб неключимый!.. Мразь! Как ты смеешь, мерзавец? Где ты такой па-алитике научился?

– Ах, Петр Александрыч, Петр Александрыч! – добродушно улыбаясь, потрепал его Илюша по плечу, – Ч-чуден ты, Господь с тобой!

– Я-то? Я чуден, Илья? Ты со мной не шути! – походкой цезарей отошел величественный прачка от шутки будочника.

Ва-ад-да па-ан-няла

смелее и смелее раздавалось в темном углу столяров.

– Пра-ас-сти, жена, ты эфту мою глупость, т. е. к примеру, ежели насчет любовницев... – растягивал хозяин. – Ты мне ее прости, сейчас умереть, потому у нас с тобой все за едино!..

– Ды я тебе... ды я тебе... – вскрикнула необыкновенно весело и необыкновенно иг-

риво Матренушка, взмахиваясь на мужа кулаком, – ды я тебе все...

– Нет, стой! – стой! – неожиданно вошел в общую речь заклятый враг Петьки Коленкина – Марья Петровна. – Муж! Мироша! поцелуйся с женой... Ей-богу, смерть люблю!

– Мож-жна!.. И что только мне, лешему, в ум вошло? Какую мне такую еще барыню нужно? – спрашивал Мирон Петров, любовно, со свечой, осматривая лицо жены и целуя его. – Барин! А? Гляди-ка: биреж-жливая!.. Я за ней в приданое деньгами одними четыреста рублей получил... Ей-богу!

Со странным любопытством, как будто бы в первый раз смотрел на какой-нибудь невиданный предмет, я взглянул на лицо Матренушки – и увидал в нем сразу и рано умершую мать, и рано погибшую сестру, и напрасно страдающего брата... Лицо отца встало тоже в этот момент предо мной, – испитое такое лицо, болезненное... Простонало оно что-то и быстро исчезло, так что я не успел поцеловать дорогого образа. Страшно кружилась в это время голова моя, но я потер себе лоб рукой и вспомнил, что Матренушка необычно-

венно походит на народную гравюру, изображающую святую великомученицу Варвару, приложенную к житию ее, по которому я когда-то учился грамоте. Такое кроткое, покорное лицо изображено было на этой гравюре, – тихое и печальное. В книжке святая увенчана была венцом, блиставшим яркими лучами, а в руке она с тем величием, с каким цари носят свои скипетры, держала виноградную лозу.

Я хотел было вскрикнуть: «Мученица!» Но мой пафос был разбит, с каждой минутой все больше и больше расширявшейся, песней столяров:

*На ту пору ме-еня ма-ать роди-
ла...*

Будочник Илюша, пригорюнивши левой рукой свою покрасневшую щеку, пустил верха поразительно звонкой фистулой:

*Ах-х на тту-у пор-ру разне-
сча-астна-е...*

Какой-то молоденький мастеровой, красивый brunet, с необыкновенно угрожающим лицом, до настоящего времени совсем непри-

метный, теперь встал и покрыл «Илюшины
верха» могучей, словно бы из груди медведя
вылетающей, октавой.



Мастеровые покупают пироги на московском рынке. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Взволновалась эта октава, почувавши, что тут ее власть, тут ее сила, как волны широкой реки в половодье, когда, против всяких музыкальных правил, сочла себя обязанной затянуть следующую строку песни:

Р-рраз-знис-частну-о...

«Ах-х! М-ма-ать р-радила!» – подхватил своей фистулой Илюша, – фистулой, которая, очевидно, веселясь и играя, вела за собой тенорные горловые унисоны трех столяров...

Звонкий дискант в красном фартуке (немного, кроме фартука, видно было еще выпуклое плечо) перебил могущество октавы и самовольно захватил себе роль запевалы.

Разнисч-ча-а-стно-е...

прозвенел этот дискант, как полевая даль звенит в июльскую жарынь, и замер, залитый морем тех вариаций, которые делал Илюша, поглощенный тенорами столяров и октавой мальчика с черными волосами и угрожающим личиком.

Старушка Марья Петровна тихо всхлипывала, утирая пестрым платком свои маленькие глазки; а прачка-Петруха старался изо всех сил попасть в стройное согласие хора уже не своим умением трубить, а более или менее плавным движением рук.

– Под-днос-си! – кричал хозяин Матренушке, но лицо Матренушки горело, как раскаленный уголь, – по нему ручьями текли ка-

кие-то, если можно так назвать их, нежно-улыбавшиеся слезы.

Сидя на стуле и согнув голову на правое плечо, она в свою очередь отзывалась мужу:

– Ни м-магу! Ни м-маг-гу. Ха-ха-ха! Подноси сам. Я вас всех люблю...

– Иван Петрович! Ну-ко-сь! – подмигивал мне Мирон Петров на ведерную бутылку, стоящую в углу. – Подлей-ка, милый человек. Видишь, баба-то захмелела. Да и сам-то я, признаться, не так чтоб... Другому кому из компании этой радости поверить никак невозможно!.. Ха-ха-ха-ха!

В столярском углу неведомо откуда появилась отдельная свеча. Оттуда уже раздавались удалецкие «ахи и охи», характеризующие «*Камаринского*»{257}. Виднелся оттуда быстро кружащийся красный фартук с выпуклым плечом, да ясный и грубо-грозный лоб, с которого то и дело сбрасывалась черная, как вороново крыло, прядь волос...

Старушка Марья Петровна все плакала, и очевидно было, что слезы доставляли ей большое наслаждение. Матренушка, голову которой в это время обнимал муж, шептала:

– Да Господь с тобой!.. Мне что?.. Не-ет! Ты меня прости. Многим я тебе досаждаю...

Басовитый шепот хозяина слышался затем, – тихий такой шепот, из которого ничего нельзя было разобрать...

– Нет, как перед Господом, – как будто рыдала вслед за этим шепотом жена, – мне все равно!.. По мне, как Господь тебе на душу пошлет...

Я дрожавшими руками наливал водку из ведерной бутылки в большой графин, и мне в это время казалось, что звонкое бульканье переливаемой жидкости есть не что иное, как стеклянные клавиши, которые, как всякому известно, устраиваются в садах волшебников под фонтанами... Фонтан, капля за каплей, бросает на стеклянные клавиши свои светлые слезы, и клавиши поют от этих слез: а тут дремлют вековые рощи, в клумбах смеются благоухающие розы, очевидно, невиданные; волшебные птицы с разноцветными крыльями поют в освещенном солнцем саду, – и вот, на паре белых, как снег, лебедей, запряженных в раковину, слетела к фонтану, у которого будто бы я сидел, задумчиво жалуясь на

мою печальную жизнь, волшебница Добрада {258} и сказала мне: «Смертный! ты свободен...»

– Што, Мирон Петрович, Илюша здесь? – разогнал мои мечтания торопливый голос некоторой усастой личности, облеченной в пальто полицейского солдата.

– А, миленький, здравствуй! – отозвался начинавший было засыпать Мирон Петрович. – Ну-ко-сь!..

– Ты чого? Што там такое? – с неменьшей торопливостью осведомлялся Илюша.

– Да што, братец ты мой, ведь избил меня моя-то! Как ты говорил, так и случилось: слово за слово, рюмка за рюмкой...

– Ну, это не важно суть, – отвечал Илюша, снова становясь перед столярами в позицию хорового заправлялы.

– Ну-ко-сь! Ну-ко, Митя! Куша-ко! – приставал хозяин к усатой личности. – Куша-кось, Митя! Да в случае чего, ежели мы с супругой что, – мо-о-три.

– Будьте спокойны!

– Ра-аб-б! Сма-атр-ри! – приставал к Дмитрию и прачка Петруха; но на него никто не

обращал ни малейшего внимания.

– Какое там ловить? – уминая за обе щеки пирог, спрашивал Митрий. – Меня-то самого как бы... Ей-богу, насилу убег... Вот как припугнула! Слышь, Илюха: бегу я так-то от моей, а тут на уголку-то, знаешь, около огорода-то, снежок этими самыми золоторями ссыпан, так в снегу-то учитель – приятель-то твой – со своей тоже сидит, и тут у них разговоры... Тут разговоры... Я их сюда притащил, надо в часть, потому, должно полагать, кончин бал!.. Совсем, должно быть, насчет ежели голова закружилась...

– Дьявол! – закричал Илюша, моментально отрезвившись. – Ты зачем же их сюда-то тащил? Рази не знаешь, кой был наказ насчет их?.. «Изб-бави б-боже! Чтобы как можно тише...» Ну, ежели, избави господи!.. – И Илюша стремглав бросился к двери.

Вновь пришедший солдат стоял, выпучивши глаза. Компанство было нарушено.

– Да иди же, иди! – умолял Илюша кого-то за дверями. – Ид-ди!

– Ни с-смею. Там гыс-спада!

– Нич-чего! – взывал Илюша. – Не взыщут.

Што это только ты затеваешь всегда с этим Митькой?.. Все бы тебе, дьяволу, палкой – а?

– Ни м-магу! Прасти! Под сердцем все у меня што-то... Под ложечкой... Можжит што-то... Я его и бью тогда... Дух у меня захватывает от боли...

– Ид-ди! И вслед за тем в комнату влетела еще молодая, но в несказанных отрепьях женщина и закричала:

– Это меня Илюха... Я ни с-сама... Я бы ни пашла...

– Мил-лая! Ну-ко-сь! Мы об вас довольно даже наслышаны... Давно! – потчевал ее хозяин водкой из громадного стакана. – Нас-следник!..

– Проздравляю! – тянула женщина и свою речь, и хозяйскую водку из стакана. Ее облепили – и красный фартук с выпуклым плечом, которое теперь почему-то было еще выпуклее, и грозный лоб молодого мастерового, и много-много других личностей, которых настоящие физиономии до сих пор скрывались в непроглядной тьме комнатных туманов. Из суетливой толпы этих лиц слышался шепот: «Да что это, Митюхина, што ль? Митюха! твоя

што ли?»

– М-мая! – пугливо отвечал Митюха. – Такая бедовая. Сказываю: насилу убег...

– Напрасна! Напрасна, красавица! Это ты, милая, так-то поступаешь нихрашо! – раздавались укоризненные голоса.

Молодая женщина стояла, как пойманный зверь, с бесцельно выпученными глазами и как-то особенно бессильно опустив вниз свои драчливые руки... Прачка-Петруха, выразительно молча, тоже рисовался перед ней в своей горделивой позе, запрокинувши к потолку свою голову и заложивши руки в штанишки...

Ждалось, что вот-вот, вместо разудалой песни, Содомом и Гоморрой загудит сейчас по всей горнице разудалая, смертельная драка...

– От т-топ-пота к-коп-пыт-т пыль по по лю ннес-сется! – пробарабанило новое существо, входя в комнату тем пьяно-церемониальным маршем, которым входят на сцену многообразные «Любимы Торцовы»{259}, подготавливая этим маршем эффектное: «Быть или не быть» Островского. – С пальцем девять, с огурцом пятнадцать{260}!..

Вошедшая таким манером личность была остатком *доброго старого университетского времени*. Не было вещи, которой бы этот человек не знал: говорил он чуть ли не на десяти языках, был тонкий знаток классической музыки, а главное – он был народник, самый экстатический; и все это в себе он понимал как нельзя более хорошо и все это он, со страшным цинизмом, на каких-то, для самых близких ему людей неуловимых основаниях, топтал в грязь, заходя, примерно, после изящных обедов в кабаки, с целью выпить на пятак водки и поесть печенки.

Когда его спрашивали: отчего ты, Алексей, ничего не делаешь, он обыкновенно, балуясь, отвечал:

Девка да чарка сгубили...

Проговорил он свою входную фразу с добродушной улыбкой, которая ясно сказала всем: ну, ребята, нахлестался я здорово, – взыскивать с меня теперь нечего...

Из-за плеча этого человека выглядывал сладко улыбавшийся Илюша, за которым, в свою очередь, поднялась красивая, со вздернутым острым носиком, женщина, несмотря

на зиму, без платка на голове и в какой-то ваточной, обтерханной кацавейке{261}.

Илюша с какой-то таинственной радостью подмигивал и подмаргивал на вошедшего гостя всей компании, как будто давая знать ей, что вот, дескать, человек-то, братцы мои! Вот его-то нам только и недоставало...

– Илюша! – вдруг обратился новый персонаж к будочнику. – Ты где нас нынешнюю ночь приютишь – бесприютных – а? Вот этот болван-то хотел в часть отправлять. Ты этого не делай, потому мы помирились...

– За-ч-чем нам делать эфти пустяки, Ликсей Иваныч? – запел Илюша. – Переночуете в будке нонича-то, а завтра, Бог даст, насчет фатерки похлопочем как-нибудь... общими силами...

– Так, так! – согласился учитель. – Ах ты, душа-человек! – говорил он, обнимая и целуя Илью. – Это мы завтрашнего числа с тобой оборудуем в тонкости.

– Обид-дел! Обиж-жают! Люди добрые! обижают меня... – вдруг завопил прачка-Петруха, поникая на стол оскорбленной головой. – Ты что же, Ликсей Иваныч? Ты со мной так-то

поступаешь? Ты сколько годов у меня прожил – перечти? Ну-ко-сь? – спрашивал Петруха, огненно подвигаясь к нему и принимая свою картинную позу.

– Ах, милый! – обрадовался учитель. – Да я тебя и не заметил. Почеломкаемся{262}, – и они обнялись. Прачка при этом почему-то грустно зарыдал.

– Комната эта сам-мая... – рыдал прачка, – твоя-то... не зан-нята еще... Пустая стоит...

– Ликсей Иваныч! А, Ликсей Иваныч! – вдруг явился хозяин с подносом. – Ну-те-ко, друг!

– Вот это добре! – похвалил Алексей Иваныч, взявши рюмку с подноса и пристально в нее всматриваясь. – Это дело!

– Ликсей Иванычу! Ах-х, Ликсей Иваныч! – обступили учителя и трое столяров, и красный фартук, и молоденький мастеровой с вихрами на грозном лбу, и многие другие лица, трудно примечаемые в серой мгле комнатных туманов.

– Где Матренушка? – громыхнул учитель, все еще всматриваясь в рюмку. – Матренушка, где ты? Иди, выпьем с тобой.

Матренушка, при звуках этого голоса, живо покинула свой полуспящую позу и тоже бросилась к учителю, говоря:

– А, золотой! Где пропал?

– Выпьем, друг сердечный! – меланхолично отозвался учитель, одной рукой отставляя в сторону рюмку, а другой крепко обнимая хозяйку и целуя ее, от чего смешались слезы, текшие по их заплаканным лицам.

– Вот это по-нашему! – похваливал хозяин. – Вот это я люблю. Не говоря дурного слова, сейчас хлоп! чужую жену за шиворот – и уж целует. Вот так-то!..

– Молчи, раб неключимый{263}! – вдруг воскликнул Петруха-прачка. – Ты не панимаешь... Он у меня ноне ночует...

Хозяйка и Алексей Иваныч стояли в это время друг перед другом с рюмками в руках.

– Пей! – как бы приказывал учитель. – Я ничего не говорю.... – Он сделал при этом полуоборот к Илюше, за которым скрывалась востроносенькая девица с бледным лицом, без платка на голове и в ваточной кацавейке. – Так и ты пей, и не толкуй! Понимаешь?

– Ды, Ликсей Иваныч! – заговорила с пла-

чем хозяйка. – Ды уж, кажется, я ему... Кажется, что ни в чем...

– П-пей!.. Илюня! Пропусти-ка Грушу-то к нам. Иди, погрейся ступай.

Груша, как бы простреленная глазами всей компании, шатаясь и опустивши голову, подошла к хозяйке, которая с громким плачем принялась целовать ее и приговаривать что-то такое о горьких участках, о погибших головушках...

– Ну-те-кошь! – подскочил к Груше хозяин со своим подносом. – Ну-те-ко! Плакать-то подождите. Еще наплачетесь.

– Наплакаться всегда можно! – согласным хором вторили гости.

Происходило что-то странное в этом, недавно еще так дико бушевавшем, обществе. Настолько деликатно, насколько можно было, все эти люди старались не смотреть в опущенные глаза Груши, и только одна хозяйка крепко прижала ее лицо к своей груди и плакала. Тихий, всепрощающий ангел, очевидно, распростерся над этими двумя головами. Было тихое, тихое молчание, сквозь которое изредка пробивался чей-нибудь шепот, не толь-

ко что не нарушавший этого молчания, а как бы еще более увеличивавший его...

Учитель между тем увидел меня и подошел ко мне.

– Ты тоже здесь? – спрашивал он меня.

– Как видишь. Ты где пропадал?

– Как где пропадал? Будто не знаешь? – с унылым сарказмом спрашивал он. – Хотел было в приятном месте – *не трое, а хоть бы одни сени* выстроить...

– Ну и выстроил?

– Выстроил... Ты что думаешь обо всей этой истории?

– Да ничего не думаю. Ведь ты помирился... Опять не буду же я тебе в пятисотый раз, да к тому же и здесь, развивать мои теории относительно свободной воли и т. д. и т. д.

– Дурак ты, мой милый!.. – почествовал меня учитель.

– Это я и без тебя знаю.

Нам с ним не о чем было больше растолковывать. Он мне и я ему давно уже были уяснены до конца концов.

– Ну-те-кось! – перебил нашу беседу хозяин. – Будет раздобары-то раздобарывать.

– Ах-х, Мироша! – заговорил учитель, выпивши рюмку, – где бы это гитару нам теперь раздобыть – а?

– Гитару? Господи! Да, в один сикунт... Дядя Микит! бежи наверх к приказному. В гости он меня просил. Скажи, чтобы, мол, непременно с гитарой.

Скоро пришла гитара, вместе с приказным, одетым в истертый татарский халат. Вручивши гитару учителю и выпивши сразу по третьей, приказный и прачка-Петруха принялись друг друга учить политике и щеголять горделивыми позами и господскими разговорами.

Скоро мастерские, а главное – близкие всем гостям рулады учителя оковали внимание общества. Он, то под непостижимо-бойкий и умный перебор «*Барыни*»{264}, громким, как бы командующим голосом вызывал плясать красный фартук с молодым мастеровым, то вместе с красным фартуком, или, лучше сказать, со звонким дискантом красного фартука, соединял горловой тенор дяди Микиты.

Старушка Марья Петровна, оказавшаяся

староверкой, вспомнила с учителем свою далекую молодость, спевши с ним и с его гитарой: «Я птичкой быть желаю»{265} и «Незабудочка-цветочек»{266}.

С раскрасневшимися маленькими щечками, старушка лезла к учителю целоваться и тоном трагической актрисы кричала ему:

– Прости, прости! Слышь ты, голубь, прости! Понимаешь?

– До слова понимаю, Марья Петровна!.. – экстатическим криком отзывался учитель, не переставая импровизировать на гитаре, – до слова понимаю, друг ты мой великий...

– Ну, а коль понимаешь, – кричала старуха, – чего же не делаешь? Сын! Сыночек мой! Милый! Чего же не сделаешь? Сынок мой! сделай! Я тебе за это сейчас ручки поцелую, в ножки тебе, сынок, поклонюсь. Сделай! Видишь – стыдится...

Старуха упала в ноги учителю и, действительно, принялась целовать его руки.

– Спасибо тебе, старый человек! – тоже плача, обнимал ее учитель, – надоумила ты меня... Будь же ты благословенна из всех тех жен, каких только я знаю...

Бойкой такой, маленькой пружинкой вскочила вдруг с пола старушка Марья Петровна, бросилась к Груше и к хозяйке, которые все еще продолжали сидеть, обнявшись, схватила их своими костлявыми ручонками, подтащила к учителю, и тогда все эти четыре головы обнялись крепко и горько заплакали...

Тишина стояла в комнате поражающая. Приказный с прачкой-Петрухой, продолжая свой спор, кинули было несколько слов, но их сейчас же остановили дружные, хотя и тихие голоса:

– Тише вы, черти!

Оба спорщика, в лад всей комнате, замолчали, и только один несмысль-наследник, на самой середине горницы, заливался радостным детским смехом и безуспешно старался подняться на невыносимые ножки...

Что до меня, я, лежа на сундуке, с разрывающими слезами, завидовал и этим взрослым людям, так искренно простившим друг друга, и этому ребенку, так искренно радовавшемуся, – завидовал и в то же время желал им всякого счастья...

«Раститесь, множитесь и наполняйте землю», – невольно шевелилось на моих губах, а сердце так и подталкивало меня сбросить с себя тулуп, подбежать к плакавшей группе, обняться с ней вместе и плакать; но я чувствовал, что в голове моей сидел кто-то, с гордым, одутло-насмешливым лицом, и говорил мне:

– Ты куда? Зачем тебе к ним? Ты ни любить так не умеешь, как они, ни прощать... Лежи, – тебе и плакать-то стыдно!..

Я еще крепче завернул в тулуп голову, потому что, действительно, стыдился моих слез, которые совсем было задушили меня...

– Ну, ежели так, так Господь с вами, счастливые люди! – пробормотал я – и уснул в какой-то отчаянной тоске по ком-то и по чему-то...

Всю ночь снилось мне *обещанное царство благодати*{267}, тихое царство, без слез и скорбей, разрушающих жизнь. Я был бы совершенно счастлив, если бы мой проклятый мозг не имел обыкновения, даже и во сне, выпрядать какие-то отвратительно-шероховатые нити, от щупанья которых все существо

мое нервно вздрагивало и, против воли озлобляясь, говорило:

– Но ведь я сплю... Вот и тулуп, которым я накрыт, – *следовательно*, все это я вижу во сне...

Это следовательно губит и сны, и действительность...

Серое утро било в окна, когда я, почему-то необыкновенно испуганно, выглянул одним глазом из-под тулупа, покрывавшего меня. За стеной шипела пила.

* * *

Удары тяжелого молота обо что-то железное невыносимо больно терзали мой слух; топилась маленькая железная печь, наполнявшая комнату удушливым жаром. Красные уголья, которые виднелись в ней, явственно изображали донельзя насмешливые над кем-то улыбки...

Москва. У Страстного монастыря. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем. Государственная публичная историческая библиотека России

Осваиваясь постепенно с предметами, об-



становливавшими меня, я увидел, наконец, наследника, который, как и вчера, ползал по грязному полу, силясь приподняться на тонкие ножки, весело посмеиваясь и агукая большую черную кошку, приютившуюся со своим задумчивым мурлыканьем около печки.

– Да потише ты! – слышался тихий упрашивающий шепот Мирона Петрова, – потише. Ну, что хорошего? Вот Иван Петрович проснется... В кои-то веки забрел... Ни-хр-ра-шо!..

– Да! Мало шаромыг-то по улицам шляется!.. – запальчиво отвечала Матренушка. – Ты их всех собери поди. Все веселее будет... Тебе с женой-то, ровно бы с бесом, противно си-

деть... Так ты собери их побольше, да и целуйся с ними.

– Нихрашо!.. – усовещивал Мирон Петрович.

– Да чего хорошего? – больше и больше впадала во вкус злая жена. – Я тебе не запрещаю. Я прямо говорю: поди и целуйся. А мне сокращать себя не из-за чего... Довольно, кажется, от меня всего получено: и деньги мои, и забота моя...

– Ах, Царь мой Небесный! – сокрушенно прошептал хозяин!

Наследник, я видел, подполз в это время к хозяину и забормотал ему на своем таинственном языке что-то невыразимо-ласковое и смешливое.

– Да н-ну тебя! Отвяжись, Христа ради! Дядюшка Микит! – закричал Мирон за стену. – Подь-ко! Ну-ко-ся!..

– Так, так! – заговорила жена со злой улыбкой. – Эфто я давно знала. Еще может третьеводни{268} знала...

– Ну и знай! – огрызнулся Мирон Петров, отсчитывая дяде Миките деньги и снабжая его зеленым полуштофом.

С какой-то конфузливой, но старавшейся быть бойкой юркостью подскочил ко мне Мирон Петров и шутливо заговорил:

– Вставайте-ка, Иван Петрович! Бабы вас пивком угостят, пирожка испекут...

– Да, как же! – шептала Матренушка. – Теперь всего для вас припасли.

Марья Петровна, дую в чайное блюдечко, сдержанно хихикала при этих словах хозяйки.

Дядя Микит, живым манером оборудовавший полуштоф, теперь с неменьшим хозяйского конфузом мялся в дверях, потому что хозяйка, неприметно ни для кого, кроме меня, одним глазом выглядывавшего из-под тулупа, злобно погрозила ему маленьким кулачишком.

– Што мнешься-то, ровно бес перед заутренней? – закричал на него хозяин, очевидно, понимавший, в чем тут штука. – Иди! Кого ты должен слушаться здесь: меня, аль кого другого?

– Ну да, как же! Известно, тебя... – шепчет Матренушка. Дядя Микит послушно звякнул полуштофом об стол.

– Ну-ко-сь, Микитушка, спроворь там что-нибудь, по малости, на закуску, – приказывал хозяин, суетливо откупоривая посудину.

– Ну да ведь как же? – хихикают Матренушка и Марья Петровна. – Там эфтой закуски в-волю...

Дядя Микит, пошаривши в кухне некоторое непродолжительное время, возвратился оттуда с твердым убеждением, что закуски там не только нет в настоящее время, но даже как будто никогда не бывало и никогда не будет.

Хихиканье чаепийц раздалось еще громче; а Мирон Петров, не дослушав его конца, накинул на себя тулуп и стремглав побежал в неизвестное место, из которого скоро вернулся с двухфунтовой колбасой в руках, радостный и торжествующий.

– Иван Петрович! Ну-те-кость. Теперича это ничево... На похмелье-то... – потчевал он меня, огорошивши перед этим сам большой стакан водки.

– Вот так-то! – приветствовало эту выпиванцию, вместо вчерашней прачкиной трубы, злое шептание Матренушки. – Я так и зна-

ла.

– И знай! – ответил хозяин – Иван Петрович! Ну-те-ко-сь. Поднимайтесь. На них глядеть-то, верно, нечего...

Я поднялся и выпил.

– Ну-ка чайку нам! – приказал кому-то уже с сурьезом Мирон Петров; но кто-то, сидевший около по-змеиному шипевшего самовара, тоже с сурьезом ответил ему шепотом.

– Руки-то, поди, не отсохли еще! Сам нальешь... Еще ведь не натрескался.

– Ну-ну, – пробасил хозяин, – разговаривай по субботам!

После этого, как говорят историки, достопамятного изречения пред нами очутился вчерашний фатальный поднос с двумя стаканами чаю.

– Так-то лучше! – пробормотал Мирон Петров, с какой-то хитрой улыбкой, свое хозяйское слово. – У меня ведь так – так, а нет, так ведь... знаешь как?..

– Знаю, злод-дей! – завопила Матренушка. – Муч-чи-тель, з-знаю!

– Н-ну, и молчи – выходит дело... Значит, теперича и помалкивай. Это я тебе, как перед

Господом, говорю; потому напрасно не лайся. Я тебя не трогал.

Прачка-Петруха вбежал к нам в это время, необыкновенно испуганный, и закричал:

– Иван Петрович! Поднимись к нам, сударь, ради Христа! У меня там как есть Пугач поднялся... Бунт – одно слово!.. И што это у них только за политика такая?..

– Ну-ко-сь, Петруша! Ну-ка!

– Да уж мне не до эфтого!.. – почти плакал прачка. – Меня всево, может, сестры, как собаки какие бешеные, изгрызли.

– О! Ну их к Богу в рай! – толковал хозяин. – Ну-ка, Петушок! Куша-кось!

Мы поднялись наверх на прачкину квартиру, и там сразу осадил нас частый бабий гомон, словно бы торговала и кипела там какая-нибудь десятитысячная уездная ярмарка, со своими многочисленными горланящими кабаками, кричащими паяцами, ревущими коровами, гулко громыхающими телегами и т. д. и т. д.

– Варвар! Варвар! – неистовым голосом взывала вчерашняя востроносая девица. – Видь ты жисть мою загубил! Что же ты мол-

чишь-то, ирод? Аспид! ты что же молчишь-то?

Нам еще не видать было говорящего лица, но тем не менее слишком заметно было, что слова эти вместе с кулаками так и стремились к лицу того субъекта, к которому были обращены.

Прежде всего наверху нас встретила сестра Петруши, высокая, грудастая прачка, с носорожьим лицом и коровьим голосом, по ремеслу которой мой политичный компаньон и назывался, по общему голосу всей девственной улицы, прачкой-Петрухой.

– Гони! Сичас ты у меня их в три жилы гони{269}! Слышь? – в буквальном смысле заревела она на брата.

– Нихр-рошо! Добрых людей постыдись! – отвечал брат; но сестрица была вовсе не такого сорта, который мог бы, в некотором смысле, полинять от взоров добрых людей.

– Извольте, сударь, Иван Петрович, – обратилась она ко мне, – вашего товарища совсем и с паскудницей его взять от нас, куда вам угодно. Довольно даже мы от них натерпелись...

– Напотелась ты от их чаев с вареньями, а не натерпелась! – вдруг воскликнул Петруха, с блистательной вальяжностью закидывая в штанишки ручонки и запрокидывая голову к грязному потолку.

– Ах-х, т-ты паршивый! – удивилась сестра этой оппозиции, никак не подозревая, по случаю раннего времени, что Петруша успел уже садануть у Мирона Петрова стакашек, вызывавший обыкновенно с его стороны подобные протесты. – Да ты что же это выдумал, паскуда ты эдакая – а?

– Молчать! – загремел прачка. – Мер-рзавец! Молчать! Где ты такой палитике научился – а? Мр-разь!..

– Погоди, паршивец! – как сбесившаяся кошка, металась из стороны в сторону сестрица, наиприлежнейшим манером отыскивая что-нибудь по своей могучей руке, чем бы можно было как можно изящнее ошарашить по голове дорогого братца. – Погоди! Погоди! Я тебе вот покажу палитику!..

– Мол-ча-ать, тварь необузданная! – азартничал Петруша, вельможно притопывая дырвявыми сапожонками. – Тв-а-аррь! Не сметь

выгонять учителя, потому что я здесь хозяин. Прач-чка т-ты под-длая! Ты кто? – ты прачка; а я, по крайности, образованный человек... Ма-ал-лчать!..

– погоди, па-аг-гади! – шептала сестрица. – Я вот тебе покажу, какой ты такой есть хозяин...

Но я, не дождавшись этих показов, благополучно проюркнул в комнату, занятую учителем.

Здесь на первом плане, опершись локтями об стол, сидел сам учитель; перед ним, чахоточно задыхаясь, стояла, со сжатыми кулаками, востроносая девица и орала:

– А, подлец! Заступаться за себя привел? Заступаться? Хыр-рошо! Не трог заступаются...

Говоря это, девица смеялась каким-то глупо-мошенническим смехом.

Я не ждал от нее такой прыти.

– Послушайте, Груша! Что же это вы делаете? – заговорил было я...

– Ударь! Ударь! – перебила она мою речь. – Нет, ныне вашего брата за это... знаешь куда? К козе на пчельник... Ха-ха-ха-ха!..

Учитель как-то особенно тяжело приподнял со стола голову, взглянул на меня, уныло и апатически улыбаясь, и, будто сквозь сон, проговорил:

– Видишь? Пойдем!..

Мы пошли – и целый ад закипел в доме, гладко выструганные стены которого вчера еще так славно блестели на морозном полуночном фоне, смягчая его угрюмую, серую безжизненность своей ярко-зеленой крышей и пугливо, но отраднo мелькавшими из окон огоньками.

Схвативши под руку совсем ошалелого учителя, я торопливо побежал по девственной улице. На ней, во вчерашнем сугробе, в том самом, в котором так благодушно прошлой ночью играли Мирон Петрович с будочником Илюшей, теперь раздавались какие-то непередаваемые крики, подымались и опускались толстые палки, показывались – то дюжий кулак дяди Микиты, то избитое лицо Мирона Петрова, то седенькая головенка прачки-Петрухи, то вдруг краснелся, взвиваемый ветром, красный фартук, то грозный лоб с черной прядью волос, нетерпеливо отбрасы-

ваемый в сторону сильной рукой...

– Батюшки! Кр-раул! Кр-ра-аул!.. – разносило по улице двадцать голосов. Неистово скачало около бесновавшейся группы и гремя звонкими цепями, вторили этим голосам громадные собаки, собранные кутерьмой в одну кучу из всех домов.

– Что теперь станешь с ними делать? – в тяжелом раздумье спрашивали друг у друга оба будочника, стоя над кучей. – Забирать бы, по-настоящему, надо, да жаль, – люди-то хорошие больно...

Квартальный поручик, объезжая свой участок, закричал было стражам роковое «взять», но стражи, подбежавши к нему, с почтительными улыбками доносили ему:

– Никак невозмож-жно, ваше благородие! Больно люди-то милые! Все здешние обыватели...

– О, ч-чер-рт!.. пробормотал поручик и махнул рукой. Лихая пара бойко подхватила его щегольские санки, и только и видно было, как засеребрился

*Морозной пылью
Его бобровый воротник{270}.*

Весь этот день мы крутились с учителем по разным развлекающим заведениям. Мрачно уставя глаза в стакан, он часто спрашивал меня:

– Так ты говоришь, все это вздор – а?

Я молчал.

– Ну, скажи же что-нибудь. Ты думаешь, я пьян? Не-ет! Я ведь все помню. Ты сказал именно: неотразимый вздор... Так ведь – а?

– Ну, и сказал! Тысячу раз говорил тебе... Отвяжись теперь...

– Во что же я верил? Боже мой! Во что же я верил? Ведь это именно такое слово тут должно стоять: неотразимый вздор.... Черт знает, как это я не догадался прежде! Во что я верил?.. Ну-ка, налей!

Я наливал, а он пил и скрежетал зубами, обращая тем на себя общее внимание кабацкого человечества. Между тем на дворе стояла тихая, перевозимная ночь. С неба, грациозно волновавшимися пушинками, летел мягкий снег; а месяц, словно красавица из-под вуали, так приветливо всматривался в далекую от него землю...

Всю душу измучила мне сложенная мной в

эту ночь какая-то, решительно новая, нигде не слышанная и не читанная мной, молитва, с которой я обращался к небу этого вечера. Зажигала она сердце мое несказанным жаром любви к природе и людям; но тем не менее, когда я мысленно произносил ее, это прекрасное, всегда утешающее меня небо принимало в моих глазах какой-то холодный, исполненный неумолимой, но прекрасно-величавой мудрости, образ, который будто бы отвернувшись от меня наотрез, говорил мне:

– О чем ты просишь? Молчи – и иди!

И я шел... я шел; но с каждым шагом становилось бремя мое тяжелее и тяжелее, и всю человеческую, так долго и страстно горевшую и страдавшую, кровь мою охватило непреодолимое желание – спать, спать и спать...

Запивоха

I

Намереваясь сейчас как можно рельефнее вылепить для вас так часто встречающийся в Москве тип человека, подверженного запою, я для того, чтоб осветить должным светом его больную голову, сокрушенную губительной тяжестью того венка, который налагает на нее не древний, изящный Вакх, а просто-напросто всероссийский кабак, – для этого я прежде всего изображаю гостиную Онисима Григорьевича Столешникова, временного московского купца, занимающегося устройством загородных пикников, подрядами на свадебные и похоронные обеды и вдобавок снабжающего бедный люд деньжонками под залог и за умеренные проценты, как назидательно рассказывают об этом поучительные «Ведомости Московской городской полиции».

Изображать гостиные подобного рода людей нам не привыкать стать; рисуя их принадлежности, вовсе не заботишься о тонко-

сти и нежности штрихов, какими г-дам Зотовым и их последователям необходимо было чертить те благовонные будуары, где в таинственном и возбуждающем на всякую поэзию полусвете, на удобно пригнанных для этой поэзии кушетках и козетках полулежали различные princess'ы и comtess'ы. С видом прогнанных чрез водоочищающую машину Марсов стояли в тех гостиных безусые корнеты Ледины и Гремины, – стояли и говорили те, если можно так выразиться, маркизски-умные речи, от которых во время оно так сладко надрывались брильянтовые сердчишки наших барышень и которые лично мной названы «глупыми до разврата». Писать про такие нежности я не умею. Для серебряного рейсфедера, которым непременно малевалась сия умилительная пошлость, слишком грубы ручки Ивана Сизого.

– Что же такое? Всякий человек в своей сфере действовать должен! – сказал недавно в кабаке один прогоревший купец, когда ему объяснили, что вот он теперь прогорел и сидит в кабаке, а компаньон его приобрел и вляет теперь шампанское в соседнем трактире.

Должным образом постигая глубокий смысл этого изречения, я смиренно действую в своей сфере и говорю, что гостиная Онисима Григорьевича была совсем в другом роде: она, говоря грамматическими определениями г-на Греча{271}, «есть не что иное», как необходимая принадлежность тех каменных с деревянными антресолями домов, которых так много на московских девственных улицах. Я не имею в виду планировать вам передний и задний фасады самого дома, потому что выстроило его тщеславие человека, который добился наконец в свою долгую, трудолюбивую жизнь того счастья, какое у французов определяется многозначительным словом: *мещанское счастье*, а у нас не менее многозначительной пословицей: *себе при жизни, про свое доброе здоровье, опосля смерти – за упокой души*, – добился, говорю, и оборудовал себе дом, Господу Богу на славу, добрым людям на удивление и крепкую зависть!.. Следовательно, много их, таких домов, пугающих воображение, не настроенное специально на достижение мещанского счастья, своими красными, растреснувшимися

кирпичами, тусклыми окнами, завешенными в посторонне-наемных квартирах грязными юбками, заставленными ситцевыми подушками, с облезлыми собаками у разбитых как бы бомбами калиток и проч. и проч. Повторяю: много их, таких домов, красноречивее, чем Писемский{272}, характеризует нигилистов, говорящих про себя: меня выстроило *мещанское счастье* с тем, чтобы посредством меня грабить и убивать и без того ограбленную и убитую столичную бедность...

Итак, я проведу вас мимо этой обыденной домово́й физиономии, не рекомендуя ее вашему вниманию. В наши глаза и без того ежесекундно мечется слишком много и горя, и пошлости, – горя, тем невольнее разнимающего на горький смех, что оно от себя зависит, – пошлости, тем безлогичнее мирящей вас с собой, чем ваша логичность более прирождена вам и чем честнее она развита в вас, потому что пошлость эта не от себя зависит...

Конечно, вы теперь поняли, что и гостиная Онисима Григорьяча не составляет нити завязки моего романа, и если я иду туда и веду вас с собой, так делаю это, во-первых, для то-

го, чтобы, как говорится, ловчее подъехать к самому делу, а во-вторых, главным образом для того, чтобы в этом купеческом домицилии, сравнительно с нашей постоянно колеблющейся и, как уже сказано, взбаламученной почвой, гораздо реже и тише обуреваемом, отдохнули глаза, заслепленные до режущих и кровавых слез безалаберной толкотней русского базара, на котором, по его собственной пословице, *все с рук сходит*, – и успокоилось сердце, изнывшее от страшных воплей многообразных жертв, попавших *как-нибудь ненароком* под тяжелые, ухарски раскатившиеся базарные колеса...

Тишина поразительная царствует в этой гостиной, точно так же, как и на улице, на которую смотрит она своими двумя окнами, та же тишина. Яростное чириканье двух больших воробьиных стай, насмерть разоравшихся, вероятно, за исключительное обладание девственной улицей, даже как бы усиливает всеобщую мертвую неподвижность местности.

Без конца долго, а особенно посытнее поевши, можно сидеть на мягком кресле под ок-

ном в столешниковской гостиной и оттуда молчаливо и неподвижно, как каменная статуя, смотреть на эту улицу с деревянными домами, – на баб, лица которых пылают пожаром двенадцатого года, с мокрыми вениками под мышками бредущих по траве, – на разношерстных котят, целыми гнездами обитающих в этой траве, и, наконец, на молодого еще и потому несколько дурковатого будочника, который, кажется, для того и жительствует в будке, чтобы сражаться с кошачьими стаями и угощать забористым нюхательным табаком маленьких девчонок и ребятишек.

Обнимает человека во время такого смотрения какая-то сладкая, отрешающая от всяких мирских попечений, дрема. Смотришь, смотришь так-то, а они – эти обыденные, заученные наизусть картины, все идут, – идут так тихо, так плавно, что непременно из самой глубины души созерцателя вытянут такие смиренные речи:

– Господи! да из чего же это люди бьются-то на белом свете? Из-за чего же это они друг друга едят? Сели бы вот так-то, сложили бы ручки, да и сидели; поглядывали бы по-

смирнее на тишину-то Господнюю. Чего бы им лучше этого блага!..

Но бьется сердце, даже самое смирное, против жизненной всасывающей тины до тех пор, пока можно биться, пока есть в нем силы и горячая кровь. Редкого, разумеется, не засасывает тина; но тем не менее, если мы согласимся с Расплюевым – всякую битву называть игрой, то, конечно, вместе с тем должны сказать и то, что эта игра есть самая азартная из всех игр, какую только приходится человеку разыгрывать в этой жизни.



Воскресный торг на Трубной площади. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем». Государственная пуб-

Я потому собственно распространяюсь на эту тему, чтобы вы, введенные мной в гостиную Столешникова, не испугались ее тишины и не спросили бы меня:

– Да зачем же вы привели нас сюда? Здесь и жизни-то нет никакой. Что мы там смотреть будем?

Тут-то вот и начнется моя заслуга как нравописателя, когда я разуверю вас в вашей ошибке, рассказав вам, что в этом, по-видимому, окаменелом царстве была игра, утомонившая человека, – каков был этот человек до своего утомона, как и что именно утомонило его, и чем наконец он живет теперь, смутно предчувствуя, что вот-вот скоро эту смирную, всегда одно и то же показывающую улицу поразнообразит погребальная процессия, с уходом которой покончится все – и не будет тогда ни вздыханий о своей жизни, проведенной у *косяцета окна*, ни печалей о том, что люди едят друг друга, – печалей, как вы уже видели, непременно налетающих на голову, полюбившую процесс глядения на однообраз-

ные картины девственных улиц.

С этой точки зрения я и отрекомендую сейчас Марфу Петровну, жену Онисима Григорьяча, которая прежде всего бросается в глаза, при входе в гостиную. Эта, еще достаточно свежая, но молчаливая и часто вздыхающая о чем-то, старуха хоть и редко когда в настоящее время о чем-нибудь разговаривает, но нам, надеюсь, она, без особенных просьб с нашей стороны, распишет должным образом и свою гостиную, и ту жизненную игру, какую она сыграла в ней.

«Что этой у меня силы было, что красоты, когда я невестой считалась, страсть!.. – Так обыкновенно начинает рассказ про свою жизнь Марфа Петровна, когда человек умеющий натолкнет ее на этот рассказ. – Бывало, в крещенские морозы, какие подруги к обедне в шубах идут, какие в салоплах, а я себе качу в одной ватной шимовочке{273} – и щеки у меня, пожалуй, что всех алее были. И возилась я в это время неустанно, от ранней зари до поздней ночи, за каким-нибудь делом, потому сталкивало меня что-то с места, ежели случаем сесть приходилось, – жилы во мне

так и говорили все. Нечего ежели делать, так полы мыть принималась, – как стеклушко у нас были полы завсегда. И было для меня это время самое трудное, потому и наяву, и во сне все это тебе женихи представляются, все это тебя тревожит что-то и в сумление вводит... Грешница перед Богом! Видючи так-то, как там иные прочие по соседству жен-то за косы таскают, так я мужиков этих никогда очень-то не жаловала, а тут взмолилась; «Господи! мол, да пошли же ты мне мужа какого-нибудь, – все бы мне с ним, может, полегче стало». Мечешься, мечешься, бывало, по постели-то, а в спальне жара страшная, духота, тишь! Всю тебя эдак разморит, – не приведи Царица Небесная! Так я теперича полагаю, что эта боль всем болям голова!

Но только что же вы думаете, милые вы мои? – вскрикивала всегда старуха в этом месте. – Думаете вы небось, по молодости по своей, что замужство лучше? И сейчас мне умереть на сем месте, – ничуть не лучше! Боль эта молодая точно что унимается немного, а чтобы т. е. насчет этого счастья, чтоб очи твои завсегда на милого человека, как в девках хо-

телось, глядели, так это и думать не могли... Случаем ты его огорчишь, случаем он тебя озлобит – и выходят от этого такие беды, что жизни не рад, потому как замуж-то выйдешь, спасенья-то тебе ниоткудова и нет уж; а в девках-то хотя и болишь, хотя и скорбеешь, а все же надеешься на что-то. Так то-с!

Не подумайте вы, одначе, что я это про себя говорю, старику своему в суд и смех. Грех так-то и мне говорить, и вам думать. В суд-то я редко когда говаривала, да и то когда еще молода была, зелена, не знала, как тяжело на людских головах наши сплетни садятся. И без моих слов вам известно, а без этого я бы и речи такой не вела, какой у меня муж. Пьет он у меня, буянит пьяный, дерется, ежели под руку подвернешься, – все это вы видите и знаете; но того вы не видели и не знаете, что в тридцать-то годов всяких дум мы с ним одной согласной душой передумали, что всяких дел одной силой переделали. Про добро-то про это людям и говорить-то не подобает, потому добро редко кто переймет, а перенимают все больше худо одно. Истинно!

Полагаешь ты, друг сердечный, легко мне

было мужнины качества сносить, когда я не могла в толк-то взять, раскусить-то мозгов не имела, отчего он пьет, отчего буянит и зачем дерется. Соседки, бывало, придут, так же, как и я, молодые, и говорят: «Тебе, говорят, беспрерменно надо, Марфа, на своего идола в фартал идти жаловаться. Мы на своих уж ходили. Знатно с них там по три серебра на мировую счистили. Пришли оттуда, крехтят – и вот уж кой день от них словечушка не слышать...» Бог только берег, а то ведь, чужих, глупых разговоров наслушавшись, в фартал сбиралась с жалобами не один раз.

Стерпела же вот – ничего, без фарталов прошло кое-как, потому муж трудится, муж телом и душой за семью болит. Взять хошь бы моего старика: кто знает, как он там стол сдал? Может, его барин какой-нибудь пьяный ругательски обругал. Может, он его – этот самый барин – лакеем выругал и к щеке подступал ни за что, ни про что; так, значит, теперича по-вашему-то, ежели глава дома, на какой, может, он день и ночь кровь свою проливает, приходчи в свой дом, и сердца ни на ком не должен отводить? Как же!..

Понять это, избави господи, сколь много время требуется!.. Иные всю жизнь до таких понятиев не доходят – и умирают от этого в жестоких муках. А я, слава богу, скоро с тычками мужниными помирилась, а помирившись, стала детей ждать. Думаю так-то: погоди, мол, маленько, станешь ты у меня пить и буянствовать, когда я тебе ангельчика безгрешного принесу. При думе такой, ей-богу, страсть как сама радовалась! И он ничего, недельки на две после первого ребенка затих, а потом опять, кажется, еще лютее воевать пошел. Да оно чему тут удивляться, на что тут сердиться-то? Лишняя забота прибавилась, – он и завоевал лютее, вот и все. Хорошо, что теперь-то это все постигаешь, а тогда-то куда тяжело сносить было!..

Торговка старыми вещами. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» Государственная публичная историческая библиотека России

Вынянчила детей, вырастила, а они, выросши-то, прочь от матери, потому мать необразованная. Разве она их разговоры какие



ученые переймет? Где ж ей перенять!..

И села я тогда, други сердечные, вот у этого окошка в великой тоске, словно бы кукушка какая горемычная, и задумалась крепко-накрепко. «В чем же, думаю про себя, Господи, я утеху себе теперь найду? Без ничего ведь, мол, Боже ты мой, век свой я доживаю», – и никак себе в понятие не возьму, зачем это я, грешница, на белом свете жила, зачем сама

сокрушалась и других сокрушала.

И тогда-то вот, как я раздумывала таким манером, невидимо кто-то в душе у меня и заговорит: «Что ты это такое, баба, неподобное говоришь?! Достатком вас с мужем Бог наградил. Помогай, шепчет, своим достатком бедным», – и взяла я это себе в ум, и стала помогать. Ну, и точно, делала я, не потаюсь с правдой моей, великие добродетели. Только что же? Чем, вы думаете, люди за мои добродетели отплатили мне? – Известно, чем они платят за добродетель-то, потому я и не скажу ничего об этом. Что ж такое? Зачем мне говорить? Люди-то – братья наши, они по образу и подобию Божьему созданы, – значит, про них, как об зверях диких, говорить невозможно, пытаму грех...»

Целые тридцать лет играла таким образом в своей безмолвной гостинной Марфа Петровна и, как говорится, досыта наигравшись, молчит теперь, редко когда раскрывая рот.

«Бог с ими совсем!» – почти единственной фразой встречает она в нынешние свои годы всякую новость, как бы она ни была поразительна, и при этом махнет рукой с тем видом,

какой бывает у человека, говорящего: «Ну, господа! моя песенка спета. Пойте теперь вы свои песни, ежели голоса есть».

И сидит теперь Марфа Петровна у окна гостиной, словно бы какой сказочный сидень Илья Муромец, вставая только для того, чтобы попить чайку, да пообедать, – сидит и не сводит глаз с тихих, однообразных картин своей улицы. Какая-то тусклая неподвижность, как на только что замерзшем пруду, лежит на ее лице, и очевидно, что глаза ее хоть и смотрят на что-то, но ничего не видят. Склоненная набок голова хоть и напоминает позу человека во что-то вслушивающегося, но тем не менее можно подтверждать какой угодно клятвой, что купчиха не слышит даже тихого шепота своих двух взрослых дочерей, которые тоже сидят в гостиной и шепчут:

– И вижу я во сне, милая Паша, нонешней ночью, – говорит старшая младшей, – быдта стою я у калитки, а они – офицеры-то – и выезжают из-за угла на белых конях, все в золоте, с саблями. И принялась я сейчас этих офицеров стыдиться!.. Так-то стыжусь, так стыжусь – страсть!.. А они мне быдта и говорят:

милая барышня, говорят, каких таких вы родителей дочь будете? Я им в ответ: на что это, мол, знать вам, господа-кавалеры? – Так, говорят; очень мы вами прельстились и желаем с вами знакомство завести. В ту ж минуту, видя их такое нахальство, стала я им презрение свое показывать, а они смеются... И только же, милая моя Паша, что тут вышло опосля, уж и в ум не возьму: принялась я быдта по-французскому разговаривать с ними. Так это часто, так часто разговариваю, так и сыплю. А офицеры, послушамши такого моего по-французскому разговора, говорят: видим мы теперь, барышня, всю вашу образованность, – извините-с! А сами руки все до одного человека под козырьки и саблями эдак фить-фить, – честь, значит, мне, все равно как начальнику, отдали!..

– Вот так сон! – удивлялась младшая сестра. – Антересно было бы знать, что он такое обозначает собой и каких нам перемен надоть ждать...

– А я уж к Машеньке Распушилиной бежала, – рекомендовала сновидица, – у ней сонник есть, так я справлялась. Значится там, в

соннике, что по-французскому с господами-офицерами во сне говорить для молодой девицы знаменует: *от родителей или старших родственников быть очень битой, так что, пожалуй, до уродства, а для почтенного торговца оный же сон великую прибыль знаменует.*

– Неужто так-таки и сказано?

– Так и сказано.

– Ну, хорошего-то в этом мало. Жди теперь от тятеньки трепки, – беспреренно пьяный придет.

– Чего кроме ждать? А я, милая Паша, как было обрадовалась-то! Проснулась когда, так и то все радуюсь, все думаю: вот, мол, до какого счастья довелось дожить, по-французскому, мол, вдруг в одну ночь выучилась! А в спальне-то, Пашенька, такая-то жуть, такая-то духота, – не приведи господи! До самого до света не могла я после своего сна заснуть, потому что все *они* представлялись мне, как это *они* едут, едут, а в руках у них сабли наголо, позади их солдаты в трубы трубят и в барабаны бьют... Как есть война!..

Но ничего не слыхала старуха из дочерни-

ных разговоров об офицерах, потому что в противном случае сон, как говорится, в руку бы дался, если не по отношению к почтенному торговцу, как объяснял сонник, так по крайней мере по отношению к молодой девице.

– Насчет ежели теперича, когда девица до закону про мужчин начнет рассуждать, то я этого терпеть не люблю, – обыкновенно говаривала Марфа Петровна, равнодушная ко всему остальному. – И так бы я эдакую девицу сейчас же за косы и давай возить, потому не ее короткому разуму такие дела решать.

Итак, в столешниковской гостиной царствовал только один едва-едва расслушанный мной разговор девиц да витала невидимая дума Марфы Петровны, сидевшей у окна в своей обыкновенной неподвижности.

Тишь и благодать были полные.

Разборчивее всех живых людей, бывших в гостиной, разговаривали толстобрюхие, косорылые и косоглазые амурь, пузатые лиры и кривые роги изобилия, которые пущены были по потолку покоя художнической рукой хозяйского приятеля – маляра Григорья Зве-

рева. Летая по белому фону потолка, все это порой как бы собирается в тревожные, совещающиеся о чем-то кучки; шепчутся о чем-то в этой всевыдающей тишине; слышно даже, как шуршит паутина, которую стряхивают амуры со своих рыжих кудрявых голов, и в уши Марфы Петровны летит сверху следующий разговор:

– О чем это? Что это она думает? Ведь целый день она так-то сидит!.. – с видом глубокого недоумения на пузатом лице спрашивает у корзинки с фруктами некоторый крылатый мальчуган, с колчаном за плечами, полным оперенных стрел.

Корзинка с фруктами продолжает быть задумчивой, и ежели бы у ней была голова, так она непременно закачала бы ею отрицательно: дескать, не могу знать, о чем это она так сильно раздумалась.

– Вишь, вишь какие! – думает при этом сама Марфа Петровна. – Про хозяйку начали растолковывать!.. – и при этом на ее лице примечается даже что-то вроде улыбки. – Говорила Онисим Петровичу: Онисим, мол, Петрович! не расписывай, мол, потолка, потому

все это кумирские боги – идолаы, а оно так и вышло – вот они уж и заговорили.

– Эх вы! – отзывался снизу на верхнюю речь тяжелый, старомодный диван каким-то толстым, совершенно медвежьим голосом. – Давно ли вы здесь летаете-то, что думаете разгадать хозяйскую думу? Я вот уж который год здесь стою, да и то этой думы не знаю.

– Так, так, милый! – поддакивает ему хозяйка. – Заступайся за меня, – я тебя сама покупала, когда еще молода была. Двадцать пять рублей, по тогдашнему на ассигнации, белой бумажкой я за тебя заплатила. Заступись!

– Спуску не дам, хозяйка! Молчи только, – успокаивал диван. – Я их, короткохвостых, всех до единого распугаю.

– Мы им покажем себя! – энергично вторят дивану расставленные около него массивные шестеро кресел, совершенно по-гусарски подпираясь при этих словах в бока своими изогнутыми ручками.

– Вам-то себя и показывать-то! – вдруг зазвенели из стеклянного шкафа чайные, столовые и десертные ложки, заложенные некогда

Онисиму Петровичу отставным штабс-рот-мистром Полведерно-Бубновым. – Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? – продолжали спрашивать ложки, видимо, принимая сторону рогов изобилия, амуров и проч.

– Фас-ссон! – презрительно и в один голос восклицают диван и стулья. – О, чер-р-ти! Сам-и-то вы очень фасонисты! Тоже старье ведь...

– Так, так, милые! – уже, так сказать, осязательно улыбаясь, говорит хозяйка. – Не выдавайте, – рази они моложе вас? Рази я под них тоже не сама деньги выдавала двадцать годов тому назад? Такие же и они, как вы.

И тут пред оловянными выпученными глазами Марфы Петровны начинается ожесточенная и в высокой степени суматошная битва между низом и верхом, т. е. между диваном и креслами, с одной стороны, и между амурами, лирами и рогами изобилия, с другой. Вот одно кресло с легкостью птицы взлетело на потолок и брыкнуло задней ногой по корзинке с фруктами так, что несколько апельсинов скатилось на пол. Марфа Петровна подняла один, попробовала – кисло и горь-

ко до отвращения. Она бросила апельсин вверх и вышибла им глаз амуру, амур закрыл свою толстую рожицу пухлой ручонкой и застонал от боли. Диван протяжно и басовито хохотал над страданиями маленького, как говорила Марфа Петровна, кумирского бога, – до тех пор хохотал, пока божок в свою очередь не слетел с потолка и с ожесточенной яростью не вцепился в волосы насмешника.

– Что же это? Что же это такое? – вопрошает наконец Марфа Петровна, уже совсем пробуждаясь и вставая с кресла.

Но никто не дал ей удовлетворительного ответа. Амуры присмирели и, как в день своего рождения, продолжали лететь куда-то, распростерши крылья и плутовски улыбаясь. Диваны и кресла, его обставлявшие, угрюмо додумывали свои медвежьи думы, а серебряные ложки блистали из мрака запыленных шкафовных окон безмолвной, но тем не менее светлой надеждой, вероятно, на то, что вот-вот придет сюда старый хозяин их, отставной штабс-ротмистр Полведерно-Бубновский, с громким смехом вытащит из бокового кармана только что выпонтированную пачку ассиг-

наций и выкупит у Столешниковой свое дворянское, наследственное серебро...

Все по-прежнему стояло на своих обыкновенных, неподвижных ногах; тишина, видимыми, толстыми слоями носившаяся по гостиной, снова защемила сердце купчихи, взбудораженное немного той фантастической возней неодушевленных предметов, до которой часто досиживается и додумывается человечество, за отсутствием действительных, жизненных потрясений.

– Господи! что же это за тоска такая? – с долгим зевком спрашивает Марфа Петровна. – Хоть бы чаю напиток, што ли?

– Только во сне и увидишь что-нибудь хорошее, – раздавался тихий девичий шепот вместе с безмолвным разговором матери. – А днями такая тебя тоска ест!.. Хошь бы тятенька поскорее запил, – все бы, может, он, как в прошлый раз, привел с собой для компании поручика Свистюкова. Ведь есть же на белом свете эдакие мужчины приятные!

Водонос. Москва. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем. Государственная публичная историческая



библиотека России

Итак, вот по какому нетреволненному озерку покачусь я с вами смотреть дальнейшее жизненное течение столешниковского дома. Смотрите же, не пугайтесь, когда это, с первого взгляда маленькое и тихое, озерцо превратится дальше в бурно ревущее и никакими плотинами не сдерживаемое море, – когда на его необъятно разлившихся водах покажутся острова из тины и грязи, сплошь покрытые непроходимыми, дикими порослями, и особенно тогда, когда из этого дремучего ле-

са раздадутся отчаянные, беспомощные крики жертв, которых неумолимо пожирает там гибельный порядок вещей...

II

Неизвестно, как долго продолжалась бы эта тишина в купеческом доме, если бы не случилось следующего обстоятельства, по поводу которого выходит наконец на сцену глава фамилии, сам Онисим Григорьич Столешников.

Одним летним утром сам глава, напившись пораньше чаю, ушел куда-то из дому на раннюю работу. Остальное семейство, т. е. барышни и Марфа Петровна, сошедшись в гостиной, единогласно рассказывали друг другу, что как молодое, так и старое поколение, как бы заранее сговорившись, увидели в прошлую ночь во сне, что, «будто иду я, милые мои, по улице, по какой подлинно – не упомяну, и набежала будто на меня черная-расчерная собака. Набежамши, выпучила на меня свои бельмы собачьи и говорит человеческим голосом, таким страшным голосом: «Ты, говорит, куда это – а? Рази эдак-то можно женщи-

не по улице шататься?» И с этим словом хватить меня, проклятая, за ляжку, так что кровь, самая что ни есть красная, ручьем эдаким резвым и полилась».

Не нужно было даже справляться и в соннике, что означал сей всеобщий сон. Всегда он безоблыжно показывал скорое свидание с ближними родственниками. Положили поставить самовар и дожидаться этого свидания.

– Кто же это такое будет у нас? – несколько раз озабоченно спрашивала старуха, дуя на чайное блюдечко, – Ума не приложу.

– Антиреспектно узнать, какой такой родной к нам припожалует, – в свою очередь втихомолку раздумывали девицы. – Уж не женихи ли какие? Ах, как бы Господь послал поскорее. Лестно бы из эфтой тюрьмы куда-нибудь хотя вырваться. Сейчас умереть, за любого урода, безо всяких разговоров, пойду...

Как бы отгадывая тайные, семейные желания, в гостиную ввалилось некоторое крестьянское существо женского рода, очевидно, из-под Ярославля, костюмированное в как бы нарочно придуманные синие лохмотья, с ко-

томкой за плечами из перестроенного на новый лад старого солдатского ранца. Ввалившись в комнату, существо это с улыбкой, в одно и то же время изобразившей и глубокую преданность, и глубокую радость, доставленную свиданием с Марфой Петровной и ее дочками, проговорило:

– А вот и мы к вам! Небось не ждали гостей-то? – Вслед затем женское существо изпод Ярославля принялось освобождать себя от котомки и синих лохмотьев, потом громко и жалобно зарыдало и, так сказать, сквозь рыдания пропустило такого рода объявление.

– А мы ведь, сестрица милая, опять погорели! Семь одних лошадей сторело, три коровы, что теперича коробья разного!.. Вот в чем, видишь, осталась, а мужики, сейчас околеть, без рубах по соседским печам укрываются..

«Н-ну, д-аа! Знаем мы вас!.. Который уже год ходишь так – на погорелое с брата дерешь!» – с некоторым неудовольствием подумала Марфа Петровна, лобызаясь с гостьей.

А гостья была сестра Онисима Григорьича, действительно обитавшая в одном из сел Ярославской губернии. Она через каждые два го-

да путешествовала от родимых пенатов в Москву к своему единоутробному братцу для того, чтобы выпросить у него, хоша по крайности, пятидесятную, под тем благоприличным видом, что акибы на погорелое место. Известна она была в семействе единоутробного братца под немногосложным именем сестры Татьяны, оставшейся в крестьянстве, которой, по этому случаю, непременно нужно было помогать не только деньгами, но и главным образом теми отрепьями, какие скапливались в семействе в два года отдыха от ее визитов.

– Что же это такое, милая сестрицушка, за пожар был – страсть! – докладывала Татьяна, присаживаясь к самовару. – И бог ее ведает, от чего это и как загорелось... Сказывают: все это виндерцы подпаливают. И кой их леший ухитряет только на такие дела!..

«Н-ну, д-да! Разговаривай по субботам про виндерцев-то. Сама-то ты и есть виндерский разоритель», – думала Марфа Петровна, слушая трагический рассказ Татьяны, пришествие которой так удачно напрозорчил сон прошедшей ночи.

– Ну, что братец? Как он тут поживает? Все ли в добром здоровье?

– Да что братец? – Братец, известное дело, работает, рук не покладывает, потому семья. Пить-есть надо, обуться, одеться, капитал заплатить, – отвечала хозяйка многознаменательной аллегорией.

– А мы там прослышали, – развивала гостя разговор, – купцы ваши проездом у нас в избе останавливались, так они сказывали, что будто он пьет; а то бы, говорят, богаче вашего брата, может, во всей Москве не было бы, потому очень он к торговле всякой ретив и способен.

– Что правда, то правда! – подтвердила Марфа Петровна слух, занесенный из Москвы на дальнюю сторону. – Одно горе у нас: заповойство это проклятое. Сколь много оно к нам в дом зла приносит, одному Богу известно.

Разговор, попавши сразу в так глубоко проторенную русскими людьми колею, делался с каждой минутой живее и дружелюбней.

– Лечила бы ты его, милая сестрицушка, – умиленно советовала ярославка. – Первое дело: молитва тут очень помогает, другое...

– Лечила уж всячески. Сколько капиталу на эвтих лекарей да лекарок потрачено!.. Плотину, кажется, можно было б тем капиталом смостить. Нет, уж верно терпи, авось Господь за грехи на том свете зачтет.

– У нас вон у деревенских-то так ведется: ежели какой мужик очень наляжет на это вилице, мир сейчас соберется, да своим судом его отлупцует, как следует, – ну, и ничего: иные, слава богу, скоро после этого в память приходят и перестают... У вас ведь небось так-то нельзя?

– Кто же на такое лекарство из образованных людей согласиться может? – с большой досадой спросила у ярославской теткы старшая барышня, которую вместе с бесчисленным количеством разных моральных совершенств украшало еще и то глубокое убеждение, что она всякий субъект, одетый по-немецки, считала образованным.

– Известное дело, кто ж из господ купцов, али бы теперича из дворян, пойдет на такое дело. Я это так только к слову сказала, как у нас по селам делается... Я вот в прошлом году от одной странней богомолки самое верное

средство слышала, так хотела про него сказать. Кто ведь ее знает-то? Сделается – и поможет. Богомолка сказывала: дюже, говорит, хорошо; я, говорит, на многих пытала.

– Что же? Как? – любопытно осведомлялась Марфа Петровна, готовая на всякую жертву для приобретения верных рецептов от запоя.

– Возьми, говорит, ты гвоздь двухтесный {274}, распали его добела...

– А потом в крещенскую воду его опустить и той водой поить больного девять зорь утренних, девять вечерних... – подсказала хозяйка.

– Так точно, – подтвердила гостя, опечаленная невозможностью услужить чем-нибудь благодеющему семейству.

– Это мы знаем, – на одном приказном наша кухарка это средство пробовала. Больше трех зорь не выдержал, а на четвертую так начесался, и так он эту самую кухарку исколотил, насилу отняли. «А, ты, говорит, с гвоздя?..» Когда протрезвился, так лечиться больше не пожелал, потому, сказывает, «за что же я ее бить буду – кухарку-то? Она, говорит, ра-

зи в этом виновата?..» Мы уж на Онисиме Григорьиче и не стали пробовать: побоялись, – опасно должно быть.

– Нет, сестрицушка, богомолка про это, т. е. очень чтобы про буйство-то, ничего не говорила. Сказывала только, что нет быдта того лекарства лекше и приятнее.

– Не знаю; а что у нас смертоубийство из него чуть было не вышло, так это верно я тебе сказываю. Мне что же врать-то?

– Известно, зачем врать, – переспросила ярославка, впадая в уныние, конечно, от того, в эту минуту пришедшего ей на память обстоятельства, что вот, дескать, знают же люди издавна, что врать незачем, а все врут, и что она – эта самая ярославская Татьяна – идет по такому противоречивому пути прытче, может, всех людей на свете.

В апрельскую распутицу на мосту. Гравюра К. Вейермана по рисунку Н. С. Негодаева из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г.
Государственная публичная историческая библиотека России

Такого рода умственной работой Татьяниной головы, а не чем-либо другим, я объясняю



и себе, и вам, что в это время Татьяна глубоко вздохнула и со смирением, поистине делающим честь ее христианским чувствам, проговорила:

– Ах, и грешники же все мы великие, братцы мои – беда! Как только еще Господь Бог-батюшка нашим сквернам терпит!

Такая греховность положения, а равно как и unsuccessfulность рецепта с *звезда* произвели между присутствующими тяжелую и продолжительную паузу, которая была прервана Марфой Петровной, никогда очень скоро не покидавшей своей любимой темы о запойной жизни и о многоразличных средствах, предлагаемых доброжелательным людом в исце-

ление от нее.

– Были у нас, голубушка Татьяна, лекаря-то не хуже ваших, да так и отошли ни с чем. Один такой приходил старичок от Крымского моста, и на человека-то на настоящего не похож: впереди его кот сибирский шел, большущий эдакий котище, с усами такими ли страшными. Уж бог знает, кто из добрых людей лекарю этому сказал про наше несчастье, только он к нам и приди, – черный такой весь, мозглявый, глаза, как свечки, светятся и говорит тихим таким шепотом. Пришел и зашептал мне: «Слышал, говорит, про вас. Ежели хочешь, чтоб я вам помог, отпирай казну. Мне, говорит, казны много надо, потому помощь не от меня...»

А Онисим Григорьич страсть как не любит этих лекарей. Я потому и сказала старику, «Можешь ли ты вылечить его не видя?» Улыбнулся он в это время, красные десны оскалилши, и зашептал мне со смехом: «Ах ты, говорит, баба-дура, а еще купчиха! Рази не видишь, что я не глядя могу все знать, потому на что же я вот эту штуку при себе завсегда содержу?» Тут он показал мне на кота, а он у

ног его лежит, и так-то ластится, так-то мурлычет громко, – ужас меня тогда немалый взял!..

Принялся лекарь после таких своих слов выделывать с котом разные фокусы. «Говори, Василий! – шепчет ему, – знаешь ли ты ее хозяйина?» Кот сейчас раз к нему на плечо, приложил морду к уху и замурлыкал. Матушка, говорю, Царица Небесная! Что же это такое у меня в доме творится? – «Ничего, говорит, не смущайся. Отслужи после нас молебен с водосвятием...» Тут сейчас он положил кота на землю и сказал мне: «У твоего хозяина, шепчет, волосы белые, брада рыжая, окладистая, рот открытый, а в желудке у него сидит червь, напущен по злобе черным человеком, – знаешь, говорит, какой на каждом шагу скверные слова из себя изрыгает?..»

Тут я и вспомнила кухмистра Петра Петрова: он черный такой, аки уголь, и злобу на нас еще с тех пор имеет, как мы его в крестные отцы к нашей Аграфене не взяли, потому он из лакеев и все это, идол, при гостях ли, так ли, все это он никак удержаться не может, чтоб *этих* поганных слов не говорить.

– Ну что, – спрашивает лекарь, после раздумья моего, – вспомнила? Домекнулась, про кого я тебе слово сказал?

– Домекнулась, – говорю.

– Ну, так поняла теперь, что мы с Васильем всякую для вас помощь оказать можем?

– Поняла.

– Ну, так беги же проворнее в сундук за казной.

Побежала я это за казной, как он приказывал, и выношу ему из спальни четвертную, – новенькая такая бумажка, так и шуршит в руке. Поглядел он сперва на бумажку, потом на меня, улыбаячись, взглянул исподлобья и говорит коту: «Посмотри-ка, Василий, чем нас за наши благодеяния благодарят». Говорит так-то, а сам бумажкой-то коту ноздри щекочет. Батюшки мои! Как этот котище окрысился в это время! Сроду я такой злющей гадины не привидывала. Как зафыркает, как зафыркает, шерсть на нем как на свинье встала, а сам так-то ли сурьезно головой на меня рыжей повел...

– Что же, – спрашиваю я, – мало, что ли?

– Да кажись, что шубы-то на такие день-

ги-то не сошьешь!.. – Это мне лекарь-то в ответ сказал, а сам все смеется, так что смех этот меня за один раз и в озноб, и в жар бросил.

Побежала я опять за казной, – еще принесла четвертную и ему подала. Только тут он ужаси как разгневался: обе бумажки на пол он шваркнул и за шапку, а сам все шепчет: «Им на целую жисть благодеяние делаешь, а они тебе все равно как нищему...»

Подняла я с пола обе бумажки и сейчас же летом достала сто серебра и вручила ему. Повеселел и сказал: «Вижу, говорит, твое усердие». Подал он мне тут синенький пузыречек с какой-то желтой водой и стал совет давать: «Каждую пятницу, говорит, давай ты мужу по семи рюмок очищенной, в каждую рюмку наливай по семи капель этой воды и делай это семь пятниц. Ежели еще не очень туда запущен ему червь – в желудок-то, так, может, он к вечеру первой пятницы выйдет. Это, говорит, бывает часто. А ежели он крепко засел там, так последняя пятница окажет себя бесприменно». Простился он тут со мной и ушел, – кот за ним побежал. Я еще ему говяди-

ны такой-то большой кусок дала.

Стала я мужа этим самым снадобьем потчевать. Тошнит его, но малость. Думаю: обманул старый шут. Только, гляжу, на четвертую пятницу не вытерпел Онисим Григорьич, закричал: «Бежите, говорит, за батюшкой-попом, – душа у меня с телом зачинает расставаться». Прибежала я к нему, а червь-то и ползет по полу, так-то скоро ползет, зеленый весь, с усами, – полз, полз так-то, да в щель под пол и юркнул. Слава богу, думаю, вышло. И прошло после этого случая, так надо полагать, месяца два, – все крепился старик, не пил. Благодарила я тут бога много, что сто рублей даром не пропали. Только что же? Сижу я так-то однажды под окошком и вижу видимо-невидимо подъехало к нашему крыльцу колясок, линеек, дрожек, а впереди с каким-то офицером в карете *сам* приехал. И ввалила вся эта компания в покои, у каждого в руках кулек с винами, и загайгакала. Это он, милая ты моя Татьянушка, с одной свадьбы купеческой, на какую стол подрядился готовить, всех до одного человека – приказных, молодых офицеров, – они ведь любят на да-

ровщинку-то попьанствовать – к себе притащил. И пошла тут такая пыль, такое горлодерство – беда. Я и говорю ему:

– Опомнись, ведь у тебя дочери невесты. Гони ты их вон. – Молчит, голову свесил.

Я к приказным. Говорю им: так и так, господа! Как вам будет угодно, а вы ступайте отсюда, не соблазняйте старика, потому я его вылечила. Большие, сказываю им, деньги заплатила, чтоб из него червя запойного выгнали, и сама я своими глазами видела, как он из него вышел и под пол уполз. Дайте же, пожалуйста, – все пристаю к ним, – спокой старику.

Смеются приказные, глядя на мои слезы.

– Тут мы, – говорят, – хозяйка, ни в чем не причинны, потому рази другой червь в нем завесться не мог? А вино, говорят, мы свое пьем. Значит, ты бы лучше нам дочерей показала, потому, слышали мы, у вас денег много, так может и женился бы кто...

Топанье и раздевание в передней прервали в этом месте разговорившуюся Марфу Петровну. В гостиную вошел *сам*, веселый такой, радостный.

– Что? – спросил он, шутливо относясь к Марфе Петровне, – небось, все про мужа судачила? Эка старая! До сих пор не отвыкла еще мужа всякому человеку расхваливать...

– Ба! Сестрица милая! – вдруг воскликнул Столешников, заметив наконец гостью. – Какими судьбами ты к нам залетела? Ну-ка, давай, милая, поцелуемся.

– Братец-голубчик! – ответила на это братнино приветствие стоном и слезами Татьяна. – А ведь мы опять погорели!..

– Опять?.. – переспросил с ласковой и разгадавшей всю суть дела улыбкой Столешников. – Ну, авось, Бог милостив! Давай-ка, старуха, обедать.

— Ну, что, сестра? – спрашивал Онисим Григорьич Татьяну в то время, когда Марфа Петровна, вообще с кухаркой, накрывала на стол, – как там у нас в деревне-то? Все ли она тем же концом с краю стоит – а? Алинным повернулась? Ха-ха-ха-ха! – басовито и покровительственно посмеивался разбогатевший брат над бедной, оставшейся, по фамильному выражению, в крестьянстве сестрой.

– Да теперича, братец родимый, ежели от вашей милости никакого нам бедным блага не выйдет, так она, может, до коих пор без конца совсем простоит – деревня-то, потому вашему здоровью известно небось, что двор родительский с краю стоял, – отшучивалась в свою очередь Татьяна, не давая в то же время брату забыть про ее горькую нужду.

– Ну-ну, Господь с тобой! На вот возьми, пристраивай с мужем конец к деревне! – добродушно отозвался Онисим Григорьич, причем он вынул из пузатого бумажника крупную ассигнацию и подал Татьяне – Как пойдешь домой, еще на гостинцы ребятишкам

дам, а эту зашей в рубаху, чтобы, оборони бог, не выронить как-нибудь.

Видя такую добродетель, ярославка с громким воплем и обильными слезами бросилась в ноги сначала братцу, потом сестрице, а наконец, зауряд{275}, и милым племяннушкам.

– Кормилицы вы наши, благодетели! – вопила она, тщетно желая отдавить кому-нибудь из благодетелей хоть одну ножку своим низкопоклонным лбом. Онисим Григорьич ни под каким видом не допускал ее осуществить это намерение.

– Сестра! – говорил он, поднимая ее с пола, – не грехи: не человекам подобает земное поклонение, а Господу одному.

Подали обед, вследствие чего жалобная сцена прекратилась.

– А что, старушка Божья, – отнесся Онисим Григорьич к жене, сидя уже за столом, – ты бы нам, для ради свиданья с сестрой, водочки поставила безделицу, винца бы какого тоже малость прихватила, потому и самой на радостях не мешает.

– Ох, Онисим Григорьич! – простонала Марфа Петровна, – боюсь я, как бы ты не то-

го...

– Оставь пустое разговаривать-то! – с прежним благодушием сказал старик. – Что мне с одной али с двух рюмок поделается? Бог милостив... Вот, сестрица, не покидает меня несчастье мое, – слышала небось какое? Знаешь? Что ты будешь делать! И к лекарям разным ходил, и к батюшке Врачу Небесному за его великой помощью прибегал, – не снимает Господь креста... Заслужили, должно быть, ну и терпи...

При последних словах старик совсем изменил свой шутливый тон. Говоря их, он как будто сильно боялся и стыдился чего-то, вследствие чего голова его печально склонилась над тарелкой, а правая рука, вооруженная вилкой, бессознательно чертила что-то по белой скатерти, вероятно, о великости того несчастья, про которое сейчас говорили.

– Крепитесь надоть, братец милый! – посоветовала Татьяна с тяжким вздохом. – К Господу Богу взывать.

– Крепимся, насколько наших слабых сил хватает... – с еще большей печалью в голосе отозвался брат. – Семье обида, своему здоро-

вью расстройка, делам убыток, а перед Господом грех!.. И замолишь того греха – не замолишь, потому в пьянстве все...

– Что и говорить, братенюшка, про этот грех? Известно, нет его больше.

– Н-ну, будет про это! – закончил Онисим Григорьевич, как бы убедившись, что словами делу не поможешь. – Выпей-ка вот, а потом я и за тобой.

Какая-то приятная теплота бросилась в стариковскую голову после первой рюмки. Горячая кровь ярким румянцем показалась на морщинистом лице и мягкими, ласкающими волнами заходила по утомленному телу. Вспомнилось почему-то в это время Онисиму Григорьевичу его давнишнее деревенское житье-бытье: работая над супом, видит поседевший теперь старик, как он маленьким мальчишкой, отрепанным, босым и голодным бежит с салазками по только что выпавшему, ярко-белому снегу, – резкий осенний ветер жжет ему лицо, по которому текут какие-то горячие и соленые слезы, и лохматит и без того шершавые волосенки.

– Слава тебе, Боже наш! – молится про себя

Онисим Григорьич. – Не так у меня дети воспитывались: нужи такой, как я, они, по твоим великим милостям, не узнали, да и не узнают, пожалуй... – Вместе с этой безмолвной думой хозяйская рука-владыка дотянулась до графинчика с настойкой и угостила довольную своим положением хозяйскую думу второй рюмкой.

– Выпей-ка и ты, сестра, по другой, – лучше есть будешь. Марфа! ты что же не потчешь гостью-то и сама не пьешь? Скупа она у меня больно, сестра! Такая скопидомка – беда! – снова зашутил старик.

– То-то, милый братец, – посмеивалась Татьяна, – видючи, как она у тебя на добро жадна, я уже и ложки на стол не покладываю. Вишь, мол, какая скулящая!..

Торговец на ларе. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва Государственная публичная историческая библиотека России

Засмеялись обе женщины – и выпили. Онисим Григорьич продолжил шутку тем, что выпил третью под тем предлогом, что



ему, хотя он и старик, а от баб ни под каким видом отставать не приходится.

– Да и веселее как-то с бабами-то всегда... – добавил он и принялся за жаркое. Тут опять взметнулась в нем тяжелая дума о прошлом: вспомнилось ему десять лет *в мастерстве*, – десять длинных, как сто веков, лет, во время которых несколько раз от побоев и старших, и сверстников *вспухала* и снова опадала преломляемая и *для лучшего понятия* и так просто, *одной шутки ради*, голова, – неоднократно менялось лицо, принимавшее на се-

бя многоразличные узоры многообразных товарищеских трепок и хозяйских лупцовок, и даже самая шкура, как у рака весной, линяла в одну неделю, какую-нибудь несчастливую, раза по два, а иной раз и по три.

– Господи, твоя воля! Вот каторга-то была! – решительно можно сказать, что без малейшего удовольствия отдавался Онисим Григорьич этому воспоминанию, потому что на лицо его в эту минуту снова легли какие-то мрачные тени. – Дивлюсь, – продолжал думать старик, – как это только живот свой я сберечь ухитрился?

Новая рюмка, выпитая хозяином, заставила обедающих боязливо переглянуться друг с другом. Марфа Петровна протянула было трепещущие руки к графину, чтоб убрать его со стола.

– погоди, Марфушка! – с некоторой досадой воспротивился *сам* этому намерению. – Вот допьем, тогда уберешь; видишь, уж немного осталось.

Затем встало в уме хлопотливое, купецкое житье, – грешное, обманное житье, с вечными заботами, с напрасной божбой...

«Ох, детки, детки! – покачивая головой, мысленно восклицал Онисим Григорьич. – Много для вас я на свою душу грехов взял!..»

Графин был в это время окончательно порешен, и последние блюда уже не существовали для хозяина. Досиживая обед, он уже ни к чему не прикасался, ни с кем не говорил, а только помахивал головой, изредка улыбался чему-то и шептал что-то, известное и понятное ему одному.

– Началось! – шепнула Марфа Петровна Татьяна. – На грех тебя Бог к нам принес...

И действительно, в это время можно было сказать, что началась самая суть той с виду тихой жизни, какую я показывал вам вначале, потому что лишь только кончился обед, как Онисим Григорьич, ограничивавшийся доселе одним безмолвным думаньем, заговорил, и заговорил громко и повелительно.

– Марфа! вот тебе три серебром, пошли взять рому ямайского, да самовар вели становить. Да смотри, чтобы ром не какой-нибудь был, – за эту цену можно хорошего достать. Плохим головы вам вымою... За вас хлопочи, а вы – нет, чтоб удовольствие какое, доста-

вить старшему... Эх вы!..

Домашние, как бы заслышав приближение бури, присмирели: разговоры, за минуту перед тем оживлявшие молчаливую гостиную, замерли; светлые, или по крайней мере старавшиеся быть светлыми от тятенькиных шуток, лица омрачились предчувствием какой-то беды. Все смолкло, кроме светлого самовара, неистово бурлившего на столе; густой пар, валивший к потолку из его широкого жестяного горла, совсем скрыл своими сизыми тучами зелено-розовые колера, которыми в таком изобилии покрыты были амуры, лиры и рога изобилия. Все в комнате посередело от клубов самоварного пара и печально нахмурилось, а по стеклам так даже потекли зигзагами крупные слезы.

– Ах, и народ же у нас в Москве подлец стал, Татьянушка! – каким-то стонающим басом говорил сестре Онисим Григорьич, доливая трехрублевым ромом полстакана чаю. – Теперича ты вот глядишь на меня и небось думаешь: раз богател брат, счастлив стал. Как же! Держи карман шире!.. Ежели бы т. е. я от крестьянской работы не отучился, сейчас бы

в деревню ушел, все бы это заведение дурацкое вот им бросил. – При этом старик грозно взглянул на жену и на дочерей и, как бы уже окончательно выходя из своего дома на трудовую деревенскую жизнь, сказал им. – Натя вот, разживайтесь отцовским добром с легкой руки. Отец-то его, может, потом да кровью приобретал, а вам даром достается. Разживайтесь!

Очень смеялся Онисим Григорьич, когда говорил эти слова, кланялся, вставши со стула, как барышня молодая, с присестом, и ручкой делал.

– Разживайтесь, разживайтесь! Я не пожалю, я себе, с помощью Создателя и добрых людей, еще наживу, – д-да! Вот вы-то как без отцовской головы пробавитесь, увидим, а не увидим, так услышим. Так-то!

– Что это, братец, заговорил ты все эдакое неподобное?! – осмелилась спросить Татьяна. – Рази они могут без родителя своего жить?

– Ты еще их не знаешь, Татьяна! Тебе их скоро раскусить никак невозможно! – с громким и злым смехом отзывался Онисим Григо-

рьич. – Теперича вот эта самая старуха: ты не гляди, что она такая смиренная. В ней и не сочтешь, сколько бесов насажено. Видишь, видишь, как она на меня бельмы-то выпучила, ровно съесть хочет. Она всю жизнь добивалась заесть меня, – да нет! не на такого напала!.. А дочери: они денно и нощно о моей смерти бога молят, потому как только я протяну ноги, сейчас они марш за офицеров замуж... И пойдут тогда эти офицеры добро мое к девкам возить, да в карты проигрывать.



Москва. Вид Смоленского рынка. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Нет, погоди, шалишь! Молоды еще, в Саксонии не бывали! Я вам дам офицеров! Н-ну, сделайте мне пунш, шельмы! Сделали? Теперь вон! Чтобы вашего ду-у-ху не пахло здесь, – я один буду.

– Ну, сестрица! – шептала Марфа Петровна Татьяне, – заприметила я: коли вот он поначалу раскуражится так-то, так весь запой будет куражный, с буйством и дракой. Берегись теперь, а то как раз затрещиной пожалует. Нам не впервой, а ты смотри не обидься.

Но долголетняя опытность Марфы Петровны в деле распознавания тех примет, по которым она определяла заранее характер запоя своего мужа, ныне обманула ее. Вместе с наступлением вечера мрачное настроение духа Онисима Григорьича изменилось на тихое. Беседуя впотьмах с клокочущим самоваром и ромовой бутылкой, хозяин вдруг принялся скорбеть и тужить о том, что он так безвинно обидел жену и дочерей.

– Все это ты делаешь, подлая! – ругал он бутылку, колотя пальцем по ее преступному горлышку. – Все ты!.. Марфуша! поди убери ее,

проклятую, от меня, чтоб она меня не соблазняла. Дети! идите сюда. Видите, вот сестра моя, а ваша тетка пришла к нам. Так подобает нам теперича сидеть всем вместе и с весельем разговаривать.

Принялся после этого старик горько плакать, просить у всех прощения; обещал, что он уже теперь ничего хмельного в рот не возьмет, и в то же время убедительно просил жену и дочерей, чтоб они налили ему последнюю из своих рук. Выпивши из рук жены, он вынимал из бумажника деньги, дарил их Марфе Петровне на гостинцы и с лаской и со слезами говорил:

– Дура, возьми! Ты думаешь, я для тебя что-нибудь пожалею, что ли?

То же он выкидывал с дочерьми, Татьяной и даже с кухаркой. Дворник, кучер и некоторый белоголовый и растрепанный парень, обучавшийся у Столешникова официантскому делу, – все до одного человека были призываемы им из кухни в гостиную, все до одного из уст самого хозяина выслушали убедительные просьбы простить ему, ежели он их чем обидел.

– Убей меня Бог на сем месте! – божился хозяин, кланяясь в ноги своим подручным, – ежели я теперича насчет этого вина... Ни-ни!

– Мы, ваше степенство, очень этому рады! – отвечали подручные валяющемуся в их ногах хозяину – Мы, можно сказать, об этом денно и ночью Господа Бога молим.

– Нет, ты мне скажи одно! – уже не шумел, а тихо так, как бы молитвенно, говорил хозяйский голос. – Нет, ты мне одно скажи, Лукаша: прощаешь ты меня али нет?

– Прошшаю! – отвечал великодушно Лукаша, валясь в свою очередь в хозяйские ноги.

– Ну, ежели прощаешь, так получи на гостинцы!.. Т. е. ты, я знаю, пить любишь... Пей! Теперича ничего...

– Много вашей милости благодарны. А что ежели насчет питья, так это напрасно... – отрезонивал никогда не сознающийся в своей лжи русский человек.

Темная ночь пришла, и кухонные субъекты ретировались восвояси. На стенных часах, в краснодеревянном футляре, пробило одиннадцать... Подали ужин.

– Ну, милые вы мои, – сказал Онисим Гри-

горьич, как бы совсем отрезвившись. – Баста! Простите по-христиански, что я пошутил с вами немного. Ведь, ей же ей, я не пьян. Я только это вас пробовал: думал, что вы все меня бить приметесь.

Так наконец промахнувшийся перед гостьюей Онисим Григорьич вздумал маскировать свой промах, не желая показать сестре, что он когда-нибудь серьезно запивает.

– Ах и шутник же вы, братец! – воскликнула Татьяна, всплескивая руками, и затем она, обращаясь к Марфе Петровне, сказала: А я думала, что он взаправду.

– Вот то-то и есть, что городской теленок умнее деревенского мужика, – сказал Онисим Григорьич, стараясь из своего посинелого, подергивавшегося лица сделать лицо трезвое, хорошее, какое бы не конфузило его пред сестрой, оставшейся в крестьянстве.

Таким образом московско-купецкие приличия были соблюдены, и сестра-крестьянка, волей-неволей, подумала, что это *они так только*, что такие шутки, по великому их богатству, кажинный день у них в доме бывают.

– Н-ну, и кончено! – с видом непоколебимой решимости воскликнул Онисим Григорьич, поднимаясь из ужина и крестясь на блиставшие золотом, серебром и разноцветными камнями иконы. – Благодарю тя, Господи, яко насытил мя еси земных твоих благ... – молился он, икая, как следует, с закрытием правой ладонью грешных уст – Ничего, ребята, не робейте, – к утру, как следует, будем в лучшем виде. Вся эта фанаберия, как сон, пройдет...

– Ну, и слава богу! – усердствовала Татьяна, крестясь.

– Так-то лучше! – подтвердила Марфа Петровна. – Спаси тебя Бог и помилуй.

– Тол-ль-лько ты, Марфуша, как теперича я тебе по душе сказываю, – снова заговорил Онисим Григорьич с добродушной улыбкой, – последнюю мне налей, рот пополоскать, потому я теперича в тихости и скромности, как перед Богом!

– А мы было уже спать собрались, – отвечала жена, покорно наливая требуемую последнюю рюмку. – Пей, Онисим Григорьич, да будет уж, пора и тебе на покой. Ей-богу! что

толку-то? – самым убедительным и ласковым образом упрашивала Марфа Петровна, имея в виду расположить супруга к мирному и безбуйственному отшествию в постелью.

– Да не буду же больше, право, не буду! – наставительно обещался хозяин. – Вот назло этому мерзавцу не буду больше! – прибавил он сердито, указывая на стеклянный шкаф, в который Марфа Петровна предусмотрительно запрятала и водку, и бутылку с непоконченным ромом.

Дочери, в свою очередь, подходя к отцу и целуя у него ручки, говорят:

– Тятенька! мы тоже отходим ко сну-с!

– Отходите, отходите, – прощайте.

Мать в это время принимается из-за плечей мужа многозначительно моргать дочерям, и они, как нельзя боле знакомые с этим морганием, усаживаются на полу, чтобы как можно лучше изловчиться стащить сапоги.

– Только мы, тятенька, перед сном разуем вас, – подделываются девушки под отцовскую милость. – Позвольте нам, тятенька, сапожки с вас снять. Мы потихоньку, чтоб у вас головка не заболела, раскачамшись.

– Ох вы, разбойницы! – ласкал их отец. – Ну-ну, разувайте; а потом обе вы мне одну махонькую на сон грядущий налейте; я из ваших рук выпью – и сейчас же спать. Ей-богу наливайте-ка!

– Ну, теперь его же царствию не будет конца... – шепнула Марфа Петровна Татьяне в передней. – Запил на беду! Ты не гляди на него, как это он смиренствует, – это все так: блезир один.

– Ты бы его, голубушка-сестрица, на спокой как-нибудь уложила. Он бы, может, сном отошел.

А между тем Онисим Григорьич положил на стол победную голову и задумался. Жена стояла около него, подперши ладонями щеки, в самой слезливой позе.

– Ну что же, Онисим Григорьич! иди спать.

– Погоди, погоди, Марфуша! дай подумаю. Ты ступай себе спи. Только, милая ты моя, как пойдешь спать, поднеси мне, пожалуйста.

Жена попробовала было возразить, но муж сам перебил ее и сказал:

– Не нужно, не нужно! Это я так пошутил... Ты полагаешь, Марфуша, что я с ним не сла-

жу? – слажу, будь оно проклято! Не хочу, не буду пить – вот тебе и все. Пойдем спать!

– Эх ты, подушка, подушка! – бормотал Онисим Григорьич уже на постели. – Много я с тобой кой о чем в свою жизнь передумал...

И тут мечется ему в зажмуренные глаза бывший когда-то хозяин его Фома Фомич. Стучит Фома Фомич толстым костылем о звонкий пол, скрежещет от злости зубами и кричит на трепещущего ученика:

– А, мошенник! А, разбойник! Ты меня срамить вздумал? Ты на вчерашнем ужине капитану Подтыкаеву мороженое наперед князя Чингалищева подал? Вот тебе за это! Вот помни!.. – И костыль Фомы Фомича ходил по плечам и спине Онисима Григорьича так хлестко, что те плечи и спина так и трещат под ним.

– Экой дьявол какой! Тьфу! до сих пор никак забыть не могу. Как вспомню про него, так это сейчас и тянет меня к водке, – отплевывается от старинного хозяина Онисим Григорьич.

– Да спи ты, Онисим! – шепчет Марфа Петровна... Когда тебя утомон возьмет?.. Натужь-

ся: усни!

– И натужусь, Марфа! Ей-богу, натужусь! Вот же сказал, что не хочу пить – и не пью, и не буду, потому я своему слову, ты знаешь, за- всегда господин.



«Виды нашей прислуги». Дворник. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Марфа Петровна, ободренная этими словами, крепко заснула, а Онисим Григорьич продолжал молчаливо восторгаться той мыслью, что вот он сказал, что не будет пить, и не пьет.

– Да нет! Где ему со мной совладать? Впрочем, не выпить ли мне напоследок? Крепче усну после. Небось, шут его подери, одной-то не задолееет!..

– Да не-е-т! не обманешь, бес, не надуешь! не буду! Тьфу!.. – И тут в голове Онисима Григорьича поднялась такая кутерьма, такая белиберда, что хоть топиться, так в ту же пору: стекольчатый шкаф с водкой манил его к себе тусклым светом своих стекол; амуры налетали на него с потолка, трепещут над его головой своими крыльями и шепчут: «Ступай, Онисим Григорьич, пей; выпей рюмочку, последнюю, да засни»; толстый диван и криворукое кресло совсем осиплыми, густыми басами советуют, с худо скрываемыми, неуклюжими улыбками, то же самое; своя собственная воля идет вразрез со всеми этими советами, а внезапно появившийся откуда-то Фома

Фомич стучит костылем, грозитя и кричит так громко, что голова Онисима Григорьича вдребезги, кажется, разлететься готова.

– А, мошенник! А, разбойник! ты уж пить выучился?..

– О Господи! – шепчет Онисим Григорьич, – отжени врага, – а сам в это время потихоньку, чтобы не разбудить жены, встал с постели, на цыпочках пробрался по комнатам к стекольному шкафу, воровски отворил его, и затем послышалось во тьме спящего дома какое-то бульканье, кряхтенье, отплеиванье и шепот:

– Боже, Боже ты мой! не попусти врагу вдо-сталь обидеть меня... Баста! теперь больше не буду...

На другой день ранним утром Марфа Петровна и Татьяна разом вошли в гостиную. В ней, раздетый и разутый, сидел за круглым столом Онисим Григорьич, поникнув головой к столовой доске. Перед ним стоял штоф водки, ромовая бутылка и стакан, налитый вполнину ромом, вполнину водкой.

– Онисим Григорьич! Онисим Григорьич! – окликнула его жена.

– А т-ты ч-черрт! – только и могло слететь с посинелых губ Онисима Григорьича в ответ Марфе Петровне.

– Братец милый! – завопила Татьяна, – рази можно так-то ругаться?

– Аты ч-черрт! – был и ей одинаковый ответ. – А, ты опять погор-рела?!.. – заговорил брат, сверкая и злясь воспаленными глазами. – Ты опять брата обманывать пришла? Пойду вот сейчас взлезу на крышу, да оттуда вниз головой и брошусь, потому рази с вами – с обманщиками – можно жить?..

С этим словом Онисим Григорьич выбежал из гостиной, живо взобрался на крышу дома и заорал во все горло: крраул!

В доме по этому случаю поднялся крик, а по всей девственной улице сплошной хохот...

Графчик

I

Полдненное летнее солнце, так сказать, насквозь пронизывало одну московскую биржу, необыкновенно пыльную и раскаленную. Лихачи-извозчики, стоявшие на ней, то и дело обмахивали своих вспотевших рысачков густыми волосяными хвостами.

– Н-ну, чтоб тебя черт взял! Задурил опять! – слышались по временам в этой удушливой тишине досадливые возгласы; затем раздавались то тяжелая столбуха, обрушенная извозчичьим кулаком на лошадиную морду, то храп самой лошади, то звонкое бряцание ее франтовской сбруи из накладного серебра.

«Ванька» – легковой извозчик. Москва. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем. Государственная публичная историческая библиотека России

– Алешка! что тебя лешие-то, идола, обуя-



ли? Что ты, ровно волк, всегда на лошадей накидываешься? Гляди: прогонит тебя хозяин, потому я когда-нибудь непременно на тебя разозлюсь – и все ему расскажу. Помнишь, лучший, как ты зубы разбил в кровь легенькому жеребчику?..

– Поди к чертям, да там им и рассказывай! – угрюмо отвечает Алешка.

– Ах! – взывает кто-то, – хорошо бы теперича на рубль-целковый съездить. Сичас бы в трактир до самой-то, что ни есть, вечерней зорюшки закатился.

– А-а-ах, ах! – тоскует еще чей-то рот, смачно и широко позевывая. – Съездишь ныне скоро-то, черта с три!.. Обопре-ешь тут, на жаре на такой стоявши, а потом уж, може, и по-

зовут к кому за полтинник на три часа.

– Д-дила, братцы мои! Куда только это все деньги подевались? Как есть ни у кого денежки нет ни единой! Все-то норовят в долг да на шаромыгу... Норовит тебя нонича всяк человек как-нибудь объехать, да объегорить.

– Ну, уж тебя-то объедешь, тебя-то и объегоришь-то, – с горьким смехом выразился молодой парень, самый, должно быть, лихой из лихих всей биржи, потому что одет он был в тонкого сукна кафтан, опоясан широким канвовым поясом, с серебряной серьгой в левом ухе и в бархатной шапке с великолепным развалом.

Подпершись одной рукой в бок, а другой поигрывая красивым кнутом, парень обернулся к дяде, плакавшемуся сейчас на то, что будто всяк норовит его объехать и объегорить, и, задирательно поглядывая на него, продолжал:

– Кто тебя обманет, тому и веку-то всего только что семь суток останется!

– Ну ты, чертина! – ответил дядя. – Што ты ко мне привязываешься завсегда? Ай тебя, стервеца, отец с матерью давно за космы не

таскали, што ты все к старым людям приста-
ешь?

– Не ругайся: горло прорву. Не люблю я та-
ких старых-то... Мошенство в тебе одно, да
слезы... Сказал: не люблю, так ты и молчи
знай, когда я тут... Без меня што хочешь бре-
ши...

– Ишь ты, ишь ты, владыка какая на-
шлась!.. – злобно, но сдержанно ворчала ры-
жая, но уже облыселяя голова. – Уж и слова
сказать при нем не моги...

– Пог-говори у меня! – закипая и синяя от
прилива лихости на неправду, протяжно ска-
зала бархатная шапка. – Идем, ребята, в хар-
чевню чай пить! Коего тут шута на жаре де-
лать?

– В сам деле, пойдём, ребята! Лучше лаить-
ся-то, што ли? – Затем всей гурьбой потяну-
лись синие армяки в харчевню, и биржа опу-
стела. Остались на ней только серые столбы
неистово крутящейся пыли да благородные
рысаки, потупившие красивые, гордые голо-
вы в зеленые колоды.

Воскресенские ворота. Фотография
Н. А. Найденова. 1884 г. Частная коллекция



На соседней колокольне уныло пробило час. Палящие солнечные молнии ливнем лились на улицу с ярко-вызолоченных крестов и этой колокольни, и около нее стоявших церквей, – лились они так стремительно, как пламя пожара, и, казалось, толковали шумной столице, что, дескать, ну-ка выди-ка кто попробуй! Небось, человек, вдоволь напа-

ришься...

И столица, как бы понимая эти речи, была очень тиха в это время. Редко, редко какой-нибудь беспокойный, вероятно, потому что бедный, перебежит биржу легким развальцем, с зажмуренными глазами и с раскрытым, задыхающимся ртом, который тяжело пышал такими пламенными словами:

– Ведь вот и Москва, вот и столица, а улицы все-таки полить не догадаются... А деньги, братцы мои, и – их какие на эту самую Москву засажены – беда!..

II

И вот в такую-то пору, когда лихачи всего менее могли ожидать добычного седока, из-за угла биржи, из стеклянного подъезда со строгим, хотя и не особенно ливрейным, швейцаром, быстро выскочил молодой человек лет двадцати двух, небольшого роста, но коренастый, на коротких, толстых ногах, делавших его весьма похожим на медведя. Одетый в дорожную, от самого лучшего портного, но страшно смятую и вываленную в пуху жакетку, он тем не менее был решительно без

всякой покрывки на всклокоченной голове. Скорый бег и бескартузность этого человека тем более удивляли наталкивавшихся на него, что на его жилете болталась толстая золотая цепочка от часов.

– Вот, должно, купец какой-нибудь запил; али, может, кто от отцовской лупки бежит... – про себя предполагали прохожие.

Но на угриватом лице молодого человека ничуть нельзя было разобрать, от чего, и за чем, и куда он бежит. Освещенное светом здоровенной выпивки, оно сияло какими-то бессмысленными красновато-светлыми лучами и машинально стремилось куда-то, что только отчасти давало право наблюдательному человеку предполагать, что этому лицу действительно нужно стремиться, бечь, уходить – и только.

– Я с вами пог-гвор-рю опосл... – тихонько бурлила жакетка, обрывая слова на последних слогах. – Др-ржать, и взять себя не позволл... Я чл-эк обр-рзвынный, а он кто?..

При этом вопросе на бессмысленном лице бежавшего промелькнуло даже что-то вроде улыбки, похожей на улыбку всякого смертно-

го.

– Я тр-пел, я долго тр-пел... Поди ты теперь потр-пи!..

Ватага разного народа, под предводительством усастого швейцара, вывалилась в это время из стеклянного подъезда и стремительно погналась за жакеткой, выкрикивая на разные голоса:

– Петр Федосеич! Петр Федосеич! воротитесь, ради Господа Бога. Мы вам дома всякое удовольствие предоставим...

Чего только ваша душа пожелает...

Были в этой ватаге и так называемые в Москве хозяйские молодцы, в длинных, до пят, нанковых{276} сюртуках, в русских больших сапогах, с серьгами в ушах, – были и лакеи во фраках, с часами. Неслось все это за моим героем во весь карьер, так что стон заходил по тихой улице. Сзади этой, во весь опор проскакавшей, кучки остались даже какие-то пузатенькие старушки, в полинялых ситцевых платьях, в повязках. Сложили они на своих животиках коротенькие ручки и, видя, что уже нет, не догнать им этой стремительной бури, пронесшейся жаркой улицей,

что куда же ихним старым костям утоняться за этой бурей, – громко и с обильными слезами вопили все:

– Матерь Божия! заступи и помилуй! Что мы теперь, сироты, делать будем?

– Что такое? Что такое? – вскрикивали магазины и лавочки, быстро распахиваясь.

– Что там такое, не пожар ли, чего Боже избави? – расхлопывались окна домов, ослепляя людские глаза своими молнийными отблесками.

– А, ха-ха-ха! – хохотал кто-то из третьего этажа. – Да это опять графчик, Петр Федосеич Свистунщиков запил, отца из дома проводивши. Молодец! Вишь как улепетывает. Его теперь не только что домашней ордой, а семью стаями гончих угнать нельзя.

И точно, что никакими гончими нельзя было догнать Петра Федосеича Свистунщикова. Как заяц, напуганный легкой ранкой, несся он впереди своих преследователей, закинув назад голову, с громкими, молящими воплями:

– Извощик! Извощик! Подавай живей, – озолочу! Андрюшка! Чертов сын, где ты? По-

давай!

Но вот уже усастый швейцар настигает его прямо с тылу; он уже готовится схватить хозяина за жакетку. Другой молодец, красный весь от натуги, оленем летит вперерез, взявши через проходной двор...

– Гибнет Свистунщиков! – хохочут лавочки, магазины и окна.

– Сс-пасс-си-и! – дискантами вопиют пузатенькие старушонки, подвигаясь, сообразно со своими костями, к самому месту действия.

– Из-зво-оциик! Андр-рю-тюшка! уб-бью!.. – во всю грудь ревет Свистунщиков – и бац кулаком в едало усастого швейцара. Угрюмое, сплошь заросшее мрачными, черными волосами, едало веселеет как будто от этого баца, потому что серьезный подбородок швейцара окрасился в это время тоненькими кровяными струйками.

– Р-раз! – с хохотом орут лавочки, магазины и окна. – Петр Федосеич! гляди, гляди: молодец-то с боку к вам подбирается! – рекомендуют зрители.

– Д-два! – грохочет толпа в такт другой оплеухе, которую закатил Свистунщиков под-

биравшемуся сбоку молодцу.

– Ат-тлично хорошо!.. Бис-спадобно! – поощряет улица.

– Молодец! Теперь уйдет беспременно!

– Не уйдет, – задние сейчас схватят...

По всей вероятности, задние схватили бы Свистунщикова, если бы тридцать пролетов, запряженных отличными, застоявшимися на жаре рысаками, не двинулось бы на преследователей со страшным громом, ругательствами, понуканиями, взмахами кнутов и проч.

– Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Со мной, со мной пожалуйста! – бурлили извозчики, загораживая купчика от его оравы храпящими лошадиными мордами.

Лысый дядя, жаловавшийся недавно на общее оскудение в роде человеческого денег и правды, уже втаскивал было Петра Федосеича за рукав в свою пролетку, но самым лютым образом подскакавший в эту минуту молодой Андрюшка хватил кулаком в лоб лысого дядю, так что он опрокинулся навзничь в свой экипаж и повез, вместо лакомого седока, самого себя, живо вздернул Петра Федосеича к

себе, щелкнул языком – и завалил так, что, по общему громкогласному отзыву глазевшей улицы, всех чертей стошнило от того, как он завалил.

Очень это была оживленная картина!

Один седой, сморщенный и сторбленный монах стоял у ближней часовни, поставленный в ней для присмотра за неугасимыми лампадами и свечами, – так того монаха вся Москва знает уж лет тридцать и ни разу не видала, чтоб он когда-нибудь рассмеялся. Вечно, бывало, стоит он в ярко освещенной, решетчатой двери часовенки и шепчет помертвельными, дрожащими губами тихие, неразборчивые молитвы; а и у него, когда он смотрел на эту свалку, говорят, показалась как бы тихонькая улыбочка, обнажившая беззубые, стариковские десны...

III

С каждым кварталом все пуще и пуще забирал Андрюшкин рысак, с каждым шагом все выше и выше задирали он грациозную голову и делался чертее и чертее. Сыпались искры из-под его звонких копыт, и все встречное до столбняка засматривалось на эти недогоняемые, широкие и, как мгновение, быстрые шаги серого в яблоках, – на Андрюшку, натянувшего зеленые шелковые вожжи и по временам наклоняющегося то на один, то на другой бок, с целью во всей точности разузнать, не сбивается ли с шагу рысистой красавец и не смеется ли улица этим сбоям, если бы таковые, на его, Андрюшкин, великий срам, налицо оказались.

Но как буйным ветром снялся с места рысак, так и теперь несется и без сбоя, и без малейшей потери огня, которым дышало его упругое, благородное тело, так что давно уже промелькнули все эти

*...будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,*

*Бухарцы, башни, огороды,
Купцы, лачужки, казаки,*

*Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах{277}.*

Все это, говорю, давно промелькнуло и осталось позади, а ни рысак, ни Андрей, ни Свистунщиков – ни даже на единую йоту не осрамились. Все шло своим чередом: Петр Федосеич, замирая, кутил, а Андрей мог и зарабатывать деньги.

– Жар-рь их! – изредка только покрикивал купец в пьяном просоньи на Андрея, как бы натравливая его на необозримые враждебные армии.

– Будьте спокойны-с, – серьезно отвечал лихач. – Ежели они теперича всю биржу на ноги поднимут, так и то на задах очень далеко останутся... Эфто я вам как перед богом-с!..

– Мл-ладец Андрейка! Я тебя за это озолочу... Да что же это я, в самом деле, дремаю?... На-ка вот тебе покамест красную бумагу...

– Много благодарны, Петр Федосеич! – отвечал лихач, поворачиваясь к седоку, для того

чтобы принять десятирублевку.

Последовала некоторая незначительная пауза, не между седоками, а, так сказать, замолк на некоторое время действительно жгучий шаг рысака. Жеребец пошел во время этого разговора шагом, жадно внюхиваясь в загородный воздух.

– Ты что же остановился, расподлая ты душа? – заорал Петр Федосеич, вкатывая оба кулака прямо в лицо обратившемуся к нему извозчику. – Ты думаешь, я счету деньгам не знаю? Ты бери деньги, а ко мне рожей оборачиваться не смей. Слышишь?

– Слушаю-с! – отвечал Андрюшка, отлично знавший, с кем он имеет дело, и затем он с глубоким вздохом сказал:

– За что только карать изволите? Мы ли вам не слуги?

– Мл-ладец! За это я тебя нагр-ржу. Полезай ко мне в пролетку, вместе поедем. Я тебя за твой ответ, может, еще пуще полюбил... Ты разве это можешь понимать?..

Андрюшка залез в пролетку, и тут же они принялись с Петром Федосеичем любезно друг друга в уста сахарные целовать. Но дол-

го ли, коротко ли они таким образом ехали, только Петр Федосеич, не *стерпемши*, принялся Андрюшку опять колотить, и когда тот по-прежнему покорно спрашивал его: за что-де карать изволите? Свистунщиков опять-таки, по любви, положил ему палец на губы и сказал:

– Мал-лччи! Тсс! Шельма! Я знаю, за что. Ты меня Петром Федосеичем вздумал звать? Не люблю! Зови меня графчиком, вашим сиятельством теперича меня называй, потому я терпел! Надоело!..

Продавец лука. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– Слушаю-с! – согласился Андрей, взлезая на козлы. – Куда теперь прикажете?

– Поезжай в город, назад. Ведь теперича след потеряли – а?

– А теперича ежели по нашим следам медевянских пустить... – заговорил было Андрей.

– Тсс! Мол-лчать! Я тр-рпел – и ты теперича тр-пи!



– Слушаю, ваше сия-ство! – браво закончил Андрей, круто и франтовито поворачивая в город уже немного вспененного рысака.

IV

Въехали снова в Москву, удивляя и озлобляя своей красотой проходящих. Петр Федосеич, уже несколько не страшась, что его накроют по горячим следам, вальяжно развалился в пролетке и ревел во все горло:

*Мил-лые гор-ры,
К ф-фам возвратился!{278}*

Это был его любимый мотив.

– Ваше сияс-ство! – перебил Андрей одну его любимую руладу. – Вот тут у меня в кабачке один друг есть, – не при кажете ли вы за-вернуть?

Говоря это, Андрей несколько не оберты-вался лицом к графчику, что, по условию, должно было служить к их общему согласию, но однако же два дружные кулака Петра Федосеича все-таки впились ему в спину, приго-варивая:

– Так ты меня, шельма, по кабакам возить станешь?

– А я как капитал ваш хочу сберечь, и опять же здесь рябиновая ежели – раз-

люли-малина! – отозвался Андрей, словно каменный, ничуть не чувствуя, что спина его трещит от могучих купеческих натисков.

– Подъезжай, коли так! Я тебя за твою выдумку озолочу. Только я это не люблю – в кабаки заходить! – заговорил с большой душой Свистунщиков. – А ты вот как, Андрюша, сделай: сейчас-с вы мне оба с сидельцем по стаканчику из кабака вынесите и кэ-э-к станете подходить к пролетке, сейчас на колени предо мной, – я вам за это по золотому... Я ведь, Андр-шка, тр-пел...

– Слушаю-с, ваше сияс-ство!

Вышли из кабака Андрей с целовальником, в руках у них по подносу было, на подносах по рюмке стояло и, по купеческому наказу, оба стали они пред пролеткой на колени и с поклонами Петра Федосеича потчевали.

– Пей сам, Андрей, и садись! – попотчевал Свистунщиков своего кучера, а потом стал пить рюмку сидельца, и лишь только выхлебнул ее, как сейчас бросил ее в лицо угощателю и заревел:

– Пшо-ол, Андрей!

Андрей взвился – и след простыл, а Сви-

стунщиков, сидя, бормотал:

– Я ведь тр-пел! Ну, и вы теперь потр-пите!

V

Опять жжет рысак, и опять Андрюшка кажется вид столь знающий по своей части и столь серьезный, что встречные господа-дворяне с какой-то даже злобой шепчут про него:

– Уж сманю же я этого мер-рзавца от хозяина. Ничего не пожалею, а сманю. Да уж я же его, подлеца, и проберу тогда... Небось, каналья ты эдакая, я с тебя серьезные-то твои тогда посибаю...

А Андрюшка чуть только улыбнется, когда мимо него проедет какой-нибудь древний род, и, словно бы отгадывая думу древнего рода, дрогнет немного красными губами, и в этом дрожании губ разбиралось:

– Когда это *тогда-то* будет? Должно быть, когда черт умрет...

– С-стой! – командует Петр Федосеич. – Пить хочу.

– В трактир, али-бо куда? – спрашивает Андрей.

– Квасу!.. И живо, словно бы не рысак стал,

а стали, как лист пред травой, пред пролеткой палатка с инжиром, с жамками{279}, с орехами, с бутылками кислых щей, с кренделями, печеными яйцами, легоньким{280} и печенкой. Хозяин этой палатки, длиннородый такой мужик, снял шапку и осведомлялся с большой политикой:

– Ч-чиво прикажете-с?

– Всево давай! – рявкнул Петр Федосеич, – а затем приказал Андрюшке:

– Слушай... Как я его шарахну, сичас же валяй! Я его изо всей мочи дербану, и ты изо всей мочи валяй!..

– Слушаю-с, ваше сияс-ство! – отвечал благодушно Андрей, натягивая вожжи и умирительно пощелкивая языком бунтующему рысаку.

Продавец кваса и слив-«дуль» на Смоленском рынке. Москва. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем». Государственная публичная историческая библиотека России

Опять та же история.

Только что поднес нашей пролетке длин-



нобородый хозяин палатки инжиров, яиц, огурцов и бутылку с квасом, как все это полетело ему в бороду, в лицо, в голову, в шапку, а потом, по обыкновению, раздался возглас:

– Я тр-пел! Потр-пи-ка ты теперча...

Отплевываясь, утираясь и даже тихомолком поругиваясь, хозяин медленно уходил к своей палатке, а рысак по-прежнему летит, Андрюшка серьезничает, а Петр Федосеич упорно настаивает на том, что дескать:

– Тр-пите, – я трп!..

VI

Отец Петра Федосеича был родом из тех стран, куда, по пословице, Макар телят не гонял. Кто его родил, он теперь нисколько не помнит. Помнит он только, как будто сквозь сон, что когда он еще был Федоской и был не в Москве, а там, где-то, так в это время кто-то, старый-престарый, говорил ему:

– Ишь ты какой горемычный Федоска: ни роду у тебя, ни племени нет. Небось жалеть тятку-то с мамкой? Небось тоже плачешь об них?..

– А что по них плакать-то? Еще мне одному-то лучше, потому иному мальчишке тятка-то с мамкой в лес не велят ходить, а я сейчас куда хошь. В лес – так в лес, а то вон туда побегу, там, пожалуй, целый день просижу...

– Дурашка! – сказал ему на это старый-престарый, – Ты слушай-ка, что я тебе расскажу: Москва, вот люди добрые говорят, есть. Вся из золота, стоит на краю моря, а в ней церквей одних сорок сороков. Говорят: в ней от одного конца до другого сто верст...

– О-о!

– Так-то! – уверял его старый-престарый –
Туда бы нам с тобой махнуть – а?

– Побежим, – что же нам тут?

Помнит Федосей Иваныч, что старый улыбнулся чему-то в это время, встал и пошел.

Шли-шли они, учил-учил его старый дорожной рукавицы шить и потом пропал куда-то. Тут он один пошел и шел тоже долго, так долго, что пух у него на верхней губе начал показываться, нежный такой...

– Били меня в это время, в острог сажали, допрашивали о чем-то, строго допрашивали; давали кому-то сколько-то раз на поруки, с порук опять прогоняли; Христа ради просил, иные подавали, иные ругались и – опять били, дол-лга, ах как дол-лга шло это дело!.. Одначе тут я, долго ли, коротко ли, пришел в Москву...

Так сам Федосей Иваныч в теперешнее уже время, ежели когда выпьет немножко, рассказывает про свое прошлое житье-бытье закадычным друзьям-купцам.

А закадычные друзья-купцы, слушая рассказы, жестоко прослезились глазами свои-

ми, ибо были выпивши, и лопотали спьяну приятелю:

– Ах! сколь много ты эфтого самого перенес! Ах! сколь это, можно сказать, с твоей стороны очень недурно!.. – Потом приятели выпучивали на него бессмысленные бельма и говорили. – Ну, Федосей Иваныч, ты теперича, сичас околеть, друг мне! Выпьем...

– Да не б-буду, да не хочу уж я больше! Я ведь это тебе так только рассказывал, а не токма что... – отвечал Федосей Иваныч, душевно вскидывая и по природе, и по выпивке добрыми глазами на благоприятеля. – Я ведь это так, чтобы ты знал, как я терпел, и за то меня полюбил...

– Н-ну, черт с тобой, ежели не хочешь! – бормотали купцы даже в пьяном виде, а потом, когда отрезвлялись с добродушных, ничего не жалевших для друга, вечеринок Федосея Иваныча, толковали про него – одни таким образом:

– Хорошо тебе, расподлец ты эдакой, с десятью-то миллионами...

А другие друзья, когда их кто-нибудь спрашивал: «Да что же это за Федосей Иванов та-

кой? Какими такими кочергами он с неба звезды хватает?» – отвечали:

– Никаких тут у него кочерег нет, а просто заграбил. Может, он даже человека какого-нибудь богатого убил, черт его знает... Чужая душа – потемки...

– Так, так; это часто бывает!..

Третьи, ежели их спрашивали о Свистунщикове-старике, смешками отделявались, рассказывали одну общую легенду про всех русских купцов:

– Видишь ли, милый! Я уж сколь хорошо знаю этого Свистунщикова, – уж на что лучше! Видишь ли, как он, это, пришел из своей Сибири, сичас же в собор и там, слушай, по секрету сказываю, – с церковного блюда пятак украл. Жрать это ему, скверному, страсть как хотелось!.. И он сичас – шельма эдакая, аки бы что кладет на блюдо – сичас взял и пятак это стянул... А? Каков?.. Только что же ты думаешь? Пожрал он на эти деньги, али нет?

– Неужто нет? – пугливо осведомлялся слушатель.

Рынок на Московской набережной. Фотография конца XIX в. Частный архив



– Вот то-то и есть, что не пожрал! Купил он на эти деньги иголок – и пошел... Иголки продал, наперстков купил, потому барыш, что ж ему?.. Наперстки продал, за тесемки принялся... И так он торговал три года. Ты думаешь, я вру? Мне что же врать-то! Люди ложь, и я тож, а сказывали, кто его знает, что он не без-з колдовства, потому во все эти три года он ни капельки хлебца на свои деньги не съел, а иные говорят, что и воды даже (на что уже вода у нас дешева! Чив-во дешевле, ха-ха-ха-ха!) так капельки не пил...

– И не и-пил!.. А-а-а!..

– Да вот так-то! Понимай, как знаешь. Да еще сказочка-то далече не вся!..

– Нни-фс-ся?..

– То-то и есть, что не вся! – докладывал со знаменательной улыбкой друг Федосей Ивановича. – После этих годов знаешь, сколько у него денег в наличности оказалось? – Мил-л-лион на ассигнации!

– Миллион на ассигнации?

– Д-дда-а!..

– Ббо-ожже!..

И даже в то время, когда Федосей Иваныч имел не миллион, а пять на ассигнации, однажды сказали ему *за верное*, что вот, мол, как друзья ваши, Федосей Иванович, про вас разговаривают, так он, всегда веселый и ласковый, нахмурился в это время грозной тучей, ударил себя в грудь мощными руками и громко и ропотно взмолился:

– Гос-споди! Я ли не терпел, я ли не любил?..

И какие домочадцы сквозь щели дверные могли слышать это, так они так сказывали про хозяина:

– Походили, походили они по горнице, тяжко-тяжко задумавшись, и головку на грудь склонили, потом на колени упали и с горькими слезами воскликнули:

– Друзи мои и искренний мои отдалече мене сташа!..

– С тех пор, – досказывали домочадцы – они такими и стали грозными!.. Аки буря за- всегда все ломает, – не подступайся! И насчет деньжонок тоже, в эфто именно, а не в какое-либо другое время, их подлай бес скупости обуял. Прежде просты были, и-их как просты!..

Невзлюбило купеческое сердце такого обмана от *друзьев*, и принялось оно с великими подходами отыскивать, разузнавать, расспрашивать людей, говорящих за верное, кто им про это рассказывал... «Где же и когда именно рука моя грешная на церковные деньги пала?..» – с великой тоской спрашивало это сердце.

Потом принималось с собой одним тихо раздумывать:

– Может, это так! Может, это они так только, в шутку... Все-таки они, надо полагать, лю-

бят меня, потому... Боже! рази я не делал им тово и тово... Рази я что-нибудь жалел? Нет. Это что же? – Это неправда...

И так сомневался, так скорбел Федосей Иваныч, что однажды взял *вся своя* и отослал потихоньку в Собор, чтобы никто про это дело не знал и не ведал. Поспокойнее стал после этого; только, начитавшись иногда на сон грядущий Четьи mineи, он на постели своей, сквозь сон, вскрикивал:

– Да я ведь опять торговать буду! Думаю об этом завсегда! И слаще всего мне дума эта... В чернецы не пойду!.. Нне-е-т!

Недостойн, недостойн, потому к земному у меня очень еще много охоты...

– Федосей Иваныч! Федосей Иваныч! – будили его прислужники, когда он во весь голос кричал о своем последнем нежелании. – Проснитесь, сударь... Вопите оченно...

– Што? Што? – злобно вскрикивал Федосей Иваныч, просыпаясь. – Что тебе нужно-то, дьяволу? Никогда хозяину спокой не дадут, а хозяин за них, может, всей душой страдает... Вам ведь, чертям, пить-есть надо добыть...

Уходили тогда все от него, и пуще он

озлоблялся и думал:

– Вот все и ушли... Небось я до обману их-него не бросал их!..

Женился Федосей Иванович на какой-то обедневшей купеческой дочери. Приданого за ней ничуть не было, так как взял он ее за одну красоту. И принялся он ей такой разговор разговаривать:

– Ведь вот твои родители хоша и обедняли, а все же купцы. Тебе и во сне не приснится, что я перенес... Я ведь все, что худого в свете есть, на своей шкуре вынес. Гляди же ты у меня, баба, ежели что...

И так он жене часто об этом рассказывал, что молодая, при всем том, что сначала полюбила было его победную голову, взяла однажды да и ушла в недалекую прогулку с проходившим мимо развеселым офицером, – ушла и наказала кухарке:

– Смотри, чтоб у меня ни слуху ни духу Федосею Ивановичу... Вот тебе за это рубль серебра.

А Федосей Иваныч всегда кухарке по два на серебро давал – и воцарились в семействе ложь и драка смертельные.

В гроб вогнали купецкую, *взятую за красоту*, дочь эти ложь и драка. На буйное, самое беспардонное пьянство навели они Федосея Иваныча – и сгубили навсегда малолетнего Петра Федосеича.

После смерти матери малолетнего Петю окружили целые толпы и своих, и иноплеменных учителей, самых что ни на есть дорогих и лучших. К стеклянному подъезду то и дело подлетали в лихих пролетках – то какой-нибудь игривый, в пух и прах расфранченный француз, то толстый, с вытаращенными глазами немец в шляпе, сдвинутой на затылок, то серьезный приходский батюшка.

Затормошенный вконец различными уроками, моральями, прописями, отметками, похвалами и порицаниями, Петя часто принимался умаливать отца, чтоб он уволил его хоть на денек, на завод бы его отпустил, потому сад там, на заводе-то, и река...

– Потерпи, потерпи, миленький! Помогутся безделицу! – такими словами осушал Федосей Иваныч робкие сыновьи слезы. – Ведь это все тебе в пользу пойдет опосля... Ты гляди, сколько я за тебя денег плачу –

страсть...

Иногда, действительно, больно укалывало что-то сердце Федосею Иванычу, когда взглядывал он на своего ребенка в его классной комнате. Большой, круглый стол стоял в этой комнате, на нем, словно в лавке канцелярских принадлежностей, ворохами лежали прописи на разных языках, перья и гусиные, и стальные, карандаши, резинки, аспидные доски, счеты, циркули, книги, в которых сам старик ни единого даже слова разобрать не может. Посмотрит на все это старый купец и припомнится ему далекое, смутно представляемое малолетство: широкие поля, дремучие леса, светлые реки – и воля полная.

Тихо улыбался тогда Федосей Иваныч, глядя на смиренного, хворого сына, и шептал про себя:

– Вот бы его теперича туда – в нашу сторону... Как бы это он там справился – любопытно?.. В самом деле, не бросить ли все это?.. Грамоту бы одну оставить, да письмо, да на щотах... Ведь вот я же вырос, человек есть теперича без сидения без эфтого. Пра!.. Ай бросить?.. Брось-ка покамест, Петушок, науку-то!

Пойдем с тобой в ряды. Ты у меня лошадью править будешь...

Едут они с сыном к шумному городу – и ничуть ничего не видит и не слышит из всей этой суетливой, столичной жизни Федосей Иваныч, потому что дума о сыне всего его обняла собой.

– Ах ты отец, отец! – шевелят губы Федосея Ивановича неслышные никому, кроме него, слова. – Тоже отцом называется, а пользы своему детищу не может понять. Благо достаток Господь послал, так учи, потому что же? Рази сын-от у тебя таким же слепым должен быть, как ты? Ведь ты-то про своих родителей и слухом-то не слыхал. Ну-ка, скажи: где у тебя родители?.. Вот и нет их, да и были ль, право?.. Нет, нет, Петя! – вслух уже суетил он сына, – ступай-ка, ступай-ка домой скорее – учись! Терпи!.. Я вот, видишь, терплю же... У меня вон и родителей-то не было. Уж как я от этого терпел – уму непостижно!.. А у тебя, слава богу, все готово. – Учись знай. Все тебе родитель твой предоставил...

С горькими слезами поворачивал мальчик отцовскую двуколку назад к стеклянному

подъезду, чтобы снова приняться за учение и терпение, а Федосей Иваныч, обходя свои многочисленные лавки, все думал:

– Н-нет! Ежели он у меня, как следует, науку произойдет, я ему тогда большой ход дам. Что, в самом деле, все купец да купец?.. Я его тогда в гусары, в царскую гвардию отдам... Ей-богу...

И, разговаривая с приказчиками, Федосей Иваныч в такие времена до того даже доходил, что где, кого следует, ругнуть бы надо, пристращать, а он все улыбается, потому что мерещутся ему все какие-то страшные битвы. Гремят пушки, пехота это с штыками движется, а тут пыль страшная поднялась, и, разбивая эту пыль золотом своих мундиров, скачет на врагов царская гвардия, впереди же ее, всех храбрее, мчится он – Петруша его с саблей наголо...

– За веру, царя и отечество! – слышится отцовским ушам командирский голос сына.

– Вот так-то! – вполголоса говорит Федосей Иваныч. – Вот тебе и купцы!..

– Чево-с? – осведомляется стоящий против хозяина главный приказчик.

– Знай ты свое дело! – громко уже вскрикивает купец. – И што только вы ко мне завсегда пристаєте?

– Слушаю-с! – отвечает приказчик и ищет что-то под прилавком, взглядывает на верхние полки, подставляет даже скамеечку, как бы намереваясь достать оттуда что-то решительно необходимое, потом гулко встряхивает гремучими косточками щотов и сам вздрагивает, потому что Федосей Иваныч тоже вздрогнул от этого неожиданного стука и почти с плачем вскрикнул: «Варвар! Что ты со мной делаешь? Когда ты мне спокой дашь?» – и побежал вон из лавки.

– Что он, черт? – спрашивают друг у друга сидельцы в большом недоумении.

– Должно, запил опять.

– Да ведь не слышно запаху-то.

– До черт его услышит! Небось тоже заедает чем. Ты, что ль, один заедаешь-то?..

Но не запил Федосей Иванович. Пред его глазами, тотчас же после битвы, в которой так отличался его сын, пошла другая картина: черным бархатом завешены мрачные церковные своды. В церкви стоит пышный гроб, око-

ло гроба высокие серебряные подсвечники с бесчисленным множеством восковых свечей. Свет от них льется на белое, навсегда угасшее.



Торговец гречневиками. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва». Государственная публичная историческая библиотека России

– Что ты? – я его спрашиваю.

– Ах! Уйди, – говорит, – не до тебя мне теперича!.. – И ведь чудак какой! С таким это он сердцем сказал, словно бы я его по головяшке кулаком ошарашил...

Так одна дума беспрестанно сменялась другой в голове Федосея Ивановича во все то время, в какое выросал его единственный сын и наследник, и сообразно с тем, какова была дума, дурная или хорошая, отец то грозил сыну, а подчас даже и тяжелую руку накладывал, то ласкал его всячески, увольняя от учения и позволяя делать все, что только входило в ребячью голову. Таким образом, случилось то, чему неизбежно следовало случиться: какая-то унылая и почти всегдашняя покорность Петруши вдруг иногда, бог знает почему, превращалась в самую буйную удаль, и тогда, по выражению приживальщиков богатого купецкого дома, от чертенка житья никому нигде не было.

– Тятенька-то вон терпит!.. Ну, и вы терпите! – оправдывался мальчуган пред униженными и оскорбленными его буйством. – Тятенька у нас один; он нам всем хлеба кусок добывает...

Минуло шестнадцать лет Петруше, и тут он сошелся на дворе с одним глупеньким пареньком из мецан, уже взрослым. По сиротству его купец у себя в доме призрел.

– Ах, сударь! – как-то заговорил паренек с молодым хозяином. – Мы ведь с вами тезки, ей-богу.

– Как тезки?

– А так! Вас вот теперича Петром Федосеичем величают, а меня Петром зовут.

– Ну, что же?

– Да то-то! У нас вот тут по соседству, у господ, горничная живет, Лизой звать, так они вам кланяться приказали. Говорит: «Петр, а Петр! поклонись своему барину молодому. Я в него очень влюблена...» Так и сказала. И как она тут от меня бежать принялась!..

– Это стыдно так разговаривать! – строго, но почему-то стыдливо проговорил Петруша.

– А какой тут стыд? А ей-богу ничего! – заверял парень (белокурый он такой был, угреватый, глаза большие). – Мне вот самому тоже говорили, – стыдно, а ничего. Я теперь вино, сударь, так-то пью, так-то я его полюбил. Я – беда! Я вам, пожалуй, поднесу...

Жара и пустота страшные томили в это время широкий, вымощенный плитами, купеческий двор. Ни одной души, кроме ребят, ни из одной щели не было видно. В теплом

воздухе пахло каким-то тайным, тайным секретом, так что вздрагивалось молодому телу и ходили по нему то горячие, то холодные струйки.

– А что, в самом деле, – подумал Петруша, – какое оно такое вино-то?.. – И затем он уже вслух сказал:

– Ну, давай, подноси! Только кабы нам песни с него не заиграть – а?

– Эва! чего вы, сударь, боитесь. Это вот с первака-то вам будто боязно маленечко, а то ничего, потому это все привычка...

Господи! как же драл Федосей Иванович будущего болярина Петра, когда узнал про его первую выпивку!..

– Так драл, не приведи Мать-Царица Небесная! – сначала с ужасом рассказывала по соседству купеческая прислуга; а потом, когда картина дранья представлялась рассказчикам во всей своей полноте, так они хохотать даже принимались и договаривали. – Семь возов хворосту исстегал, семь шкур сразу спорол... Вот как! Ха-ха-ха-ха!

С этого раза словно бы ополоумел Петр Федосейч, даже лик у него, как наблюдатели из

дворни уверяли, совсем переменялся, – красный лик сделался, как бы полымя какое; светлые и не очень чтобы большие глаза расширились и стали словно из олова, – такие стали, что вот пословица говорит: «Глаза по ложке, а не видят ни крошки...» Все ходит, все шагает по горницам, руки в карман заложивши, как бы немец какой, и только отец в лавку, он сейчас же по черному крыльцу марш к извозчикам – и поминай как звали...

VII

Усастый ундер, швейцар в доме Свистунцикова, как самый расторопный и, следовательно, доверенный из всех слуг, поставил на ноги всех чад и домочадцев, какие только налицо оказались, т. е. посадил их всех на извозчиков и отправил *во всякие теплые места*, где можно было, по его мнению, отыскать Петра Федосеича.

– В «Крым» теперича ежели – это первое дело! – командовал ундер. – В «Италию»{281} опять заверни сперначала, потому хотя там и не столь приятно, только господа там тоже бывают. Оттуда вы теперича туда-сюда съез-

дите, Сретенку обходите... Чер-рти! разве вам день-то не все равно балбесничать – что дома, что там? Ведь заперет в части хозяин, ежели вернется и этого самого дьявола своего не увидит...

Приедут наряженные усастым ундером в «Италию», подкличут к себе милого человека и спрашивают:

– У вас Петр Федосеич?

– Н-ну, ей же ей, нет! – отвечает с крестом милый человек. – Вот глаза лопни! Разве бы я не сказал, што ли?



Птичий рынок на Трубной площади. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и

К°». Частная коллекция

– А ты вот что, друг, усовещивают наряженные, – ты по-божьему... Вот тебе рубль-целковый, сейчас мы в фартал бы...

– А коли рубль, так вот что: толичко вот сейчас уехамши: вот на эстоличко вы его не застали. И при этом милый указывает на самую маленькую часть своего ногтя.

– Право? – спрашивают у него, – последнее слово?

– Однова дыхнуть! Что ж, я врать, что ли, стану?

– Пшол в «Крым»! – кричат извозчику наряженные, справляючи свой тяжелый наряд.

– Вот, ребята, походню отыскиваем! – разговаривают они промеж собой на извозчике. – Черт его сыщет...

А из «Крыма», с белой салфеткой на левом плече и в белом фартуке, бежит другой милый человек.

– Что, милый человек, – спрашивают его купецкие слуги, – давно у вас был Петр Федосеич?

– А как бы тебе сказать – не соврать: года с

три уж не был. Ха-ха-ха-ха! – отвечает милый человек и скрывается во тьме подвала, где помещается мелочная лавка, куда он стремился за солеными огурцами.

– Дело – дрянь! – рассуждают наряженные.

– Да коего черта тут шататься? Поедем лучше домой.

– Што домой? Луч-чи уж ежели в эфтог самый трактир закатиться... По крайности, хотя недаром ездили...

– Ну, дак так! Что же нам, в самом деле страдать, што ли?..

Вваливалась ватага купца Свистунщикова в ярко освещенный зал, и седовласый буфетчик сейчас же подходил к ним и спрашивал их такими почтительными словами:

– Вы, господа-купцы, от Свистунщикова будете, али из коих других мест?

– Так точно, мы от Свистунщикова. А вам что угодно?..

– А вот вам от молодого хозяина приказ. Был он тут у меня недавно, так наказывал передать вам, потому как ихнее такое мнение было, что-де, шалопаи мои меня беспрременно отыскивать будут.

«Прикаса малатцама атграфа Питра Федосева, ежели вслучие чиво и тятеньки кольскоро они приехадчи так и сказать штобы неискали сам вирнус беспременно потому мне деватся некуда все нас знают и уважают только я их типера ни боюсь оттерпелси с мене будит а и с канторы штобы тыщу рублей мне главный канторщик прислал через Петра Семенова моево друга вот и все а тятеньки ежели они захочют чего сомной ни по закону, то я теперича сам оченна строг стал уж и то только добрые люди миня удерживают штобы я надним немилостеф своих не аказывал».

Письмо заканчивалось безобразно расчеркнутой подписью: «Граф Фидасеич Свисстунщикаф».

– Вот ты тут и ищи его! Ай да графчик!.. Да ну его к чертям! Пей, што ли, ребята!

Этими словами и почти всенощным хождением по хересам и горским закончили наряженные люди все свои походы за пропавшим хозяином.

Праздничный сон

I

Стояла светлая ночь, насквозь прохватившая ярким морозом улицу, утрюмую и до мертвенности пустую. Она щедро обсыпала ярко блиставшим на месяце инеем кровли домов, которые в эту минуту охотно принимались тосковавшими по жизни глазами за ряд седых стариков, то сильных и бодрых, от каких каждую секунду ждалось, что вот-вот они внушительно и строго заговорят с этой тихой ночью о негодности нынешних времен и людей, – заговорят и при этом сердито зашевелият гневными длинными бровями, – то совсем слабых, в досталь покачнутых временем, старцев, беспомощно сторбленных, слезливо моргающих, от которых не дождешься ни одного слова...

Гробовая тишина властительно разлилась по улице, и ночь, сопровождаемая ею, медленно проходила, вселяя мучительно сладкий ужас в сердца людей, способных слышать ее

каменную поступь и забывать все на свете, при виде красоты этой, непостижимо величественной...

Из людей никто так не ходит!..

Шла, шла она, эта ночь, и вдруг загудели московские колокола какими-то особенными, необыкновенно густыми и сдержанными ба-сами, каких летними ночами ни за что не услышишь.

И еще, может быть, круги медных звуков не успели расшириться настолько, чтобы долететь до окрестных сел и деревень и сказать им: «Вставайте! В Москве к заутреням звонят», – как уже ночь, хотя и было еще очень темно, совсем ушла, потому что в это время по улице замелькали человеческие говорливые тени, и, следовательно, тут настало глупое царство человека...

II

Морозное утро чуть забрезжилось. Плутowski, как бы человек, охотник посмеяться, одним глазком подмаргивало и подкивывало оно неслышно летавшему, но необыкновенно жгучему ветру, что, дескать, поди-ка, загляни-ка им под носы-то. Ежели очень расчихаются, ничего, пожелай им доброго здоровья, потому того требуют и политика, и христианский обряд...

Смешливое утро сходило с высокого неба, сплошь расцвеченного разноцветными морозными маревами.

Упал смех этого утра и на девственную улицу. Упал – и раскатился над ней более звонко и продолжительно, чем он раскатывался над другими соседними местами.

– Почем, мол, нынешней зимой вы, ребята, дрова покупаете? – явственно разбиралось, как подшучивало утро.

– Дрр-рова?.. Нне-е-т, посиди маленько с дровами-то! Небось и так не умрешь, и без дров не издохнешь – обойдешься!..

Такие слова сказал некоторый человек без

картуза, в опорках вместо сапог, и в красном разводистом, хотя совершенно отрепанном, халате. Он стоял на крыльце единственной харчевни девственной улицы и, осторожно постукивая в ее еще запертую дверь, говорил:

– Отопри, Христа ради! иззяб весь! А то др-р-рова!..

– Я тебя ей-богу пущать перестану, – слышалось сквозь харчевенную дверь. – Что это на тебя угомону нет никогда?

– Пус-сти! – умолял халат, – дело такое есть: дрова вот вышел покупать, да рано еще!..

– Знаю я эти дрова! Ты бы вот, нескладный, праздники-то Господние получше бы соблюдал.

– Да что же праздники? Я и то их всегда... Будет, пусти! Железный болт загремел наконец в харчевне, и дверь отворилась.

– А ну-ка я погляжу, как он дрова покупать станет? – смеялось утро, все больше и больше налегая на девственную улицу и освещая ее. – Погляжу, погляжу я на это дело, – повторяло утро, расцветаясь с каждым своим словом все яснее и яснее какой-то необыкновенно доб-

рой, как бы сквозь слезы смотревшей, улыбкой.

И полагаю, что свет этого утра, упавая *на злые же и праведные*, говорил своей улыбкой и тем, и другим такую речь:

– Делайте, делайте, люди, что можете! Не смотрите на мой смех над вами, – не глядите, что я такое смешливое. Всех я вас обойду ровно, всякого в точности огляжу, и когда сменит меня темная ночь, я уже буду говорить в это время Царю Небесному про дела ваши, и он воздаст вам за те дела, сами вы знаете как!..

Так воздаст, – прибавляло утро, – что возрадуется добрый и заплачет злой.

Встречайте же меня, люди, каково бы я ни было: с грозной ли бурей схожу я к вам, или при тихом дыхании утренних ветров, убранное в золото ближних к встающему солнцу облаков, бужу я уснувший мир, – встречайте меня и радуйтесь, потому что там, откуда я к вам слетаю, зла нет и, следовательно, я с собой на землю его не вожу...

Человек в красном отрепанном халате и без картуза, первый возмутивший тишину описанной сейчас ночи своим ранним стуком в дверь харчевни, был Кузьма Сладкий – сапожный подмастерье, такая головица{282}, про которые говорят, что их дело – убить да уехать.

Лютая головица задалась!.. Каблуки он у барских сапог такие вылащивал, что франты-заказчики смотрели на них и вздрагивали. За одно только это дело хозяева и держали его, потому что держать его без этого умения решительно сил не было.

Мрачным, небритым и необыкновенно черным сидит Кузьма в хозяйском подвале за своими каблуками и никому по целым неделям слова не скажет, и только слышно, как это состукивает он вонючую кожу в красивые кружки, намазывает и намасливает их, обдувает, подносит к маленькому, чумазому оконцу и пристально всматривается, как убогий солнечный луч, нищим забирающийся в это оконце, отражается и играет на его рукоде-

лье.

– Готова работа, что ли? – вбежит, бывало, хозяин со спросом про какой-нибудь № 43.

– Готово, – отвечают ребята, – только вон Кузьма каблуки отчищает.

– Скорее, Кузя, голубчик! – взмолится хозяин, – прислали.

Шваркнет Кузьма сапоги на грязный пол и прорычит: «Бери, да отваливай к черту!» – потом снова застучит молотком, заваксит и угрюмо замолчит до нового спроса, сморщивши густые черные брови.

Видят хозяева прилежание Кузьмы и, как только артели предстоит двинуться к обеду, ежесекундно и судорожно ожидаемому постоянно голодными желудками, – хозяйка, наученная мужем, сейчас и манит Сладкого за перегородку.

– Кузьма Иваныч! – ласково говорит она, – подь-ка сюда: дельце у меня до тебя есть.

– Не пойду! – отвечает Кузьма по-медвежьи.

– Что ж так?

– А так и не пойду! Думаешь, водки твоей не видал, что ли?

– Да я не насчет эфтово, а вот разговор та-кой...

– Што врешь-то? Жаль тебе всем поднести, так ты меня одного потихоньку зовешь... Не пойду!

И не пойдет Кузьма Иваныч. Ни за что и никогда нельзя было упросить его пожаловать на потайную выпивку.

– Рази я краденый, что ли? – справедливо рассуждал он в таких разгах.

Случалось, впрочем, что хозяева, избегая конфуза пред артелью, говорили: «Да что же, Кузюшка, ты так полагаешь, как быдто мы т. е. жадны? Мы и всей артели поднесем. Простоту нашу ты, кажется, видишь и знаешь. Будем всем сейчас подносить, потому, что ж, рази вы нам не все любы?»

У других мастеровых замирали сердца при таких хозяйских речах, а Кузьма, не меняя своего обычного бычиного вида, свое толковал:

– Знаю, все знаю! Только я уж теперь пить не буду, – и при таких словах глаза его, всегда стеклянные и серьезные, загорались таким-то блеском ненависти, решительно непонятно к

кому и за что обращенной.

Пробовали некоторые из хозяев, какие, по новости, не знали Кузьмина нрава, в навяз его потчевать.

– Да выпей, Кузьма Иваныч! – приставали к нему русские расщедрившиеся души. – Ну, и скупы ежели были, не попом ни – выпей!..

Хозяин, ежели был в эту минуту в заложении, так обыкновенно целоваться лез, а хозяйка стояла пред капризным подмастерьем с почтительной улыбкой, с вытянутой рукой, в которой так заманивающе светлелась эта здоровая, мастеровая рюмчища, прозванная: «в самую плипорцию»{283}.

И ежели такие приставания длились больше того, чем могло их вынести ретивое сердце, так Кузьма с большим стуком бросал на стол кленовую ложку с недохлебнутыми щами и уходил вон из дома, не показываясь обратно по целым неделям. Пьянствовал он в такие времена, по рассказам молодцов, так, что чертям тошно делалось. И тут проделывал он всякие шутки, чтобы только показать хозяевам, что, дескать, ну вас ко всем дьяволам и с водкой-то вашей! Я и на свои могу

обожраться до смерти.

И достоверно известно, что во время Кузьминых запоев по девственной улице могли раздаваться только одни его, каким-то необыкновенным горем и отчаянием обуянные, песни. Бешеные взвизги только его одной гармоники, сопровождаемой разбойничьим свистом, гайканьем и топаньем, заносились в тихие дома захолустья, потому что ни с кем не сносил тогда наш молодец никакой супротивной встречи: ни в кабаке, ни у родни, ни на улице.

– Держись крепше! – орал Кузьма какой-нибудь другой песне или гармонике. – Расшибу, – один я по этой улице пройтиться желаю!..

Давались тут и Кузьмой, и им самим получались самые зверские трепки. С треском ломались так называемые девятые ребра, никогда уже не появлялись на голове вырванные с корнем вон волосы, а оставшиеся безвозвратно седели: беспощадно, словно зубами голодного волка, растерзывались нежные хрящи ушей, скусывались носы, а деньжонки, или заработанные у хозяина, или выканюченные

в пьяном виде у хорошего барина за хорошие каблуки, или наконец даже сворованные, ушли вместе с гармоникой, с халатом и пожалуй что с сапогами к будочникам, натолкнувшись случайно на молодецкую сцепку.

Весь разбитый, ограбленный, возвращался Кузьма из какого-нибудь квартала, после многих дней разгула, к своему сапожному сиденью, а мимо его пьяных, блуждающих глаз шедшие улицы так-то смеялись над ним своими светлыми стеклами, так-то разборчиво с густых вершин бульварных деревьев сыпались на его победную голову разные ругательные речи, что, дескать, «Ах ты, Кузьма, Кузьма, сапожный ты мастер великий! Скоро ль ты, Кузьма, пить перестанешь? Когда ты, Кузьма, как тебе быть подобает, хорошим мастером жить почнешь?»

Ночлежный дом. Худ. В. Е. Маковский. 1889 г. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Извозчик едет, и кажется Кузьме, что этот дьявол извозчик глядит на него раскрасневшимся от только что выпитого чаю лицом и



улыбается, – улыбается и только одни эти слова, – чтоб его черт взял! поматывая нечесанной рыжей головой, толкует:

– А-ах-х ты, Куз-зь-м-ма, Кузьма!..

– Што тебе за дело? – кричит Кузьма, нале-тывая на наставника с мощно сжатыми кула-ками.

– Но, но! – кричит извозчик, постегивая ло-шадь. – Вишь, леший! Што, ты грабить, што ли... днем-то?..

И извозчичья гитара бренчит уже вдали от сапожника, и так-то насмешливо бренчит:

– Што, черт? – говорит гитара. – Што, дья-вол-пьяница, поймал? Нн-е-т, шутов баран,

околеешь допрежь под винной бочкой, а меня не поймаешь. Я тоже резов, я тоже, может, который год уже езжу...

– Моли бога, запивоха ты эдакой! – покрикивает извозчик, – что вот утро теперича раннее, городовые теперича по харчевням спят, а то бы я с тобой расправился, как быть надоть!..

И все, что только мог завидеть Кузьма около себя в такую минуту, все это: и утренняя заря, упавшая влажной росой на дома, на деревья и на него самого, и пыльщики, встающие на работу в три часа, которые теперь сонной гурьбой идут мимо него, и гулливая девица, возвращающаяся откуда-то, – все это кажется его глазам пляшущим назло ему, смеющимся и говорящим:

– Что, что, взял? Ах ты ш-шу-у-това голова!..

Обеими руками вцеплялся тогда Кузьма в свои длинные волосищи, рвал их и в бешенстве кричал на всю еще сонную улицу:

– Н-не-ет! Будет теперь! Теперь никогда я тебя, врага, в рот не возьму.

А хмельной подчасок, прислонившийся к

утлу, слушая сквозь сон эти вскрикивания, как-то особенно повелительно и вальяжно отвечал Кузьме:

– Што-рёшь, др-а-ак? Счас тебя в фартал велью взять.

Будочник в это время (говорю об этом в скобках) видел сон, что он будто бы не будочник уже, а квартальный надзиратель, – от этого-то он так повелительно и разговаривал этим тихим, прелестным утром, дышавшим сладкими ароматами на вонючую в остальное время столицу...

IV

Те зароки, которые Кузьма Иваныч, после своих запоев, клал на свою душу, т. е. не пить чтобы больше, в рот его не брать, были столь страшны, что и приятели, и хозяева Кузьмы, слушая его тяжкие на себя клятвы, вздрагивали и, ужасаясь сердцами, тихим шепотом, каким обыкновенно говорит человек в большом испуге, разговаривали:

– Господи! Откуда только он такие слова берет?

Виделись тогда окружавшему пьяницу лю-

ду черные, волосатые дьяволы, которые радовались Кузьминым словам; громкий смех, вместе со смрадным пламенем, вылетал из их широких и зубастых ртов; бесчисленной стаей вертелись и прыгали демоны около Кузьмы, восклицая: «Наш! наш!» и потом, как бы в подтверждение той правды, что Кузьма их неотъемлемо, они с разбега вскакивали к нему на широкие плечи и оттуда все христианское подло дразнили своими длинными, красными язычищами, опять-таки повторяя: «Что, взяли? Как вы ни старайтесь, а он наш!»

И ужас суеверных душ, пораженных такой картиной, доходил до самой высшей степени, когда Кузьма, все больше и больше разгораясь на своего лютого врага – винище, с каждым поворотом языка изрыгал все большие страсти:

– Да распротрели, да раздребезжи меня мать Царица Небесная, ежели я лишь каплю... – покрикивал он, яростно вращая кровавыми от похмелья глазами. – Да чтоб мне отца с матерью в глаза не видеть!.. Чтобы с места с этого мне не сойти, сквозь бы землю провалиться!..

Но нельзя было переслушать всех этих речей, и потому, при всеобщем ужасе и молчании, все садились на свои кадушки, и снова принималась шипеть дратва, крепящая сапоги, стучали молотки и визжали ножи и шилья, оттачиваемые на шероховатых подпилках.

Наконец покрасневшееся лицо постепенно бледнело, волосы, вставшие дыбом от злости, мало-помалу укладывались, и Кузьма, как и все, садился на свое место. И видно было по усмирившемуся лицу подмастерья, что он сел не как другие, что то и дело выскакивали то в харчевню, то поразговориться с соседской кухаркой, вышедшей вылить помой, а как бы какой двухтесный гвоздь, вколоченный в стену толстым молотчищем и здоровой рукой.

Сиднем каким-то, готовым, как Илья Муромец, просидеть *ровно тридцать лет и три года*, ввинчивался Кузьма Иваныч в свое место – и ни-ни! В рот т. е. чтобы – ни капли! И говорят те, кто близко знал, что во время его молчаливого отделявания каблуков каждую минуту представлялась ему скрипучая дверь

кабака, так широко растворяющаяся, так ласково зовущая; за дверью виднелась зеленая посуда, так заманчиво расставленная; сладкий запах родного влетал в раздутые ноздри; лихие и жалующиеся песни так и били в уши... А Кузьма ничего – все сидел и постукивал, сглаживал и подносил к окну свою работу.

Много времени таким образом проходило, так что мастеровые, выйдя за ворота вечерним праздным часом, толковали про Кузьму между собой:

– Ведь остепенится, пожалуй?..

– Нет, не остепенится, – сомневались другие, – потому многие видели своими глазами, как *они* на ем верхом сидели...

Продавец швабр. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Хозяин, в свою очередь, поздней ночью рассуждая с женой о делишках, тихо шептал ей:

– Кузьма теперича беспрременно к первому числу прибавки потребует, потому прилежен



уж очень, нельзя не прибавить. Ох, дела Божьи! Никак-то тебе извернуться нельзя!..

– Небось извернешься! – советовала жена. – Разочти, ежели прибавки запросит. Какой ему леший поверит, что он пить перестал, – посуди: он тебе такое колено выкинет...

– Так-то вот вы, бабы, всегда нашему брату не верите! – недовольно отзывался хозяин на

женино замечание. – Мало мы вас лупим...

– Было бы за что! Есть кому верить. Пьяницы, так вы спокон века пьяницами и будете.

– Ну, молчи, черт! Никогда уснуть, как надо, не даст. Беседа заканчивалась громким, будившим ночную тишину ахом хозяйки, которой *сам* поддал легонько в бок на сон грядущий. А Кузьма все-таки не шел в кабак, все-таки он удивлял и злил своих благоприятелей, какие в подпитии тащили его в кабак, покрикивая:

– Ежели ты, Кузьма, не пойдешь со мной – беда! Я с тобой насмерть раздерусь, потому я тебя угостить хочу...

– Так ты теперича не пьеш-шь? Хор-р-рошо! Эфто прикрасно! Так ты, значит, так-то с товарищами обращаться желаешь!.. Хыр-р-рошо! Не трог, ребята, Кузьму Иваныча: они купеческий капитал хотят за себя объявить... Ха-ха-ха-ха!..

Работал Кузьма и молчал. Пить ему страшно хотелось, так и звало что-то. Говорит: «Иди! Компания там вся!» А он не шел. Зудели у него согнутые в крюк сапожной работой руки, чтоб исколотить всех приятелей, но он

не дрался и молчал.

– Подемте, ребята! Черт его знает, что у него на уме? Может, он и наши души хочет ему продать, – кто его знает?

Все уходили, и оставался Кузьма один; хозяйские ребятки к нему подбегут, говорят:

– Дядя! дай-ка ты у нас извощиком будешь... И затем ребятки сморщивали свои смеющиеся розовые личики в серьезные, барские рожи и принимались орать: Звощик! Звощик!

Кузьма, впадая в роль, назначенную ему несмысленными режиссерами, уходил в самую глубь хозяйской горницы и оттуда, словно бы настоящий извозчик, отвечал:

– Куда прикажете, ваше сиятельство?

– К маменьке клёшной, на Твелшкую...

– В кое место, сударь?.. Тверская длинна!

– Ты еще лазговаривать що мной вздумал? – сердился мальчуган, разыгрывая из себя сердитого барина.

– Ах, ваше сиятельство! Как же нашему брату разговаривать с вами? Посмею ли?.. Ну, да пожалуйста три гривенничка, – уж Господь с вами!

Но входил кто-нибудь в оставленный наработавшимся людом подвал – и комедия кончалась. Кузьма опять сидел...

Таким манером досиделся он до той самой предпраздничной ночи, конечные шаги которой были началом той московской правды, какую я сейчас описываю.

Обрушилась эта ночь на Кузьмину трезвую голову большим горем. Светлая и молчаливая спустилась она на рабочий подвал и весь его до конца повалила на грязный и мокрый пол.

– Слава тебе, Господи! – и говорили во сне, и думали все эти чумазые, наваксенные лица. – Завтра, по крайности, целый день что хошь, то и делай. Можно завтра в трактире отсидеться чудесно...

Целая гурьба халатников растянулась на полу, и только при тусклом свете лампадки, рвавшемся из хозяйской комнатки в мастерскую, можно было распознать, что это живые еще, а не мертвые люди: до того были мертвенно-бледны лица их и до того, смотря на неряшливую и сердитую смуглоту этих лиц, казалось справедливым, что это не сон лю-

дей, а какая-то чума, которая внезапно налетела на весь город, сразу повалила его и обезобразила и его, и живущих в нем мастеровых своей смертной печатью.

Тишина в смрадном подвале ходила совсем слышными шагами. Полный месяц, как бы нежеланный гость, который, по пословице, хуже татарина, врывался своими золотыми волнами в это исключительное жилище тусклых трынок, семиток и пяточков и, как бы насмеиваясь над нищетой подвала, говорил:

– Что это за бедность такая всегдашняя? Дай-ка хошь я ее позолочу немного...

И ежели этот, озолотивший собой все ночное небо, месяц был охотник разговаривать, то хорошо ему было, потому что никто в это время не перебивал его, кроме только разве сонного кудахтанья трех кохинхинских кур, купленных хозяином для ради новости. Уселись они на брюхе одного молодца, который свалил победную голову в угол мастерской к самой двери, чтобы тот угол, насквозь прохваченный морозом, хоть немножко остудил его, тупнувшего безделицу предпраздничным

вечером, – уселись, говорю, гости из Кохин-хины на этом брюхе и только одни ведут свой сердитый разговор с сердитой, хотя и светлой ночью.

Слышит Кузьма этот куриный разговор и понимает его во сне таким манером: снится ему, будто он имеет свой дом в Чушкином переулке. Идет будто он, Кузьма Сладкий, по тому переулку, а на нем грязь страшная, извозчики завязли в этой грязи и зовут будочников на подмогу, а мальчишки, посланные *любезными родителями в лавочку*, орут, утопая. Смеется всему этому Кузьма так-то ласково и смотрит на ворота деревянного, с ярко-зеленой жестяной крышей дома, а на воротах написано, во-первых, на золотой печати: «Застрахован во 2-м от огня обществе», а во-вторых, на железной печати неким живописцем было изображено: *«Жены сапожнаго цеха мастера Афимьи Сладкой. Сей дом слободен а-пастоицф»*.

Хитрое рынок в Москве. Торговля старой обувью. Фотография конца XIX в. Частный архив



Шагает Кузьма к новым воротам – и день-жищев этих у него, из *города* полученных, конца края будто бы нет. Так и шелестят, так и разговаривают:

– Ах, в трактир бы теперь – любезное дело!..

И видит Кузьма, что на его дворе ходят все куры, большие такие, голенастые, словно бы ненашинские. Ходят те куры по двору в таком числе, что от перьев их в глазах рябило. И будто они то и дело все на яйца садятся – и в ту же минуту из тех яиц выводят не цыплят, а все молодцов, и молодцов по сапожному ма-

стерству.

Одеты молодцы, от рождения прямо, в серпянковые халаты, в опорках, с ременными обручиками на длинных волосах. Весело встречают эти молодцы Сладкого у ворот и кричат ему:

– Здравствуй, хозяин! Дощечку мы вот вам положим сейчас, чтобы вы ножки не замарали.

А куры кудахтают:

– Ко-ко-ккоо-о! Вот мы тебе, хозяин, сколько молодцов нанесли! Еще, ежели захочешь, сколько угодно представим; а жалованья им хочешь давай, хочешь нет, потому мы тебя любим.

– Это чудесно! – всей душой радуется Сладкий. – Артель здоровая будет, и все даром. Только, что же это я своих ребят не бью?

И взял он будто бы, пришедши домой, подтяг – и принялся ребят стегать. А ребята, невзирая на крепкие удары, говорили ему:

– Хошь ты нас, хозяин, стегай, хошь не стегай, а мы из твоей руки не выдем, – не согласны, потому ты наш хозяин...

– Кко-кко-о-о! – хрипели сердитыми окта-

вами кохинхинки. – Мы из-под твоей руки идти не согласны.

– Накрывай обедать, Афимья! – кричит Кузьма на жену. – Да пошли в кабак за четыре копейки *мальчишечку*[13] взять.

Небывалой, неизвестной еще никогда радостью – быть хозяином – кончался Кузьмин сон. Дальше зазвонили к заутреням, и настоящая хозяйка будила остепенившегося подмастерья, толкая его ногой под бока.

– Кузьма Иваныч! А, Кузьма Иваныч! Проснись, ради бога! Муж с полночи, празднику обрадовавшись, в трактир укатил. Поди-ка ты дровец искупи. Не на кого, кроме тебя, понадеяться – пропьют. Получи-ка вот полтора серебра.

Встал Кузьма Сладкий под обаянием сладкого сна и, встряхнувши длинными волосами, сказал втихомолку:

– В руку сон! Ишь как приятно привиделось насчет хозяйства! Пойду-ка я на радостях трахну. Потому не даром эти сны видятся: значит, скоро буду хозяином.

Площадь Хитрова рынка. Фотография начала XX в. Частная коллекция



В это-то время он первый и разогнал ночную тишину своим стуком в харчевенную дверь, а потом, когда улица сделалась совсем светлой, Кузьма сходил с грязного крыльца харчевни с медными деньгами в обоих кулаках и, отчаянно поматывая кудлатой головой, бурлил:

– Куда мне теперича, братцы мои? Что это я никак не при думаю? К хозяевам не пойду, – ну их к чертям! Говорят: поди, Иваныч, дров купи. А? Каково покажется?.. С-стой! Надумал, куда идти: схожу-ка я к Фоме в полпивную:

Фома мне друг, Фома мне земляк, – а я к нему не схожу? С чикво так, пызвольте узнать?

Народ, валивший от ранних обеден, давал просторную дорогу Кузьме и говорил про себя:

– Вон оно! Кто празднику рад, тот до света пьян.

– Что, ребята, отошли обедни? – громогласно осведомлялся мастеровой у встречных.

– Отошли! – неохотно отвечали богомольцы.

– Н-ну, значит, с пр-р-раздником! – поздравляла всякого удалая голова, и затем она вытащила из-за пазухи старую, с облезлой позолотой гармонику и раскатила на всю улицу:

*Р-р-ради гостя,
Рради дру-у-гга-а!
Охх!{284}*

На одной из московских улиц, где каждую секунду в три путающиеся ряда валят обозы с хлебом, или скачут эти же самые обозы порожняком, пущенные на Божью власть красными, бородастыми лицами, орущими во все горло не песни, а так, черт знает что, – где на каждом шагу можно видеть лихачей-извозчиков, сцепившихся колесами, – где разбитые, окровавленные мордасы, в виде классических статуй, украшающих барские сады, торчат на каждой тротуарной тумбе, как нечто отдельно живущее от своих владельцев, – где, наконец, над всем этим буйно-пошлым гулом царит кулак будочника, приводящий все это, так сказать, к одинакому знаменателю, – так вот на такой-то улице, говорю, можно приметить угол, с которого сразу, в обрыв, начинается другая жизнь. Каменные палаты, с балконами, с мрачными подъездами, с важными швейцарами, по-хамски относящимися с этих подъездов к дневному течению, вдруг прекращались на этом углу, и вместо них выстраивалось кособокое царство до-

мишек, принадлежавших, как говорили наворотные надписи, то надворной советнице Минодоре Певцовой, то купчихе второй гильдии г-же Лисафете Марковни Сычуговой, то цеховому Гавриле Разудалову.

Шли тут вывески, говорившие, что «хоша я и сапожный мастер Иван Забубённый, одначе ты мне задатку вперед не давай, – пропью; потому жизнь моя к дьяволу не годится». Грязь и ржавчина залезли на эту вывеску, разъели ее некогда белые буквы, заворотили уголки, прорвали середину и таким образом навсегда опакостили мастеровую репутацию Ивана Забубённого.

В окнах, примазанные разжеванным мякишем черного хлеба, пестрели ярлыки, говорившие:

«Сдеса-тко адаеца палугла».

«Чисавой мастир Петра Раскудряиф».

А вот и знакомая харчевня; она ухитрилась-таки со своих всегдашних гостей-лохмотников содрать себе денег на золотую вывеску. Бойко расписался на этой вывеске живущий напротив харчевни *Иконописец Авдей Ликсандрыч гаспадин Ликсеиф художник из*

Питенбурха. Своей мастерской кистью Авдей Ликсандрыч раскатил на харчевенной вывеске: горат Растоф фхот взаведенья.



Катание на Масленице на Девичьем поле. Фотография начала XX в. Частный архив

Пиво азартно кипело в двух кружках; модный самовар, в виде помпейской вазы, щеголем подпер руки в боки; около него правильным полукругом стояли золотые чайные чашки; громадный графин толковал проходящим, что-де прочтите-ка, коли грамоте знаете, что на этой картине написано.

А послушные проходящие, изумляясь сто-

личной росписи, читали по складам:

«Эдакой скус! Опробуйка, землячок!»

Так начиналась девственная улица, так она продолжалась, потом почти в самом конце, круто и криво обрушиваясь под гору, как бы топила в протекавшей здесь Москве-реке свою безвыходную нищету.

– Вот сейчас в быстру реку брошусь! – говорила она этим обрывом. – Ни дьявола своим мастерством в целый век не заработаешь, а только все винище одно жрешь и все это сказываешь себе: завтра, мол, беспременно отстану.

Работящая голь девственной улицы, в обыкновенные будничные дни угрюмая и до полного безмолвия смирная, теперь, *праздничным слободным делом*, вся высыпала на морозный день, и ржание этих парней в одних красных рубахах было столь вопиюще к небу об отмщении, что всякий *больной* человек ежели проходил тут, так непременно сердце его судорожно вздрагивало, и он вскрикивал:

– Горло, что ты ржешь? Когда же ты, человеческое горло, говорить станешь?

Барыня какая-то прошла, и порока-то в ней было только всего, что на голове ее, вместо шляпы огненного цвета, всегдашней на девственных улицах, – шляпы с такими же перьями, какие некогда развевались на Гекторовом шлеме, – была надета, *как есть, братцы, как на мужике*, шапка, опущенная серыми смушками. И шла эта барыня, никого не трогая, тихой, хорошей поступью; черные глаза ее пристально смотрели под ноги. Очевидно было, что она понимала, что ей не следует ломать своих маленьких ножек ради этой мостовой, вошедшей в притчу во языцах, – и вдруг:

– Ха, х-ха, х-ха-а!.. – громко раскатила улица по ее следам. Нельзя было не оглянуться на этот лешачиный хохот, и барыня оглянулась; а бойкая, с большими выпятившимися зубами, бабенка, манерно разглаживая свои напомаженные и выпущенные из-под платка височки, закричала ей:

– Что глядишь? Ай не знаешь?.. Вместе езживали...

*Ай барыня, барыня,
Сударыня-барыня,*

Чив-во тибе надомна?

Заорали на разные голоса молодцы, закривлялись при этом и заломались со свойственной мастеровой *нацее* грацией.

Ежели бы барыня в смушковой шапке вдруг в это время воротилась и, топнув ногой на хор, закричала бы: «Как вы смеете, расподлая эдакая мастеровщина, обращаться так с благородной *женщиной*», – то, я уверен, праздничная уличная картина непременно изменилась бы. Шустрая бабенка с висками с визгом убежала бы в ворота, а за ней дали бы стрекача и ее рыцари.

Но прошла мимо барыня в шапке, и чем дальше отходила она, тем более густые слова сыпались ей в уши.

Уличная картина, следовательно, ничуть не изменилась.

Идет офицер и видно, что не пехтура{285} какая-нибудь, потому что за ним парадно выступает тысячная пара, запряженная в широкие сани, а на тротуаре, в взмешенном бесчисленным множеством ног снегу, лежит мастеровой. Вонь и грязь около него.

Офицеру скучно. Забрел он сюда бог знает

зачем. В голове бродило что-то вроде смутной надежды встретить какую-нибудь эдакую... с глазками в виде крупных, зрелых вишен, маленькую эдакую, канальство, при взгляде на которую, черт возьми, сразу взмахнулись бы ввысь поднебесную ослабшие тела.

«Ну, там платье, юбочек ей этих беленьких накупить, чтобы ножка была видна», – идет безмолвно офицерская дума, погромыхивая палашищем. «Посадить в сани, надвинуть на нее шапку-боярку и смотреть: необыкновенно в такие времена эти плебейки забываются. Сразу уже от коровника-то они в амбицию вламываются. Приятно в морозный день с таким раздуханчиком загородную прогулку учинить!..»

Тут вдруг офицер почему-то проникся гуманными идеями; стал он тогда мечтать о сближении сословий, и потому, увидя мастерового в снегу, он с ласковой улыбкой, имевшей ободрить погибающего брата, сказал: «Не сыро ли тебе здесь, любезный друг? Петр! покинь лошадей: пособи поднять человека!»

Петр, этот кучер, получающий тридцать целковых в месяц жалованья, в бьющей по

глазам зеленоватой шубе, в белых замшевых рукавицах до локтей, с бородицей в три сажени, только мимоходом взглянул на барина и, не улыбнувшись даже, натянул зеленые возжи с серебряными наставками, отчего парадный шаг рысаков сделался еще параднее.

«Ишь, черт, с коих ранних пор коньяку этого своего ломанул!» – шевельнулось в кучерской душе на хозяйскую просьбу, а мастеровой, в свою очередь, не поднимая головы с холодного снега, забормотал:

– Не сс-сыр-ро! Не сыр-ро, раз-з...

– А, ты ругаться стал? – крикнул офицер. – Эй!



Сцена в ночлежном доме. Гравюра О. Мая по рисунку Г. Бролинга из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России

Необыкновенно скоро прибежал на этот зов пьяный, по случаю праздника, будочник и, сладко улыбаясь, спрашивал у офицера:

– Бить прикажете, ваше б – дие, али прямо в кутузку?

– Ваше в– дие! – Завопил, оглядываясь, мастеровой, – не погубите! Тридцать человек детей, семеро мастеровых содержу. Без меня все погибнуть должно.

– Х-ха-а, х-ха-а! – как за барыней в шапке, снова зазвенело ребячье грохотанье и над этим пассажем. – Что, небось узнал, какая она такая, Кузькина мать-то? – хохотали молодцы над проснувшимся, при виде густого офицерского султана, пьяньюгой. – Вы бы его, ваше б – дие, в морду...

– А не будет ли от вашего б-дия на чаек чего-нибудь нашей артели? Потому, ей-богу, напрасно вы над ним смиловались: груб-с очень!.. – докладывала барину некоторая удалая

голова, отделившаяся от кружка.

– Ска-а-тина! – прошептал офицер, бросая, как кость собаке, рублевую ассигнацию удалой голове. – Поговори со мной...

Вслед затем он бросился в сани и сердито закричал своему великолепному Петру:

– Пшо-о-л, ска-а-а-тина!

Рысаки рванулись, и взвившаяся из-под их копыт снежная пыль помешала барину разглядеть и разузнать, как по улице и над его гневом, и над его милостью за один раз загромыхало новое, праздничное:

– Х-ха-а, х-хх-а! Побежим, ребята, теперича пиво жрать...

Кипит улица, гогочет, смеется и плачет. Вместе с ней гогочет, смеется и плачет и Кузьма Сладкий. Окончательно сшибенный с ног бесчисленным множеством шкаликов и косушек, он повалился теперь в уголок огородного забора и будки, задрал ноги кверху и орет без слов:

– Нну-у, н-ну! Кто смел, наизжай...

Будочники собрались около него и со смехом спрашивают:

– Што, Кузя, раздрешил?

– Раздрешил! – отвечает Кузя. – Бери в фартал! Ничего не боюсь.

– Да н-ну тебя к идолам и с фарталом-то! – досадуют будочники. – Хошь бы за полштофом послал: для ради праздника, а то – фартал!.. Не свои рази?..

– За полштофом? Нич-чего! Это м-можно!.. Сыми халат и валяй... Я тебя люблю, – ты мой фартальный...

А тут, по улице, совершалось как бы некое вавилонское пленение: шли гурьбами какие-то народы, в чуйках, со свирепыми, красными лицами, шли и кричали во все горло: ехали эти же самые лица на извозчиках по пятку в каждых санях, тихим, манерным шагом, и тоже кричали. Были в руках как у пешеходов, так и у ездоков бабы в красных сарафанах, пьяные и орущие, и гармонии в золотых бумажках, тоже пьяные и орущие...

– Фу, ты, Боже! – восклицал один будочник, потчужа стаканчиком лежащего Кузьму. – Откуда только такие силы берутся? Половодье словно... Кушай, Кузьма Иваныч!

Выкушивал Кузьма Иваныч, а девственная улица хмурилась все пуще и пуще, грознее и

грознее разворачивались ее праздничные картины.

Целое море голов бурлило около пойманного вора. Разное носильное отрепье висело у вора на левой руке, а правую, со сжатым кулаком, он держал выше своей седой, не покрытой головы, которая, в свою очередь, возвышалась над головами всей толпы.

Вор одет в старый, истерзанный и коротенький полушубок. Седые, кольцоватые усы грозно висели по челюстям; его смуглые, впалые щеки злобно вздрагивали по временам. Очевидно привыкшие к стрижке волосы встали дыбом, и таким образом этот человек весьма явственно изображал собой самого лютого бессрочного ундера.

– Бей, бей! – вопило сумасшедшим манером пятьсот голосов.

– Тр-ронь! – тихо, но мрачно отзывался вор, и при этих словах на лице его нельзя было увидеть ни малейшего движения. Он был лют и серьезен, как, может быть, он был лют и серьезен, когда пускал в славных битвах батальный огонь на угорелую вражью кавалерию...

– Да ведь ты же украл? – раздаются несметные голоса. – Ты же ведь у ей, у модистки-то эфтой, из сундука сдул?

– Н-ну? – спрашивал старый усач.

– Да что там: н-ну? Б-бей!

– Тр-ронь!..

Сзади стоявший молодец из овощной лавки хватил в это время солдата кулаком в спину и, проговоривши: «Ну, вот и ударил, – что со мной сделаешь?» – снова пугливо скрылся в живую горластую стену.

– Кто вдарил? – как зверь, вскрикнул солдат, одним махом обрушиваясь на всю толпу. – У-у-бью! Сказывай!

– Это вот он, дяденька, вас.

– Он-н? Подь-ка, подди-и-ка ты суды, чертов сын!..

Парнишка завизжал, как собака, когда солдат стал его бить своими длинными руками. Потом поглядел на него вор, бросил и сказал:

– Да ну тебя к черту, молокосос!

И опять посыпались из толпы вопросы:

– Дерется еще, словно правый! Ведь ты украл?

– Да ты ведь поймал, дьявол! – треснув-

шим, но еще могшим командовать в громе битвы басом вскрикивал солдат. – Поймал ведь, черт! – отчаянно наступал он на отливающее от него море. – Так отбери от меня, или к начальству веди. А сам ты надо мной издеваться не смей... А то, сейчас умереть, убью.

– Да ведь ты украл?

– Да не украл, дьяволы! А так взял: шел – и взял.

При этом старик, как бы с намерением заткнуть все эти широкие пасти, бросил в кучку краденые отрепья и пошел выше леса стоячего, ниже облака ходячего.



Обитатели Хитровка. Фотография начала XX в. Частный архив

– Ого-го-го! – раздалось за ним уличное грохотанье.

– Я таких солдатов люблю... – бурлил совсем пьяный Кузьма. – Вот теперь я хозяин. Ну, разбогатею, купцом буду. Сейчас я тогда такого старичка к себе на житье возьму. «Будь, мол, ты, скажу ему, у меня заместо отца, старичок». Ах, нетт-у меня отца! – плакался Кузьма. – Сроду я тятеньки своего не видал...

– Ну, будет, Кузя, не плачь. Христос с им, с родителем-то! – утешал Кузьму один из угостившихся на его счет будочников. – Посылай лучше, ежели деньги есть. Говорил это будочник и тоже слезился.

Между тем толпа, отвалившаяся от вора, накатила теперь на Кузьму.

– Да што же, дру-уг! – отзывался Кузьма, – иде же я денег возьму, ты спрости? Я вот хозяин, у меня, может, артели одной человек сто, а денег все нет, пытаму времена ноне – ах-х, какие времена!..

И Кузьма заплакал, да и будочник тоже сквозь слезы заговорил:

– Не ври, дьявол! Какой ты хозяин?.. Сейчас я тебя бить примусь, потому не люблю, когда брешут.

– Он ныне, черт, сон видел, ребята! – бубнила толпа. – Бредит теперича.

– Хвати его в морду-то: може встанет.

– Сказывал в кабаке: куры ему счастье на-пророчили.

– А кур видеть во сне, братцы мои, это бес-пременно к куреву какому-нибудь. Бунт, али бо изобьет кто кого... Чья, значит, сила возь-мет. Бида как после таких снов раздираются – в кровь и часто даже до полусмерти!

– По будням ежели, так это так, точно де-рутся, а в праздники – ничего, завсегда, почи-тай, сбываются.

– До обеда сбываются, голова! После празд-ничных обедов – не верь.

– Так, значит, его брать надо, – к вечерням скоро заблаговестят, а не токмо обед... Где ж теперь сбыться?..

– Тащи его, милый служивый! Забирай в контору, а то, пожалуй, околет тут, – реко-

мендовала толпа беседовавшему с Кузьмой будочнику.

– Кузя, а Кузя! Проснись, золотой! – упрашивал будочник. – Проснись – и посылай, а то сейчас поташшу...

Но не просыпался Кузя, а только, болтая ногами, кричал совсем в зверином образе:

– Я рр-рази не хозяин? Разувай меня, клади на кровать, а то всех изобью...

Тогда потащили Кузьму в квартал; а один из его приятелей, живших с ним вместе, толковал провожавшей шествие толпе:

– Тоже и я однажды сон видел (пьяный лег и богу, следственно, за спанье не молился). Стоит быдто лес, дремучий такой, высокий, а черт меня по самым верхушкам того леса дремучего под руку водит и смеется, смеется и говорит:

– Ты, говорит, русской?

– Русской! – я ему говорю.

– Ну, так, – говорит, – ты над тем лесом всю власть возьмешь, апосля только... Ты, – говорит, – ему теперича полный хозяин, – руби его!..

– Я стал рубить быдто тот лес и проснулся,

проснулся и вижу диво: сажу в фартале. Говорят, за буйство взяты...

– Ах, батюшки! – сокрушенно вскрикнула вдруг какая-то бабенка, которая вместе с другими провожала Кузьму на успокоение в сибирке. – Ах-х, батюшки! Видно, мы только хозяевами-то и бываем, что праздничными снами.

– Известно, что по таким временам только! – ответил бабенке кто-то корявый и пьяный, игриво хватая ее за платье на груди. – Праздничный сон, сама знаешь, до обеда только, а после обеда опять уж за работу нашему брату надо садиться...

Верное средство от разорения (посвящается А. К. С-ву)

I

Дело это началось одним осенним утром, пасмурным таким утром, печальным, с проливными потоками дождя, непрерывно лившимися со свинцового неба, с крикливым ветром, буйно разбивавшим городские фонари и срывавшим раззолоченные столичные вывески. Сизые, волнующиеся туманы со всех сторон обложили Москву и самым зорким глазам не давали рассмотреть ее, так сказать, всероссийских, неописанных див.

И вот таким-то утром, положившим печать какой-то угрюмой мертвенности на столичные улицы, под непрерывное и могуче-басистое гудение *сорока сороков*{286}, которому, как бы в концерте, отрывисто вторили крепостные пушки, стрелявшие *по орудиям*, на Кремлевскую площадь изо всех соборов и приходских церквей собирались громко пев-

шие церковные клиры для того, чтобы, по окончании кремлевской службы, тронуться одним всеобщим крестным ходом вокруг всей Москвы.

Море разнообразных голов, то благоговейно молящихся, то до испуга любопытствующих, разлилось по площади. Неразборчивый, но в высокой степени мощный гул этого моря, смешиваясь с громом выстрелов и звоном колоколов, одной согласной речью говорил всякой душе о чем-то до того сильном и важном, что неминуемо обдавало эту душу невольным, все существо человека проникавшим, ужасом.

Последняя нота молебного гимна глухо и печально погасла наконец в сыром, как бы вровень с краями наполненном чем-то, воздухе и, словно по сигналу, народное море дружно, за один раз, колыхнулось в эту секунду – и крестный ход поплыл...

Сначала шли старинные, жестяные фонари, сквозь узорчатые прорези которых слабо виднелись тонкие, желтенькие, огонечки, беспомощно дрожавшие и слезливо помаргивавшие от сильного ветра, который неистово

дул прямо в лицо крестному ходу, как бы намереваясь побороться и даже победить эту непобедимую, важно и торжественно двигавшуюся, силу. Несли эти фонари, утвержденные на высоких зеленых шестах, какие-то необыкновенно серьезные лица, которые, очевидно, вполне сознавали всю важность своих передовых постов. Не сморгнув, встречали они бойкие порывы налетавшего на них ветра и лишь изредка повелительными басками покрикивали сопровождавшим шествие жандармам и макаркам (так в Москве называют будочников) взять кого-нибудь, кто забегал вперед с той целью, чтобы прямо в лица поклониться святым полкам небесного воинства, которые были изображены на хоругвях, шествовавших за фонарями.

Как птицы, реяли в воздухе шелковые холсты хоругвей, сверкая золотом, которым написаны были венцы и сияния, окружавшие лики. Кротко смотрели эти лики, так много страдавшие и молившиеся, на осеняемую ими толпу, – шли, ничуть не возмущаясь буйством ветра, обсыпавшего их целыми реками дождевых капель, как в многотрудной жизни

своей хаживали они, ничем не возмущаясь и ни от чего не останавливаясь, на борьбу с людской неправдой. За хоругвями двигался весь залитый в толстую, расцветченную драгоценными камнями парчу, важный, как сборище царей, хор священников с крестами и благовонно дымящимися кадилами.



Лубянская площадь. Открытка начала XX в. Частная коллекция

Словно труба апокалипсического ангела, имеющая некогда возвестить всему миру про Страшный суд Божий, гремел из среды этого хора один голос, протяжно певший:

– Миром Господу помолимся!

И, послушное этим словам, ниц падало все это необозримое мирское море, переливчатыми и таинственно шумевшими волнами катившееся по следам хора и согласно, одной, невыразимо-глубоко вздыхавшей, грудью стояло:

– Господи помилуй! Господи помилуй!

И было о чем молиться миром, и было же тут, над чем можно было застонать и разорваться от тоски этому миру, потому что светлое небо все застлали туманы. Буйный ветер, валяя с ног целые кучи народа, не в силах был, однако же, разогнать этих туманов, а дождь так и щелкал по усердно молившимся лицам, так и щелкал, так и щелкал...

Накануне описанного происшествия случилось в Москве, как и везде может случиться, другое происшествие, а именно вот какое: у ворот одного замоскворецкого купеческого дома, с великолепным подъездом на дворе, с зеркальными окнами, с дремучим садом, деревья которого, обитые осенними дождями, с угрюмым безучастием смотрели с раскрашенного дощатого забора на тихую и пустую улицу, сидел молодой, бравый подкучер, в ситцевой краснолапистой рубахе, в кафтане, не по погоде, игриво и храбро накинутом на широкие плечи, в поярковой шляпе, с сурьезом надвинутой на лоб, и пел томным дискантом под тягучие звуки новой целковинной гармоники:

*Еж-ж-жель ты, моя мил-л-лая,
Эф-ф-той ночью не придешь...*

затем, вдруг переходя в басовую, пугающую ноту, он ужасающим манером мычал вместе с басами гармоники.

Я ффа-тиши тебя ллас-каю,

и потом еще более томным дискантом доканчивал:

Без тибя как раз помр-р-решь...

Так молодой паренек забавлялся очень долго, и очевидно было, что эта забава была не столько забавой, сколько поэтическим упражнением в составлении *нового стишка*, на какое дело, как известно, такие мастера все вообще московские хозяйские молодцы.

– Ничего, очень складно выходит. Как есть, как в песеннике, – похваливал поэт свою доморощенную поэму. – Поглядим, что дальше выдет... Посмотрим, как оно под конец пойдет.

Но не увидел паренек, как *оно под конец пойдет*, потому что, при последних словах его, встряхивая нечесанными, но густыми и необыкновенно черными космами, и сияя помосковски свежим и здоровым лицом, с парадного крыльца сбежала горничная. Быстро забегала она по широкому двору и звонко-лосно закричала:

– Митрей, Митрей! Где ты, черт, прохлаждаешься? Хозяин зовет.

– Хошь бы минутку спокою! Как дьяволы с крючьями пристають! – прошептал Митрей, поднимаясь, однако же, с приворотной лавки. – Ну, что ты орешь? Что тебе? – азартно спрашивал он перебившую его фантазии горничную.

– Достанется тебе, дьявол! *Сам* услышал, как ты тут песни орешь и на гармонии этой играешь. Говорит мне: «Ступай ты, говорит, рабыня, разыщи его и сейчас ко мне на хозяйские очи представь».

– Коего я там лешего буду делать? – озлобленно спрашивал Дмитрий. – Рази я его пьяных белым, ты думаешь, сроду не видывал, што ли?

– Не знаю, не знаю, милый, только бога для иди, потому ежели не пойдешь, сейчас мне расчет. «Так-то ты, скажет, рабыня, волю мою творишь?» Я уж с ним и говорить-то по-нашему, по-простецкому, разучилась.

– Ну, гляди, девка! – решился, наконец, Дмитрий. – Я вот по тебе все сполняю, мотри же и ты, в случае чего, ежели когда, охоте моей не перечь... Ах ты, чертова жисть, сичас умереть! Право, чертова жисть! – и парень

шел вслед за горничной, отчаянно поматывая
намащенной свечным салом головой и тяж-
ко вздыхая.



Молочница. Рисунок из журнала «Всемир-
ная иллюстрация». 1870 г. Государственная
публичная историческая библиотека России

Пришли. Стал подкучер на хозяйские очи,
сердито понутивши в пол свои собственные

молодецкие глаза; горничная пугливо притаилась за его широкими плечами, а сам хозяин на диване на мягком валялся. Пред ним, как быть должно, на маленьком, с кривыми точеными ножками, столике стоял графин водки, грибочки, ветчинка, капуста и проч.

– Митрей! – взговорил хозяин с горьким плачем. – В доме моем уныние и печаль, а ты песни играешь, на гармонии зудишь. Што же это будет такое?

При этом купец отчаянно всплеснул руками и, обратясь к горевшим золотыми ризами иконам, снова повторил вопрос:

– Што же это будет такое? Нигде я к Богу моему, в моих сокрушениях великих, воззвать и восскорбеть не могу!..

Застонал хозяин после таких слов своих и уткнулся сокрушенной, по его словам, головой в кожаные подушки дивана. Рабы молчаливо смотрели, что будет дальше.

«Какую такую камедь разыграет, – посмотрим», – думал Дмитрий, поглядывая на хозяина исподлобья.

«Антиречно знать, какую он штуку еще отмочить ухитрится?» – раздумывала в свою

очередь горничная.

Долго длилось молчание. По временам только нарушали его хозяйские тяжелые вздохи да всхлипывания.

– Боже! – сокрушался купец. – Ах, тяжело! Ах, горька моя чаша! Оч-чень, оч-чень даже довольно у меня тяготы на душе!

«А шут те велит все эту одну очищенную {287} жрать? Пил бы шинпанское, али бы какое другое вино», – безжалостно отнеслась Дмитриева бессловная душа к тяжелой купеческой чаше.

– Раба! – словно бы вдруг проснувшись, приказывал хозяин горничной. – Поди, позови супругу. Ох-х! горька моя чаша, потому много ты мне талантов дал, многой властью меня над многими меньшими братьями, аки бы иссопом и елеем умастил и украсил. Учить мне надо ту меньшую братью, покоить, да не буду ввер-р-жен. О, Боже! – отведи от меня ч-ч-а-ш...

И в то время, как купец дрожащей рукой старался налить рюмку, в кабинет его, послушная на зов своей главы, вошла супруга.

– Будет, будет тебе, Абрам Сидорович! –

упрашивала она его. – Успокоился бы, право!

– Па-аг-губа моя! – всплакался в это время хозяин пуще прежнего и принялся жену по щекам бить, – за житницей ты не назришь, рабам моим управы ты никакой не даешь... Вон отсюда пошла, дабы злоба моя на тебя, шельма ты эдакая, не возгремела в доме моем и тишины его праведной не смутила бы. О, ч-ч-а-а-ша!..

Едва-едва успевши выслушать столь душе-полезное поучение, супруга стремглав выка-тилась из кабинета, а супруг, продолжая свою роль исправителя домашних нравов, с новым притоком слез и воздыханий обратился к проштрафившемуся парню. – Н-ну, Митрей! Младость только твою и сокрушение родителей твоих убогих и престарелых в расчет принимаю и за грех твой из храмины моей честной тебя не гоню. Обратись и покайся! Каким ни на есть раскаянием изгони из себя беса козлогласования, пьянства и все как следует... Нынешним днем отселева до Чистых прудов приказываю тебе, труда для ради, али бы бдения, понимаешь? – тридцать концов сделать. Пеш и сокрушон отыди в путь свой, ду-

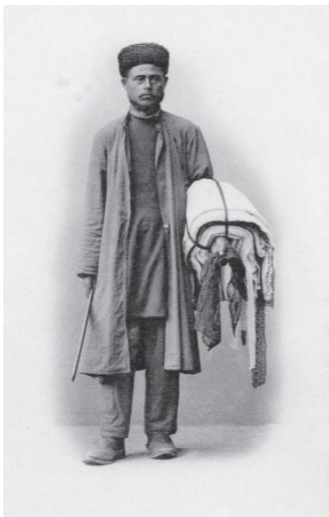
шой умились, а гармонию сожги. А пуще всего, не сквернословь, потому уста... самое главное! Слышишь?..

– Слушаю-с, – басом отвечал Дмитрий, проворно повертываясь к двери, но не поднимая, однако же, кверху своей озлобленной головы.

– Стой, погоди! Не все сказал, – воротил его хозяин. – Кайся как можно искреннее, – умиление, пос-с-ст... первое дело! По дороге зайди к Марье Петровне, к Онисиму Лукичу, к Степану Петровичу. Скажи им, Митрей, от меня (ведь ты видел слезы мои, Митрей, а?), – скажи же: хозяин, мол, оч-чень в расстройке, – мысли его, как осенние бури, мятутся, – слезами он, аки бы росой утренней, умывается. Приказал, мол, он звать вас к себе на дружний совет, на душевные слезы. А после к бабушке зайди и учтиво ему доложи: молебен у нашего хозяина ноне с водосвятием... всем чтобы клиром... в лучших ризах. Одно слово, чтобы велелепие и святыня вполне... Хозяин, мол, сказывал, что великому-де молитвенному бдению у нас быть, потому несчастье... Так и скажи, только учтивее докладывай, потому они наши наставники, пастыри. Слышь, Мит-

рей? Они о душах наших сокрушаются. Так ты того, гляди, не лицемерь... Узнаю что, избави боже, дух вон вышибу!.. Пош-шол!..

– Што, Митрей, што? Пошто призывал? – спрашивали взхват подкучера чада и домо-чадцы, окруживши его любопытной стаей.



Продавец шалей и платков. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– А ничего, – ответил Дмитрий. – Известно, что у него ни черта не поймешь. Говорит: кайся! Да вы спросите у него: кто его, старого лешего, к французинке возит?.. А то кайся! Было бы в чем.

– Б-будет тебе, Митрей! – пугливо зажужжала на подкучера домашняя челядь. – Услышит, так еще пуще он тебя проберет. В часть, пожалуй, прикажет...

– Пог-г-глижу!.. – побахвалился парень и пошел, медленно передвигаясь с ноги на ногу, бурча себе под нос какие-то сердитые слова, а гармоника между тем не брала во внимание хозяйского горя и, разрезывая своим визгом дюжий гул осенней непогоды, продолжала тосковать о том, что

*Еж-ж-жель ты, моя мил-ла-лая,
Еф-ф-фтой ноч-ч-чью не придешь,
Я ф-фа тиши тибя л-ласкаю,
Виз тебя как р-раз пом-м-мрешь...*

III

Все ближние, други и искренние Абрама Сидоровича Переметчикова, московского первой гильдии купца и потомственного почетного гражданина, созванные к нему на молебствие и дружный совет подкучером Дмитрием, зная нрав своего благоприятеля, сейчас же, как только их пролетки останавливались пред зеркальным подъездом, принимали на свои лица выражение великого сокрушения и даже как бы какого убожества, и тихо принимались шагать по широкой парадной лестнице, устланной мягким ковром и убранной роскошными цветами. Шли они, вздыхая и благоговейно крестясь, а с ними вместе поднимались в хозяйскую резиденцию, в беса изогнутые и в пух и прах разлакированные лестничные перила. С игривостью, совершенно презирающей хозяйское сокрушение, вели они благочестивого посетителя к широким площадкам с мраморными статуями, со светлыми зеркалами, весело отражавшими в себе изящную красоту этих статуй. Широкий барин, у которого Переметчиков некогда благо-

приобрел этот дом, щедрой рукой пустил по лестничным стенам мифологические медалионы с различными веселейшими пейзажиками, от которых с ненавистью отплевывались постные купецкие лица, – клали на себя широкие крестные знамена и тихо шептали:

– Боже! изжени ты лукавство это женское, препаскудное! И што только такое этот Абрам Сидоров делает? В чью это он голову бьет, мерзости такие в своем честном доме оставляючи? Сейчас бы это, ежели на мои руки, все бы я это писание прочь. Позвал бы красильщика и сказал: жарь, мол, парень! Действуй, мол, помелом-то!..

Но, поднявши кверху прекрасные руки, строго смотрели на проходящего осла античные лица каменных женщин, – с медальонов въявь и вслух хохотали над ним веселые, танцующие группы древних лесных и полевых богов, хохотали и прыгали, – прыгали и, вздымая над увенчанными главами руки свои в красивые дуги, звонко кричали:

– Куда ты? куда ты, болван? Куда, сивая борода, по парадному прешь? Здесь жил le comte de Petrovo-Koudrjashevsky. Вышлет он

на тебя сейчас своих ливрейных, – выпорят они тебя на конюшне, а мы им поможем. Мы такие сцены в старину любливали...

Хохот и пляска! Неблагопристойность и нагота самая что ни на есть смердящие!

– О, черт бы вас побрал! – шепчет Лука Петрович и, совершенно уверенный, что вольные руки le comte de Petrovo-Koudrjashevsky неразгибисто сложены теперь на ретивой груди, что непробудно спят под седыми, мохнатыми бровями палящие графские очи, – продолжает переть к благоприятелю по парадной и шептать:

– Все это, ешшо скажу, сичас умереть на сем месте, я с одного бы маху похерил{288}. Вишь, вишь: бес какой-то картинку какую подлющую намалевал: в трубы трубят, в бубны трепеш-шут, опять же винище это из эких ли здоровенных стаканов жрут!.. Тьфу!.. А бабы? Эки бабы были подлые в старину – а? Эки бабы! Срамниц таких по нашим местам теперича ни за што не найдешь...

Но, что игривая медяница{289} блестит своей серебристой кожей, пробираясь под палящими солнечными лучами в густой зеле-

ной траве, – игриво и даже как бы обидно насмешливо сверкает вверх изящная графская лестница. Не отставая от нее ни в беге, ни в насмешках, спешат с ней вместе и фарфоровые цветные банки, и скачущие в медальонах группы. А дальше: по следам молнийного блеска извилистых, лакированных перил с торжественной задумчивостью входили статуи. При всем старании, они весьма плохо скрывали свои умные, почти живые улыбки, которые время от времени летали по их каменным устам, когда смрадная пасть Луки Петрова, лаявшая на вечную красоту, разносила хулящий шепот по ярко освещенным сеньям, – улыбались они, говорю, и шли с уверенностью почетных гостей, и когда вокруг них вертелись, смеялись и веселились над вонючим лисьим тулупом купца цветы, боги и освещавшие их огни, – они старались сдерживать общий смех и шептали:

– Да тише вы, тише, пожалуйста!

Обращались тогда малолетние цветочные головки к своим менторам и, сморщившись точно таким же образом, как дитя, когда негодует на неправду злых взрослых, вскрикива-

ли:

– Да как он может это говорить? Да и что этот Лука Петров говорит? Говорит: я бы их всех, с одного маху, похерил. И зачем он на сем месте умирать хочет, когда у нас тут беспрестанная жизнь и веселье, говор и смех...

– Да тише! – повторяли статуи. – Он ничего не может сделать, он чучело и теперь, – вы не смотрите, что он живой, – поэтому он ни вас похерить, ни сам умереть на сем месте не может...

А на самой верхней площадке остановился между тем могучий геркулес и, повертывая коренастым дубом, заговорил оттуда статуям:

– Ну что вы говорите: он не может умереть на сем месте? Дуну на него – и кончено! Но я, убивавший гидр и львов, не хочу марать рук об гадину.

– Я – гадина? Я г-ггад-дина р-рази? А ты кто такой? – вдруг раздается по сеням, какой голос даже слышит сильно подвыпивший швейцар из отставных вахмистров, покойно дремлющий внизу.

Пекарня в Москве. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллек-



ция

И молившей толпой окружили героя старинные богини, – упали они пред ним на колени, ярким светом небесных звезд горевшие очи свои одним общим даром все они обратили к нему и замолились со злобным, беспощадным плачем:

– Убей его, убей! Он сказал сейчас: таких срамниц баб, какими мы будто бы были, по ихним местам и не найдешь теперича! Разве мы не знаем, какие бабы-то у них?..

– А бабы у них известно какие... – шепнул из-за куста козлоногий сатир. – Бабы у них

главным образом насчет Суконных бань{290}

...

– К-ка-а-к? Суконных бань? – неистово взревел голос, который слышен был выпившему швейцару. – Ты р-р-ра-ази мою жену в Суконных банях з-за-астал?..

– Застал! – утвердительно ответил сатир, скрываясь в куст, не забывши, однако же, подмигнуть своими косыми глазами и брыкнуть косолапыми ногами.

– Вр-р-решь, под-длец! Я на тебя в часть завтра. Пять золотых и голову сахару Иван Фомичу снесу.

– Ну и неси! – послышалось насмешливое слово из тайной чащи девственного леса Древней Эллады.

– И отнесу! А теперь вот тебе, подлец! Тьфу! Прямо вот в рожу тебе, козел ты эдакой, чер-р-рт, получай...

– Ах, Лука Петрович! Зачем же это вы всегда, как придете к нам, на картинки плюетесь? – сказал Луке Петровичу внезапно соскочивший сверху лакей. – Да еще и пальчиком изволите размазывать. Это нехорошо-с, – хозяин за это взыскивают.

– Молчи, чертов сын! Дома хозяин?

– Дома-с, – пожалуйста-с.

– Сымай шубу, а разговоров со мной не разговаривать. Терпеть не люблю!

– Вот черт-то! – подивился лакей втихомолку, когда Лука Петрович ввалился в залу. – Ведь вот и богатый купец, а не пьяным его ни разу не видал. Приказчик у них живет, седой весь, как леший, а и тот говорит, что как он, после смерти родителя, запил на пятнадцатом году, так ни разу и не проснулся. Вот какой черт-народ по белому свету расхаживает. Даже чудно ей-богу!..

IV

Наконец все, кого ждал Переметчиков, собралось в его великолепном графском доме. Честного народа сошлось много, и беседа, следовательно, завязалась не кое-какая, а все, как говорится, и по Писанию, и из-под политики.

Крестились все сначала страсть как, когда всеобщее бдение шло. Протяжные, умиленные вздохи молившихся время от времени перебивал тихенький шепот про нового дьякона, голос которого, так сказать, передвигал с места на место колонны зала и спугивал засевшую на углах потолка паутину. Тихо спалзывали с верха ее серодымчатые, ленивые волны и, встретивши на дороге здоровое и жаркое людское дыхание, они совсем неподвижно останавливались в воздухе, как бы раздумывая, на чью бы это им лучше голову сесть, чьи волосы, опутанные их досаждающим венцом, с большим негодованием встряхнутся на узком лбу и потом, упавши на широкий нос и толстые губы, заставят эти губы с большим остервенением вскрикнуть:

– О, штоб тебе! Вот искушение, сейчас умереть! Чуть было не ругнулся я.

– Каков голосок? – тихо шептал кто-то за колонной. – Органистый голосок!

– Да-с, ничего! – отвечал другой шепот. – Приобрели украшение. Крестовоздвиженские прихожане к себе уж переманивали, да нет, не пошел. Я, говорит, и здесь взыскан...

– Гм! Это хорошо! Значит, хороший он человек! Без фанаберии, значит, человек. Ну, да будет: не перебивай ты меня разговорами, дай помолиться-то...

Наконец тройное заключительное: Господи помилуй раскатисто заключило службу. Вместе с легкокрылыми ангелами, неизменно присутствующими на молитвах, улетел в небо звонкий дискант, замерли тенора и под конечное гудение грозной октавы, долго еще плававшей по зале вместе с благовонными волнами ладана, суетливо тронулся доселе смиренно стоявший люд, заговорил, зашаркал...

Батюшка, со сверкающим крестом в руках, поздравлял хозяина с благодатью. Хозяин кланялся и на тихую речь батюшки громким и крайне безнадежным голосом кричал:

– Ах, батюшка! Надежда моя одна на всевидящее око и на вас! Иов я в жизни моей, как есть Иов{291}. Превзыдоша главу мою... но я не ропщу, я знаю, я умею, я всегда готов... Живу только молитвой, беседой, добродетелью... О Боже!.. Милости прошу садиться.

В углу хозяйский сын и какой-то седой купец, в длинном сюртуке, в дутых козловых сапогах, оба страшные охотники до церковного пения, дружески разговаривали с регентом, вокруг которого толпились серьезные лица басов, красавцы тенора и хорошенькие альты и дисканты.

– Вот как я вам скажу, господа, – говорил регент. – Ежели вы мне сейчас сторублевую в руки, так наплюйте мне в лицо, ежели я в следующее воскресенье не представлю вам этого Ва-вилу Петрова. Я уже с ним говорил. «Будьте спокойны, говорит, – я, говорит, с моим превеликим удовольствием». Вот! господа, прямо скажу: уж разуважили бы вас тогда, потому баса такого и на заказ не сделаешь. В Туле он однажды Апостола читал: как раз около него предводительская дочь стояла – девица. «Вел, вел я, говорит, все, говорит, ровно веду:

ни вниз, ни вверх, а сам думаю: постой, мол, погляжу я, какая ты на расправу; да как, говорит, польсну с маху, как, этга, гр-р-ромыхну, – барышня моя цоп на пол. Словно бы ее пулей прострелило! Три дня после, сказывают, ллетаргией одержима была! Ей-богу!»

– Три дни! Тсс! – прошептал купец, медленно помахивая седой, подстриженной в скобку, головой.

– Л-ллетаргией! Вон он как ее чесанул! – каким-то всхлипывающим голосом восторгался хозяйский сын, жмуря глаза и потирая руки.

– Где же тут против нас устоять крестовоздвиженским, когда мы эдакое сокровище к себе притянем! – продолжал регент. – Да еще он что говорил: «Я, говорит, г-н регент, когда в Туле был, так хоша у меня и был верха, но не такой, каким, говорит, теперича я снабжден». Ведь он из усманских мещан, так когда это он чувства свои примется выражать – потеха! «Гущины, сказывает, такой не имел, потому пил в те времена самую малость». Ну, и скажу вам, – при этом регент поцеловал кончики своих пальцев, – и приобрел же он в этой

Москве гущину, потому для всякого интересно послушать, как это он, словно буря, голосом своим деревья ломает...

– Это точно, что в действительности не человеческому органу подобен, а как бы дубраве какой дремучей, – подтвердил регентовы слова некто мрачный, чье лицо сплошь все поросло густыми черными волосами.

– Неужто страшнее тебя с виду? – замирая, осведомился хозяйский сын.

– Страшней-с, может, в двадцать пять раз, – самоотверженно ответил некто.

– И неужели, голубчик, – в свою очередь переспросил седой купец, вдохновенно поднимая голову, – и н-неуж-жели, голуб-б-чик, ежели, к примеру, свесть тебя с Вавилой Петровым, для того т. е. чтобы потягаться, – неужели ты ему преферанс отдашь?

– Отдам-с! – лаконически ответил мрачный. – Мне с ним не совладать-с, как по голосу, так и по силе, ни за что не совладать-с. В Шустровом трактире{292} – на Пречистенке, извольте знать-с? – сразились это мы в бильярдной тянуться: схватимся за кий – раз! В двух, а то в трех местах в ту же секунду из-

ломлень давал. Бревешко такое нам гладенькое принесли, потолще вот, пожалуй, моей руки будет, то вытерпело, иначе Вавил меня, как перо, махнул.

– Боже ты мой! – подивился старый купец, а хозяйский сын отнесся к регенту таким образом, по-прежнему замирая и всхлипывая:

– Вы, ради Создателя, не уходите подольше. Как тятенька засядут в горку, сейчас я к ним в кабинет. Только чтобы в надежде было, чтобы непременно Вавила Петров у нас в хору был.

– Будьте благонадежны-с, – заверял регент с большим умилением. – Помня ваши и тятеньки вашего благодеяния, я теперь такие дела для Господней церкви обделываю, такие дела бедовые! Ну, да помолчу до поры до времени, там увидим, па-а-смотрим после.

– Ш-што, што такое? – с усилившимися судорогами пристали к дельцу ретивые души. – Ради бога скажите, что такое еще?

– Вам только одним говорю, так и быть! Смотрите же: никому ни гу-гу! От Сургучова дискантик-то этот, Сашка-то Милушкин, к нам переходит... – Проговоривши эти слова,

регент отставил правую ногу и весело захохотал.

– Ш-што ты? – растягивали купцы, тоже заливаясь самым искренним смехом.

– Ей-богу! От Криволапина обоих альтов скупил, тенора...

– Б-ба-а-тюшки! Святители! Вот шельма-то! Вот он где езуит-то. Ах ты езуит-черт!

– А тут еще тенор из Питера от самого Шереметева подвернулся. Проездом ехал ей-богу! Услыхал я, – сейчас в гостиницу к нему. Выпили; и я его, можно сказать, с одного маху объехал.

– Объехал?



На Сухаревской площади. Фотография начала XX в. Частная коллекция

– Объяехал. Ну, уж зато и стоит же он мне коку с соком. Хочу, господа, вспоможения просить, потому один, пожалуй, не выдержишь, лопнешь. Ей-богу! Сами вы видите, как я хлопочу для вас...

Между тем старшая хозяйская дочь, усевшись на диванчик, к сторонке, чтобы никто не мешал, вела в свою очередь не менее интересный разговор с выслужившимся из бурбонов майором Белокопытовым, которого сам Переметчиков, на своем языке, звал всегда воеводой.

– Майор! – шептала Саша, устремляя на него серьезные, черные глазки. – Вы клянетесь?

– Клянусь, – так же серьезно отвечал майор, брэнча на гитаре:

*Сс-своих с победой пр-роздравляю,
Сс-себя с отор-рванной рукой.*

– Милый мой! – шептала Саша, и тут уж в глазах ее, вместо прежней серьезности, засве-

тился какой-то другой огонь, гораздо лучше осветивший ее красивое, страстное личико.

– Моя богиня! – снежничал майор и, закрывшись гитарой, приложил свои вечно шевелившиеся и потому как бы живые усы к девственной щечке.

Зарделась девушка, как спелая вишня, после этого прикосновения, – заалела она от него, как молодая березка в жаркий летний полдень. Смотрела тогда стыдливая купеческая дочь во все свои широкие глаза на шумную залу, стараясь показать шумной зале, что ничего особенного с ней, с красной девицей, в эту секунду не было и ничего не видела; пристально вслушивалась она чутким девичьим ухом, не говорят ли чего про нее в той зале – и ничего не слышала... Сладкий угар какой-то в голове у нее волновался, а сердце так-то билось, так-то ли билось сильно!..

А младшая сестра, давно ревниво следившая за счастливой, гневно прошла в это время мимо нее и, сердито шумя дорогим шелковым платьем, шепнула:

– А? Ты у меня и этого отнимаешь? Ведь он в меня сначала влюбился... Вот ей-богу про

все маменьке расскажу.

– Да, пожалуй, сказывай! – не сестре, а скорее самой себе ответила девушка, потому что жаркий язык ее не мог тогда говорить других речей, кроме как: милый мой! Счастье мое! Возьми ты поскорее красу мою девичью! Ведь вянет она здесь, ведь она здесь понапрасну, словно цвет в глухой степи, сохнет...

Но всех рельефнее была группа, сидевшая вместе с хозяином. Жирные выбритые затылки, окладистые бороды, пугающие своей суровой волосатостью, просторные поддевки и новомодные пиджаки – все это в то время, когда втихомолку разыгрывались описанные сейчас сценки заднего плана, – все это, говорю, уже успело разгореться в приятельской беседе, и вследствие этого горланило, как неудержная буря, когда она летит, сломя голову, сама не зная куда, и мнет на дороге все, что ей попадется, не разбирая дурного от хорошего.

– Дом мой стал домом печали и палата моя – палатой скорби... – визгливым тенором вскрикивал сам хозяин, тщедушный, маленький старичишка, с подслепыми глазками, по-

стоянно точившими слезы.

– Будет, будет тебе, Абрам Сидорыч! Перестань: авось бог милостив.

– Афоня! – дружески подзывал к себе один пиджак расфранченного лакея, – поди-ка сюда: видишь ли, милый человек? Хозяин твой в унынии, – пищи, может, лишился; а ты за порядками как смотришь? Что это у вас наставлено все шенпанское да шенпанское? Это, братец, нехорошо. Я вон в Питере был, так там шенпанского этого у купцов и в рот не берут, потому, говорят, ныне про него всякая голь узнала, а подают венгерское. Я у себя уже давно завел такой порядок: как же это ты, братец, не знал до сих пор? Сейчас чтобы было венгерское, а то я хозяина твоего – око-леть на месте! – подлецом изругаю. Ты видишь ведь, он в унынии!

– Возрыкали на меня несчастья, как скимны{293}, но я не ропщу!.. – продолжал хозяин, не слушая приятельских утешений. – Яко главу кедра ливанскаго, сокрушил меня гром гнева Господнего! Д-да!

– Эдакой ведь человек начитанный! – удивлялись приятели. – И откуда он только

такие слова подбирает?..

– Ты Расскажи нам, – упрасивали другие, – как нам тебя понимать?

– Я Расскажу, – в совершенном отчаянии соглашался хозяин, – но вам того не понять, потому кто поймет мои чувства? Но все-таки я вам Расскажу, ибо вы ближние мои, друзи мои... Точ-чно, я давно запил, признаюсь, потому чувствовал, что идет он, приближается, яко тать в ноци! Я иду по стогнам града, я сижу в храмине своей, на колеснице ли еду, а в уши мне все шептания, все шептания: «Я взыщу тебя, друже! я искушу тебя, рабе!» И понимаете ли вы, насчет чего этот шепот был? – Все насчет раззоренья... Во-з-звел я тогда к небу очи мои, простер руки и говорю: даде и отья. Твоя, говорю от твоих! Д-да! Так я и сказал, потому сами вы знаете, как я в горестях моих завсегда шел и по Писанию, и по добродетели...

– Что говорить! – перебило хозяйскую речь нестройное и недружное жужжание гостей. – Слава богу! Не в первый раз хлеб-соль друг у друга едим. – Верны слова ваши! – одобрил хозяин. – Только я все не робел, все молчал. Ду-

маю, что будет дальше. Только, что ни день, то хуже, потому не дает покоя, без отхода шепот этот мне в уши сквозит: «Пришел, говорит, твой час...» Твори, сказал я, волю свою, и заперся в горнице своей и вознедуговал... Пью вот уж, может, недели с три, не слажу никак с сердцем своим, потому слабо сердце-то, боится оно скорбного часа.

– Так! – согласились гости. – Известно, сердце – сосуд... скуделен...

– Теперича сны... Боже! покоя не знаю от них, вот уже который день. Полчища эти с ристанием, на тройках, с колокольцами, с бубенчиками, въедут на двор мой (все ведь это я из окна въявь и вижу; и добро мое на те тройки наваливают и долой свозят. Пляшут, свистят, буйствуют и надо мной со двора гнусно смеются. Все смеется надо мной, весь обоз: и телеги, и лошади, и колокольцы...

– А это, полагать надо, не от статуев ли от этих, что у тебя по лестнице расстановлены? – боязливо и с большим сомнением предположил было кто-то, но это предположение было сразу перебито всем обществом, живо заинтересованным снами Переметчикова.

– Какие тут статуи? – энергично вступился один из председавших. – С тятенькой с нашим точь-в-точь такая же история не однажды случалась, да ведь у нас в доме ни одной их и в помине никогда не бывало.

– Нет-с, это не от статуев! – самоуверенно и громко сказал один седенький, поджарый старичок-чиновник из духовного звания. – Это я доподлинно могу доказать, что не от них! – прибавил он с твердым убеждением знатока, понимающего в самой тонкости всю суть дела, причем, посмеиваясь, плутовато выпятил вперед нижнюю губу и ждал продолжения рассказа, как бы заранее зная, что расскажут ему.

– Ну-с, что же далыне-с? – любопытно настаивал старичок, секретно похихикивая в огромный желтый фуляр{294}.

– Да что же дальше? – спрашивал хозяин, досадуя, что на горе его хихикают. – Рази тебе этого мало? Друг твой в несчастье, глава его аки былие...

– Мы это понимаем-с! А что же далыне-с? – упрямылся старичок и хихикал уже вслух, не закрываясь фуляром.

Дело начинало уже принимать серьезный оборот. Гости ощущали в себе некоторое смущение, потому что справедливо полагали, что если старичок чиновник продолжит еще свои вопросы и смехи, то им придется разнимать здоровую драку; но старичок предупредил сие обстоятельство, как всегда сам он выражался, когда писал купцам различные прошения, справки, явки и т. п.

– Находят и налетают в комнату вашу, – начал старик пророчески, – сонмы чудищ разных, двухголовых, трехголовых и более. Так-с?

– Так! – подтвердил хозяин, удивляясь, почему это и как именно седой чиновник извещился об этом.

Толпа у дешевой столовой. Фотография начала XX в. Частный архив

– И имеют те чудища – иные облик человеческий, а туловища зверины, а иные – туловища зверины, а облик человеческий. Хвостами и копытами снабжены и, прочие на себя несвойственные естества принимая, во ужас человека приводят, отнимают у него рассудок



и память, а также порой ударяя в бубны и другие инструменты, порой же голосами буйствуя, в уши тому человеку некие слова впускают, кои слышны ему, другим же не слышны. Так-с?

– Так! – все больше и больше удивлялся Переметчиков. – Да почему же ты узнал об этом?

Но не ответил старик на этот важный вопрос и продолжал:

– Помавают чудища крыльями и руками, подкидывают очами, языками дразнят, пальцы с железными когтями на носы свои наставляют и, беснуясь и прыгая туда и сюда,

как бы плясавицы или козлы молодые, стонут гласами, трубам воинским подобными: дай, дай! Отдай нам душу свою... Так-с?

И гости, и хозяин – все в один голос пристали к старику, сделавшемуся необыкновенно важным во время своего повествования.

– Как же ты все это отгадал?

– Что же это знаменует такое?

– А ничего не знаменует: это она просит...

– Кто просит? Чего просит?

– А просит, Абрам Сидорыч, твоя собственная душа, чтобы ты ей спокой дал. Вот что! Востосковалась она по добрым делам, – жутко пришлось ей без них.... Тут небось всякий запросит, как *они* тебе гурьбами каждую минуту отъявляться почнут... Так тось!

– Что же мне делать теперь? – вскрикнул сильно перетрусивший Абрам Сидорович.

– Как что делать? – спросил старичок, снова принимаясь улыбаться с видом человека, показавшего еще не все фокусы.

– Да ты, бога ради, не смейся, – молил его Переметчиков. – Скажи поскорее, ежели знаешь.

– Знаю-с и скажу-с... Был тебе шепот, Аб-

рам Сидорыч, что, дескать, я тебя взыщу, рабе! И понял ты этот шепот, что якобы тебе это к раззоренью. Что же ты теперича должен делать?

– Н-ну-с?

– Призри в дому своем брата некоего, странствующа или юродствующа!.. – торжественно договорил старик свой совет. – Не для прибытков твоих, т. е. не для ради какого-либо дела работного, а любви ради дружней. Так-то! Ты богат, – возьми же к себе самого что ни на есть несчастного и спокой его. Завтра же – знаешь небось? – крестный ход будет, дак ведь они туда – люди-то Божьи – со всей Москвы соберутся. Ищи – и обрящещи...

– Друже! – завопил Переметчиков, обнимая седого советника, – ничего для тебя не пожалю теперича. Афоня! шенпанского!..

Расфранченный лакей живо прибежал к хозяину и почтительно доложил ему следующее:

– Сейчас господин Коленкин изволили мне насчет венгерского приказать, потому как, бымши они в Питере, заприметили, что шенпанское из моды вышло...

– Вышло?

– Так точно-с...

– Коленкин! вышло, в Питере из моды шенпанское?

– В рот никто не берет, потому жрет его ныне всякая голь, – отвечал Коленкин.

– О!.. Ну, ин так! Подай венгерского, да прихвати картишки, – мы в трынку для скуки сыграем.

V

То поднимаясь на высокие холмы, то спускаясь с них в широкие и грязные площади, медленно валила за крестным ходом громадная сила народная. Общее дыхание ее, долетавшее, казалось, до далеких небес, обманывало близорукий глаз видимой крепостью груди, из которой вылетало оно, потому что главная нота в этом громовом гуле толпы до смерти сокрушала чуткое ухо своей необыкновенной, медленно и мучительно убивавшей, печалью...

– За-а-ступ-ница усердная! – вскрикивала маленькая, изнуренная бабенка, с желтоватым, сморщенным лицом, выделяясь из тол-

пы на дорогу, по которой длинной цепью тянулись экипажи и парадировали жандармы. Высоко подняла она руку, чтобы перекреститься на высокую хоругвь.

– Эй! Куды под экипажи лезешь? – предостерег ее бравый жандарм, манерно потряхиваясь на лошади и побрякивая, вследствие этого, палашом.

– Ах, милые! Я и не знала... – запугалась бабенка, как бы каменья на опасном месте.

– Па-а-ди! Стар-ронись, баба! Эй, женщина, берегись! – на разные лады выкрикивали бордастые кучера.

– Что же ты? Что же ты расселась-то здесь? Задавят сейчас! – говорил жандарм, командирски помахивая на бабенку своей белой перчаткой.

– Рада бы, рада б я сейчас отсюда, кормилец, да не знаю как. Трясутся у меня поджилки-то, ноги-то у меня не стоят. Испугалась я тебя.

– Ну-ну, бог с тобой! Поднимайся, – я тебя не трону, проходи. Ах, какие эти бабы чудные! – подивился жандарм, догоняя товарища. – Как они нас боятся! Не в пример пуще

пехоты боятся.

– Как же им нас не бояться? – ответил товарищ. – Одно слово: лифантерия! Опять же ты-то возьми в расчет: то человек на коне сидит в тонком платье, при белых перчатках, а то так человек – пешком, в серой шинели. Что ж его бояться-то?

– Верно!

Из узкого бокового переулка выскочил вдруг пожилой мастеровой в синей чуйке, с длинной черной бородой, с унылым лицом, смотревшим как-то вкось. Долго смотрел он на крестный ход, любопытно провожая его мутными глазами, потом вдруг повалился в ноги какой-то старушке, вместе с другими пробиравшейся за процессией, и с обильно полившимися слезами закричал ей:

– Бабушка! прости ты меня, Христа ради! Не взыщи ты с меня, стар человек! Для бога не взыщи! Видишь вон, святые образа идут, священники, бабушка, из всех церквей даже собрались...

– Пусти-ко, пусти-ко ты меня поскорее, мастеровщина! – испуганно отбивалась от него старушка. – Что, я тебя трогаю разве? Вишь,

для праздника начесался!

– Бабушка! я ничего, я ей-богу ничего! – продолжал взывать мастеровой. – Я не начесался, а потому как я имею добрую душу, жалосливую, я и сказал хозяину: «Что это ты, мол, хозяин, в праздник нас работой трудишь? За это тебе на том свете худо придется». Я ему из жалости сказал, а он в морду... За что? Нет, стой! Погодишь немного в морду-то. Ноне за это строго...

С легкими смешками и над приостановленной старухой и над мастеровым провалила толпа дальше, а сам виновник этих смешков тут же уткнулся под забор в мокрую траву и бормотал:

– Я ведь ему из жалости... Я ведь правду сказал, что грех, что праздник, мол. Ан оно по-моему и вышло: со всех церквей собрались, празднество большое, а он работать... Не-е-т! Не очень-то тебя за это жаловать будут...

В то же время в дорогой коляске Переметчикова, следовавшей за ходом, самым сладким образом разговаривая между собой, сидели сам Абрам Сидорович Переметчиков и вче-

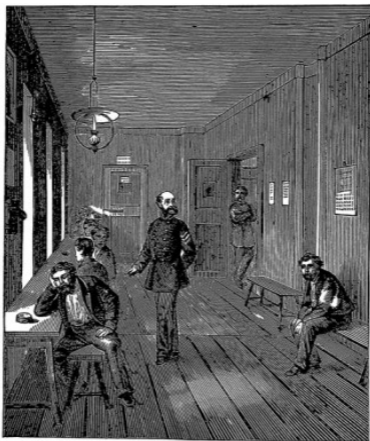
рашний старичок-чиновник.

– Я тебе, Абрам Сидорыч, не все вчерашнего числа рассказал, – поучал старичок, – потому при людях неловко было. Старые люди советуют, чтобы как можно меньше народа знало про такие дела. Посоветовал я тебе взять кого-нибудь на признание, только что же с этого будет? Мало ли благодетелей, какие на признание к себе бедных людей берут? Самое главное в нашем разе, чтобы как-нибудь нам так исхитриться, чтобы никто не приметил и не догадался, как и за каким делом мы того человека брать будем. Попросту сказать ежели, без затей, так – как бы украсть надо. Да! Действительнее так-то. В старину так делывали, потому ведь незаправское воровство, – значит, стыда тут нет никакого. Понял?

– Понял! – утвердительно отвечал Переметчиков.

– Ну, хорошо! Теперь, ежели нам матушка-Царица Небесная в этом деле поможет, умей ты так поступать с несчастным, чтобы беречься тебе от разоренья его счастьем и благочестьем. Тут опять, сказываю я тебе, по старине поступай: как молодцы пойдут в лав-

ку, так чтоб они беспременно с собой убогого человека прихватывали, для того, чтоб он самым первым покупателем был. Примерно сказать, на гривенник ли, или же хотя на семитку, только чтоб убоженькому прежде всех товару какого ни на есть отпустили. Верь ты мне: отбою не будет от покупателей.



Столовая в арестантском доме. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России

– Ах, друг ты мой великий! – восклицал Переметчиков. – Чем я тебе за твои благодеяния отплачу только?

– Благодарность что? Нам не нужно ее, – нам лишь бы хорошему человеку хорошее сделать. Ты вот теперь высматривай получше человека-то.

– Во все глаза смотрю, окромя как пятеро молодцов приказ от меня с самого утра получили, чтобы как только увидят что-нибудь подходящее, сейчас же мне бы докладывали.

– Ну, это чудесно! – похвалил приказный купеческую предусмотрительность, затем он перекрестился и с набожным и вместе с тем решительным вздохом, означающим приступ к самому делу, окончательно отдал это дело во власть Божью, проговоривши: с Богом!..

И было тут много людей, которые бросались в неопытные глаза Абрама Сидоровича своим убожеством, ранами, железными посохами, нечеловеческими криками; но старичок упорно отвертывался от обыденного страдания и, на рекомендацию купца – взглянуть на ползающую по грязи старушку или на пе-

рекошенного параличом и безрукого мужика, сердитым, наставительным тоном говорил:

– Не наша! Не наш!

Порой к коляске подбегали уставшие, запотелые молодцы и впопыхах докладывали:

– Видел я, сударь Абрам Сидорович, сичас парнечка одного, – ах, жалости подобен! Глух и нем от рожденья, язвины этта на ем все тело покрыли, – смотреть страсть! Только, этта, улыбка у него по лицу беспрестанно ходит, и такая-то улыбка райская! Ах ты, Господи, подумаешь, до какой святости человек дойдет!

– Кажи сюда! Приведи его к нам как бы за милостьюней! – командовал приказный.

– Такие ли есть? Не наш и этот! – говорил он, когда молодцы подводили, или даже подносили к коляске какого-нибудь парнечка, глухого и немого от рождения и, кроме того, с язвинами на всем теле.

Со всех, кажется, бесчисленных сел и деревень, как бы на какую выставку, собралось в Москву русское горе и русские лютые болезни. Целые сонмы прихожих баб-богомольщиц, в неописанных рубищах, с неизъясни-

мо-убитыми, как у подстреленного зайца, испуганными лицами, спешили за ходом, втихомолку собирая копеечки и грошики. Бабы московские, нищие по ремеслу с самого малолетства, бойко шныряли в толпе, привычным глазом отыскивая людей, подающих по пятаку и по гривенничку. Как пчелы, в этом нищенском рое визгливо жужжали свои просящие выкрики сборщики «на церковно построенье», позванивая в колокольчики, погромыхивая белыми оловянными кружками, до краев наполненными медными деньгами. Какими-то судорожно-поспешными шагами там и сям мелькали неизвестные люди в особенной, полудуховной одежде, в высоких плисовых, поношенных шапочках, – серьезные какие-то люди, у которых у всех до одного человека были почему-то необыкновенно большие, навывкате, глаза, сердито и быстро обстреливавшие толпу. Расслабленные и убогие всякого рода шли и ползли длинными вереницами; безногих и безруких везли в маленьких тележках; а по углам улиц и переулков, по которым плыло шествие, по двое и по трое стояли еще люди, молчаливые, непо-

движно стоявшие, как говорится, по струнке, с большими усами, с каким-то строгим выражением в глазах. Безмолвно, порой только едва заметно подергивая седыми усами, смотрели они на публику, да и публика тоже не без любопытства смотрела на их деревяшки вместо ног и на рукава, пристегнутые к пуговицам вместо рук.



Ночлежный дом Е. П. Ярошенко на Хитровом рынке. Фотография начала XX в. Частная коллекция

– Где ты, братец, лишился ноги? – спрашивает какой-то чиновник в скомканной и облезлой шляпе.

– В 48-м году, сударь, ходили когда... – начал было говорить человек тихим басом.

– А-а! – восклицает удовлетворенный чиновник и, не дослушав, убегает. Усы на секунду пошевелились было, как бы недовольные чем – и только! По-прежнему осталась безмолвной и бесстрастной позитурой, в которой всегда подобает стоять храброму и неторопливому солдату...

Мимо всего этого равнодушно проехали наши искатели. Старичок продолжал налаживать на эти, так долго не забываемые, лица свои немилосердные резолюции: не наш! не наш! Наконец к коляске подбежал главный приказчик Переметчикова, из всех сил старавшийся угодить хозяину.

– Ну, что? Нашли?

– Нашел, судырь! – сияя радостью, вскрикнул приказчик. – Уж истинно, что благодать. Рта нет...

– Как нет? – вмешался удивленный чиновник. – Неужто совсем нет?

– Так только, судырь, одно званье что рот... Вот увидите сами.

– Веди скорее, да не болтай там! – посовето-

вал опытный старик и затем, обратившись к кучеру, дал ему такого рода нотацию:

– Слышишь, Лука? Как только я скажу тебе: трогай, – валяй во все лопатки. Дело не шуточное. Держись крепче, Абрам Сидорыч! Господи благослови! – сотворил наставник окончательную молитву, и в это время не только кучер или седоки, а, кажется, самые купеческие лошади затаили дыхание.

Под конвоем переметчиковских молодцов медленно подвигались к нашим друзьям две, очевидно деревенские бабы, но в той нелепой, против воли заставляющей всякого показываться со смеху, городской одежде, в которую мужики, а пуще бабы с претензиями походить на господ, облакаются тогда, когда им удастся зашибить где-нибудь лишнюю копейку. На их головах были полинялые ситцевые платки, на плечах, как говорят, *пальты*, брошенные средней руки горничными или модистками, не получающими содержания от *придмета*, на глазах слезы, на лицах благоговейное умиление. Они, парадно подхвативши под руки, вели что-то такое, чему, при первом взгляде, нельзя было дать решительно ника-

кого названия. До такой степени не походило на человека существо, имевшее своим счастьем спасти богатейшего московского купца от чудищ, которые так долго нашептывали ему страшную песню про разорение.



Старая карета на московской улице. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К^о». Частная коллекция

Рта у приведенного существа действительно, как объявил главный приказчик, не оказалось, а было вместо него какое-то небольшое красноватое отверстие, освещенное постоянным светом мертвой, безвыразительной улыбки. С головы на плечи и на спину, вместо

волос, спускался какой-то скучившийся, отвратительный войлок сизого цвета. Красное, все в швах и и шрамах, лицо его было исковеркано и изорвано, словно в борьбе не то чтобы с заклятым врагом, а с диким зверем. Ноги, едва сдерживая тощее туловище, тряслись ежесекундно, а при ходьбе так странно хромали, что издали можно было подумать, что идет кто-то до того несчастливый, который на каждом шагу попадает в глубокие, скрытные ямы, проворно вылезает из них и снова падает.

– Вот, судырь, извольте взглянуть! – самодовольно рекомендовал приказчик Переметчикову свою находку.

– Батюшки! Гос-спо-ода, бояре честные! сотворите свою святую милостыню убогому сиротинке... – запели вожачихи протяжными и плаксивыми голосами.

– Поистине такого страдальца найти нигде невозможно, – продолжал приказчик. – Зато, сказывают, и взыскан же он... Однажды, вот они говорят, воспророчествовал даже...

– Хо, ххо, ххо-о! – Не то засмеялся, не то заплакал несчастный, причем его всегдашняя

улыбка не слетела с его ничуть не изменившегося лица. – Ххо, хо, ххо! – продолжал он, протягивая обе руки к купцу и его приятелю.

– Вот от него только и слов слышим! – сокрушенно доложили вожачихи.

– Ничего больше не говорит? – в какой-то тихой задумчивости полюбопытствовал Переметчиков.

– Ни словечушка.

Старичок-приказный выразительно моргнул в это время молодцам, те схватили юродивого под руки и мигом посадили в коляску.

– Пошел! – закричал воротила всему делу, и Лука резко щелкнул вожжами по спинам породистых рысаков.

– Держи, держи! – раздались за коляской крики баб, потерявших вместе со своим питомцем все возможности одеваться в *пальты* и ходить в кабак, когда вздумается.

– Держи, держи! – заревела толпа, бросаясь куда-то с обольстительными надеждами поймать жулика и исколотить его до полусмерти.

– Ах, дьяволы! Ах, черти! – орали бабенки. – Эти купцы-черти всегда так-то для счастья у нас блаженных воруют. Чем только

мы, горемычные, кормиться будем теперича? Ах, идолы толстомясые! Еще ль мало у них деньжищев эфтих идольских!..

– Слава тебе, Господи, слава тебе! – согласно взывали, под грохот экипажа, Переметчиков и старый приказный, а убогий смотрел на них своим мертвым, освещенным безумием лицом и кричал:

– Хо, ххо, ххо-о!

VI

Стал наш Абрам Сидорович после описанного случая жить, поживать, да, как в сказке рассказывается, добра наживать.

Покупатели толпой наваливались на его лавки: шла в них неутомонная, беспрестанная толкотня и, пожалуй, даже такая толкотня, за которой, по пословице, не угоняешься. Самому паскудному парнишке ничего не стоило выхватить из лавочных касс зеленую бумагу и, сообразуясь с темпераментом, или спрятать зашибенную копеечку про черный день, или задать ею тону в горячем трактире.

Чудищ, некогда пугавших Переметчикова, как не бывало. Стал купец еще более блажен

и благословен, чем был прежде; рассказы благоприятелям про святость, которую он, по словам его, хранил в палатах дома своего, сделались и шумнее и, так сказать, воззвательнее...

– Воистинну, – покрикивал он уже не в безобразном запое, а так только, пьяненький малость, – воистинну, объял меня свет и увидели очи мои согрешенья мои... О Б-б-о-о-же! Ребята! приведите Гаврилу.

И ребята приводили Гаврилу, и Таврило, поскокивая по гладкому паркету залы, как по глубоким ямам, разбивал эту мрачную тишину, воцарявшуюся всегда при его появлении, своим обыкновенным криком:

– Хо, ххо, ххо!

Находились любители и знатоки, умевшие понимать Гаврилины речи и подслушивать в них самое малейшее уклонение от всегдашних возгласов. И одним утром истолковывали эти любители и знатоки Гаврилино: хо, ххо, – так, что это значило: хорошо, хозяин, хорошо; а другим утром в этих же самых изречениях они подмечали, что юродивый говорит: худо, хозяин, ох, худо! И береглись тогда все в доме,

начиная с хозяина и кончая лихим подкучером, таким мастером сочинять новые стишочки.

Долго таким образом тянулось это благоденствие и протянулось бы оно на веки вечные, ежели бы не существовало пословицы, говорящей к великому людскому сокрушению: нет ничего вечного на земле, о люди!

Однажды Абрам Сидорович услышал в своей передней большой шум. Ему послышалось, что в ней происходила рукопашная, – вследствие этого, воскипевши своим праведным, хозяйским гневом, он сердито вскрикнул:

– Афонька! что это у тебя в передней за возня такая? Уши все, шельмам, оболтаю пойду.

– Да вот, сударь, – заговорил Афонька из-за притворенных дверей, – неизвестный человек какой-то беспременно вас видеть хочет. Говорит: двери все расшибу, а уж дойду до хозяина, потому, говорит, важное дело.

Вслед затем двери, ведущие из передней в зал, с шумом распахнулись и гневно-изумленным очам Переметчикова предстал некоторый молодец, высокого роста, в длинном нан-

ковом сюртуке, перетянутом черкесским, с серебряным набором ремнем и, вдобавок, с серьгой в левом ухе.

– Ты что за человек? – сердито спросил его Переметчиков.

– А я – липецкий мещанин, Кондрат Добыча, – отрекомендовался молодец, встряхивая враз и густыми волосами, и золотой серьгой. – К вашей милости по дельцу пришли.

– Ах ты такой-сякой! – закричал на Добычу купец. – Да я тебя, шельма, в часть сейчас отправить велю. Как ты смеешь драться в моем дому – а?

– А нам не только что в часть, – беззаботно ответил Кондрат, – а, примерно, ежели в острог, или на каторгу, так нам все единственно, потому рази там люди не живут?.. Сами вы, ваше степенство, извольте рассудить!

– Что ж тебе надо?

– А надо мне, как перед истинным Создателем моим говорю, так и перед вами, – надо мне этого Ветчинникова в тартарары упечь – вот что мне надо! И в этом я вам помощь большую могу оказать, по тому хоша он и го-

ворит, что кучер его первый силач в Москве, только рази он против меня может сустоять?

– Да ты об чем разговариваешь-то?

– Все об том же: без меня Ветчинников вас совсем задолееет, потому кучер у них точно что гора-человек...

– Да за что же мне с Ветчинниковым ссориться, голова?

– Как за что, судырь – ваше степенство? – спросил Добыча в большом изумлении. – Рази я вам не говорил? Ведь Ветчинниковы беспрременно решились нынешним месяцем украсть у вас отца-Гаврилу (слава юродивого разнеслась уже так далеко, что многие звали его не иначе, как отцом-Гаврилой).

– Как? – завопил Переметчиков, – отца-Гаврилу? Бо-оже! Что же это такое?

– Так точно-с, потому зависть... Бедняют они очень... Они было себе, доложу я вам, тоже подцарапали мать-Христинью, но нет, все плохо! Души-то у них очень уж того... иродские...

– Почем же ты знаешь об этом? – тревожно спрашивал Абрам Сидорович. – Как ты намеренья их отгадал воровские?

– А как они, эти самые Ветчинниковы, зная мою силу и ловкость, призвали меня к себе и говорят: так и так, Добыча!

Зная мы твою силу и ловкость, приказываем одному тебе всей этой командой заправлять. Ты, говорят, у нас один в ответе за все про все будешь... То есть понимаете? Насчет этой кражи-то у вас они мне наказ дают – а? Я им в ту ж пору ответ стал держать: это, мол, я могу, потому и в ратниках когда был, так девок, или баб для господ-офицеров воровывал. «Что с нас возьмешь? Наше дело мещанское, работное...» Только, говорю, господа, за эдакое прокуратство пожалуйста мне сто на серебро, и опять же – деньги сейчас налицо. Потому, сами вы рассудите, ваше степенство, ежели бы меня за эти дела стегать принялись, что б я без денег-то делать стал?.. Ну-ка?

– Так, так, – согласился сильно озабоченный Переметчиков. – Это ты верно...

– Истинно, что верно, ваше степенство! А Ветчинниковы на такие мои слова что же сказали? Так это удивительно даже, одна дыхнуть! Сказали мне Ветчинниковы: «А-ах ты, говорят, шаромыга! Да сам-то ты и с по-

трохами с твоими стоишь ли сотню рублей? Да у нас, говорят, кучер Исай один вас таких-то троих за пояс заткнет. Ведь мы тебе за тем и велели прийти, чтобы дать тебе, гольтяпе, какой ни на есть хлеба кусок». Ладно, думаю про себя, ладно. Покажу я вам Кузькину мать. Потому зачем же они врут? Зачем они тем враньем человека обижают напрасно? Да рази я их кучера-то этого хваленого не разутешивал? Слава богу! Я ему, ваше степенство, в полпивной однажды, вот тут у Серпуховских ворот, сейчас умереть – не вру, кэ-эк дам в башку, так он с час сидел, словно бы обалделый какой. Точно что, признаюсь, дербанул {295} я его внезапно, сзади зашодчи. Все же, однако, рази его можно за это похвалить?

– Так, так, – ободрял Переметчиков. – Кому много дано, с того и взыщется много.

– Верно! Только я все же, – продолжал Добыча, – не дал обиде моей верха над собой взять и говорю Ветчинниковым: прикажите, мол, нам с вашим Исаем силу попробовать: борьбой ли, или, мол, на кулачки. А сам, грешный человек, мыслю в душе моей кучера того несчастного так угодить, так это, раз-

метываю в своем уме, разутюжить его – сударика... Проникли купцы такое мое намерение и, опасаясь срамоты, какую, верно вам докладываю, я бы на их похвальбу кучером своим напустил, – сейчас же напали на меня с великим многолюдством – и со двора в шею. Грозилась тоже они на меня всячески, когда били: «в сибирке, кричат, сопреешь, ежели словом одним заикнешься об нашем умысле Переметчикову». Теперь одна надежда на ваше степенство, т. е. насчет чести, потому раскассировать кого ежели, так я и один много народа могу раскассировать.

– Спасибо тебе, Добыча, за верную службу, – поблагодарил лихача Переметчиков. – Отныне ты мой раб. Сейчас мы с тобой к частному едем, там ему обо всем доложим и солдат возьмем на подмогу, дабы нам в полной безопасности быть.

– А это вы напрасно изволите, – посоветовал Добыча.

– Насчет чего?

– А насчет солдат, потому что же такое полицейский солдат? Одно слово: крупа! Рази он может сустоять, нетокма против меня, или

бы даже кучера Ветчинниковых?.. Сичас он, можно сказать, от одного моего щелчка с копыт вверх тормами должен лететь, потому солдат – служба... Он, ваше степенство, кажинный день в чижолой работе и опять же на легких хлебах...

– Так как же мы с этим делом управимся?

– А так и управимся, – решил Добыча. – Я теперича все разузнал, какая у них, Ветчинниковых, команда будет. Первое – кучер. Его я, глаза лопни, с одного наскоку подомну под себя. Другое – Курилкин Иван – мясник. Его тоже пробовал я: по бревну разобрал. Третьим теперича у них – Бучилов Анкудин. Действительно, этот прежде силен был, только я ему еще в третьем году, на кулачном бою, на Крымке-с, левую руку сломал. Я уж и говорил ему: ты, говорю, Анкудин, на одну руку-то не очень надейся. Остальные все – сволочь, поголовная сволочь! – добавил Добыча. – Не извольте их опасаться, ваше степенство. Мне их на одну руку мало.

– Да ведь все же ты один? – возражал Абрам Сидорыч. – Как же ты один против них всех пойдешь?

– А тоже и мы своих молодцов наберем, из ваших, потому вся сила во мне, а им на гулянках ничего – поразмяться для скуки... Да, право, ей-богу! Ведь им, ваше степенство, тоже небось жалованье платите?

– Как же! Как же!

– То-то и есть! Опять ежели ваши молодцы очень уж слабосильны, так мы ломы возьмем, дубье, потому ведь и они тоже с колами и дубинами прикатят. Вот мы их впустим в сад-то, дадим им на келейку-то отца-Гаврилы взглянуть, чтобы недаром им проезжаться, а там уж и с Господом!..

– Молодец Добыча! – похвалил его Переметчиков. – Ступай в куфню... ешь и пей там, что только твоя душа пожелает.

– Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, – заговорил Кондрат, после хозяйского приглашения, мгновенно меняя и титул, с которым он относился к Абраму Сидоровичу, и свое собственное, необыкновенно мускулистое, дожелта загорелое лицо, на кроткую физику ягненка, – осмелюсь спросить у вашего высокоблагородия деньжонок малость на расходы: сапожишками вот пообносился, опять

же на родину думаю жене с ребятенками послать. Семеро их у меня, ваше высокоблагородие, мал мала меньше.

– Можно, можно, дружок! – покровительственно принял эту просьбу Переметчиков и подал деньги. – Я умею награждать верных рабов, – важно закончил купец и как будто он был в самом деле вашим высокоблагородием, парадным шагом отправился во внутренние апартаменты, самодовольно посматривая в зеркало на свою закинутую вверх голову и на свои по-майорски вздутые щеки.

– Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! – окончательно потешил его Добыча, живо юркнувший в переднюю, с целью прямо оттуда пробраться в какую-нибудь пивницу, где он во всякое время любому может насандаить рожу, чупрыснуть в едало, закатить под микитки, разуважить в бок и проч. и проч.

* * *

Закончилось дело в непроглядную осеннюю ночь. И была эта ночь, пожалуй, во сто раз ненастнее, угрюмее и дождливее того осеннего утра, в которое началось дело. Так

сказать: тьма тьму была в сыром и как бы горько истосковавшемся о чем-то воздухе. Дождь лил, как из ведра; ветер выл совершенно понятные слова:

– Вот я вас! Ого-го! Огу-гу-гу! Вот я вас!

Фонари, освещавшие столицу, так-то жалобно, так-то скорбно моргали, словно бы старались удержать незримые и неведомые Московской думе слезы свои, которая, в жестоко-сердии своем, отпускает им так мало посконного масла, называя его и спиртом, и керосином, и минеральным маслом, и разными другими почетными и современными именами... Жалобы фонарей, точно так же, как и взвизги ветра, можно было очень ясно слышать. Они плакались:

– Что же мы с такой темной ночью поделаем?.. Ничего!.. И тут они расставляли свои тонкие, кривые, железные руки с видом человека, сильно недоумевающего, и глубоко вздыхали; а улица оставалась по-прежнему такой темной, что зги не было видно, и дождь тоже хлестал, и ветер громыхал жестяными крышами, и, разбуженный этим громыханием, будочник, как и вчера, глубоко, протяжно

и громко зевал и секретно поверял пустой улице такие слова:

– Одначе, как много дьяволов завелось на потолке у мещанки Кривохвостовой. Надо ей об этом беспременно завтра сказать... Все, может, разорится она на шкалку за такой доклад.

В такое-то время из густого сада, опушавшего дом Переметчикова, над которым, как бы не в пример прочему, особенно гневно раскинулось сердитое осеннее небо, – в это время, говорю, из сада на улицу светились тонкие, но частые огоньки от свечей и лампад, затепленных пред образами в уединенной келейке отца-Гаврилы. Они только одни да шум столетних деревьев говорили пустынной и безмолвной улице, что дескать:

– Ах! не одна ты здесь! Поменьше тоскуй.

Улица точно была не одна: на заборе Переметчикова сада сидел Кондрат Добыча и пристально во что-то всматривался.

– Что Кондрат Иваныч, – спросил его кто-то из густых, хотя уже давно облетевших, малинных кустов, – не едут еще?

– Не ори ты, шутова голова! – отвечал До-

быча. – Когда приедут, скажу; не все ведь такие зеваки, как ты. Дай-ка я покамест, для храбрости, цопану...

Послышалась выпивка на заборе и вместе с тем сдержанный лошадиный хляск на конце переулка. Добыча соскочил с забора и прерывистым шепотом прошептал малиновым кустам:

– Держись крепче, ребята! Ломы чтобы, главное, наготове были. Как скажу: действуй, – так и валяй.

– Бо-о-же! – слышалось в то же время с тесового крыльца кельи отца Гаврилы. – На враги же победу и одоление....

Несколько голов показалось на том же заборе, с которого только что слез Добыча. Они перешептывались насчет того, кому первому в сад лезть.

– И ни за что не пойду прежде всех... – шептал кто-то, – потому Добыча теперь беспременно у них. Живот вынет, ежели под первый кулак к нему подвернешься.

– О, дьяволы! – вслух проворчал какой-то медвежий бас, и тут же бас этот тучей скатился с забора в густой бурьян, опушавший забор

сада. – Идите, лезьте, черти!.. Никого нет.

Головы, торчавшие на заборе, после этих слов все дружно попадали в сад.

– Теперича все вы тут, али нет? – громко вскрикнул Кондрат Добыча, бросаясь на кучера. – Теперича я тебя, Исай Петрович, потешу, я тебя поте-е-шу! Хозяева твои говорят, что сильней тебя во всем свете нет. – Теперича мы поглядим на это, на силу-то на твою, поггля-ядим!..

Тут зазвенели ломы, застучали дубины и раздался страшный, задушаемый голос кучера:

– Дру-уг! Анкудин! Заступись: душит!

– А вот мы и Анкудина попробуем сейчас! – словно черт этой дьявольской ночи, грохотал Добыча. – Я у него теперича другую руку намерен испробовать... – Но оставшейся здоровой рукой Анкудин сокрушил вековой забор Переметчикова сада – и был таков.

– Где хозяева? Где хозяева? – рычал Добыча, как зверь, вывертывая руку у кого-то из поголовной, как он говорил, сволочи. – Сказывай: где? Я кишки из какой-нибудь шельмы выпущу, потому не обиждай занапрасно.

– На вр-р-раги же победу и одоление! – перебивала Переметчиковская молитва костоломную суетню сада.

– Голубчик, Кондрат Иваныч! – кричал человек, которого пытал Добыча, –пусти ты меня Христа ради... Наше дело, все равно как твое, подневольное; а хозяева уехадчи, потому они за забором с лошадьми были.

– А-а-а! – лютовал Добыча! Я бы им, я бы их...

– Охо, х-хо, х-хо! – орал юродивый, вырвавшись из кельи и бегая по капустным грядкам, в которые завалились оставшиеся борцы. – Хо, х-хо!

– Взыскал ты меня, Боже мой, над врагами моими!.. – громко молился на крылечке Переметчиков.

– Уж истинно, что Мамаево побоище! – радостно говорил Добыче главный помощник его в победе, подкучер Дмитрий. – Пошел бы ты, Кондрат Иваныч, попросил бы у черта-то на чайшко. Теперь бы в ночь-то пустить ничего.... Ей-богу! Оченно бы это прикрасно!

– Я и то сейчас подкачусь к нему... – шепнул Добыча. – Только вряд ли даст теперича,

потому дело мы ему уж обделали... Они ведь, эти купцы, хоша и неотесы, а надувать здоровы...

Об авторе

Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.

Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.

Примечания

Примечания

1

«Степные очерки» А. И. Левитова // Современник. 1866. № 4. С. 262–271; Ткачев П. Разбитые иллюзии // Дело. 1868. № 11. С. 1–25; Буренин В. Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1869. № 279, 301, 353; Утин Е. Задачи новейшей литературы // Вестн. Европы. 1869. № 12. С. 832–888 и др.

[^^^]

2

Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956.
С.293.

[^^^]

3

Скабический А. М. Александр Иванович Левитов: (его жизнь и сочинения). Ст. первая//
Отеч. зап. 1877. Т.232. № 6. С. 138.

[^^^]

О жизни и творчестве А. И. Левитова см.: Нефедов Ф. Д. А. И. Левитов // Вестн. Европы. 1877. № 3. С. 452–464; Скабичевский А. М. А. И. Левитов. Его жизнь и сочинения // Отеч. зап. 1877. № 6. С. 137–173; Он же. Там же. № 8. С. 133–165; Похороны А. И. Левитова // Рус. ведомости. 1877. № 7; А. И. Левитов. Некролог // Будильник. 1877. № 6. С. 10; Боборыкин П. Д. Из воспоминаний о пишущей братии. А. И. Левитов // Биржевые ведомости. 1878. № 134; Буренин В. Писатель-плебей // Новое время. 1884. № 16. С. 2; Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятых годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 648–684; Златовратский Н. Н. Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов // Почин: сб. О-ва любителей рус. словесности на 1895 г. М., 1895. С. 93–106; Налимов А. П. Живописатель нравов. А. И. Левитов // Образование. 1904. № 7. С. 99–104; Айхенвальд Ю. Левитов // Силуэты рус. писателей. Вып. 3. М., 1910. С. 45–52; Козьмин Б. «Ужасная» тайна А. И. Левитова // Каторга и ссылка. 1932. № 6. С. 193–197 и др.

[^^^]

5

Нефедов В. Д. Александр Иванович Левитов. М., 1884. С. XXXIV.

[^^^]

6

См.: Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т.4. М., 1967. В отношении даты рождения А. И. Левитова имеются и другие указания. Так, редактор «Библиотеки великих писателей» издательства Брокгауза и Ефрона С. А. Венгеров в биографической статье о Левитове указывал 20 июня. См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. XVII. Култагой – Лед. СПб., 1896. С.437. Исследователь жизни и творчества Левитова А. Я. Силаев указывает 30 августа. См.: Силаев А. Я. Лиры звон кандалный: очерки жизни и творчества А. И. Левитова. Липецк, 1963. С. 5. Автор вступительной статьи и примечаний к

изданию сочинений Левитова Е. Жезлова полагает, что писатель родился 20 мая 1835 г. См.: Левитов А. И. Сочинения. М., 1977. С. 5.

[^^^]

7

Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов//Левитов А. И. Собр. соч. М., 1884. С. XLV.

[^^^]

8

Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 659.

[^^^]

9

Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов.
М., 1884. С. LXXVI.

[^^^]

10

Левитов А. И. Собр. соч. со вступ. ст.
Ф. Д. Нефедова. М., 1884; Он же. Поли. собр.
соч.: в 4 т. / вступ. ст. В. А. Никольского. СПб.,
1905; Он же. Собр. соч.: в 8 т. СПб., 1911.

[^^^]

11

Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. 3. М., 1910. С.45.

[^^^]

12

Один из московских трактиров.

[^^^]

13

Мальчишечкой, мальчишкой и мальчиком в Москве называют шкалик.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

...в комнатах снебилью... – имеются в виду самые дешевые меблированные комнаты, рассчитанные на малосостоятельных обитателей. Выражение взято из увиденного А. И. Левитовым объявления о сдаче жилья, вывешенного малограмотной хозяйкой на стене дома. Когда в 1855 г. Левитов пришел пешком в Москву, он, не имея средств, ночевал на постоянных дворах. Помогла сестра Мария Ивановна. «Она продала двух волов отца и вырученные деньги отослала брату. В этот же день он нанял себе на Грачевке маленькую комнату «снебилью»», – рассказывал А. Н. Пыпин (Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятых годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 662). В очерках Левитов употребляет словосочетание «комнаты снебилью» как синоним трущобного «дна».

2

...Страстная неделя... – последняя неделя Великого поста, в течение которой верующие соблюдают строгие ограничения в пище, избегают развлечений и посвящают свои помыслы последним дням жизни и смерти Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят названия Великих, и с каждым связаны особые православные традиции.

[^^^]

3

«Кому чару пить, кому распивать?» – неточная цитата из старинной русской заздравной песни «Кому чару пить, кому выпивать...»

[^^^]

4

...на моей родине живет некий маститый старец... – Младший брат А. И. Левитова, Алексей Иванович, проживал в Лебедяни и был иноком Троицкого монастыря.

[^^^]

5

...Jean de Sizoy (фр.) – «Иван Сизой», псевдоним, которым А. И. Левитов подписывал свои ранние очерки, появившиеся на страницах периодической печати. В частности, в 1862 г. в журнале «Зритель» под этим именем были опубликованы рассказы «Погибшее, но милое создание» и «Крым», включенные в ныне переиздаваемый сборник. Одновременно Иван Сизой – это лирический герой Левитова, доносящий до читателя мысли и переживания автора.

[^^^]

6

...Sapientisat! (лат.) – Умному достаточно!

[^^^]

7

...sapiens (лат.) – умный.

[^^^]

8

...полведерная бутылка... – В XIX в. в Российской империи общепринятой винной мерой стало «московское ведро», составлявшее примерно 12 л, в то время как в других регионах страны «ведро» все еще могло вмещать от 12 до 14 л. Ведро водки делили на 2 полуведра, 10 штофов, 100 чарок и 200 шкаликов.

[^^^]

9

Мне вспоминается мое прошлое... – А. И. Левитов вспоминает о собственном детстве в селе Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии, когда он пел на клиросе местной церкви, где отец состоял в причте.

[^^^]

10

Бедная! Учение мое действительно порвало у вас с отцом последние жилы... – На протяжении всей жизни А. И. Левитова не отпускало чувство вины перед матерью. Прасковья Прокофьевна очень переживала предстоящую разлуку с сыном, которого отец решил послать на учебу в Лебедянское духовное училище. «Мать часто ласкала меня и плакала, – вспоминал Левитов, – а я жду не дождусь, когда меня в училище повезут... Я перестал играть с товарищами, избегал оставаться с матерью наедине: я не мог видеть ее печального лица, а слезы ее вызывали и у меня сле-

зы...»(Цит. по: Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов // Левитов А. И. Собр. соч. Т.1. М., 1884. С. XIV). Мать страдала от наступившей разлуки с сыном, но рассчитывала на то, что, закончив училище и семинарию, он возвратится домой. Когда же в 1855 г. Левитов отправился в Москву, мать умерла через несколько дней после его ухода из родного дома. «Известие о смерти маменьки крайне меня поразило, так что если бы не участие добрых людей, я не знаю, что со мною сделалось», – писал тогда Левитов сестре. (Цит. по: Силаев А. Я. Лирь звон кандалный: очерки жизни и творчества А. И. Левитова. Липецк, 1963. С. 23). Позже он узнал, что, проводив сына, Прасковья Прокофьевна долго стояла на холодном промозглом ветру у околицы, глядя ему вслед. Ночью у нее началась горячка, и через несколько дней ее не стало.

[^^^]

Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мной в этих тайных вертепах... – На протяжении всей своей жизни писатель сменил множество меблированных комнат. «Он нанимал квартиру где-нибудь на окраине города, в подвале или в каком-либо полуразвалившемся флигеле, где он терпеливо выносил и холод, и голод, и много всяких нравственных мук», – вспоминал публицист Ф. Д. Нефедов (Нефедов Ф.Д. А. И. Левитов // Вестн. Европы. 1877. № 3. С. 462).

[^^^]

12

Кипень – белая пена от кипения.

[^^^]

13

Комла (искаж.) – комната.

[^^^]

14

...Татьяну-съемщицу спроси... – «Съемщицами» называли содержательниц меблированных комнат, арендовавших помещения у домовладельцев на определенный срок с целью дальнейшей сдачи их внаем.

[^^^]

15

Ухарь-баба – бойкая, хваткая баба.

[^^^]

16

...«издивляется»... – здесь: удивляется.

[^^^]

17

...с блестящими серьгами в левых ушах... – Обычай носить золотую серьгу в левом ухе имели моряки. А серебряная серьга в левом ухе означала, что ее обладатель – уроженец донской казацкой вольницы и единственный сын у матери, не имеющей других кормильцев. В случае призыва на военную службу, при равнении направо, командир сразу видел, кого следует беречь в бою. Серьга в ухе мужчины могла быть и оберегом, как это бывало у некоторых народов Восточной Сибири. Для людей, отправившихся на заработки,

серьга могла быть своеобразным вложением капитала или чем-то вроде «гробовых» денег, дававших уверенность, что, в случае смерти ее владельца, на вырученные от ее продажи деньги его похоронят.

[^^^]

18

Погребица – погреб при городской усадьбе.

[^^^]

19

Китайчатый – сшитый из плотной хлопчатобумажной ткани синего цвета, вывезенной из Китая.

[^^^]

20

... в заговенье... – в последний день перед постом, когда можно употреблять скоромную пищу.

[^^^]

21

Личарды – здесь: верные слуги. Особенной популярностью в народной среде пользовалась «Гистория о некоем храбром витязе и о славном богатыре о Бове Королевиче». Бова был сыном короля Гвидона и Милитрисы, дочери правителя Кирбича. Однако сердце Милитрисы было давно отдано высокочтимому Додону. Отец же принудил ее стать женой Гвидона, чьим сватом был верный конюший Личарда.

[^^^]

22

Лихач – удалой расторопный извозчик с щегольской коляской и упряжью.

[^^^]

23

Полпивная – заведение, торгующее легким пивом, брагой и другими напитками.

[^^^]

24

Полуштоф – мера объема жидкости, равная примерно 0,6 л.

[^^^]

25

Поддевка – мужская одежда из нанки, плиса или сукна, имеющая мелкие сборки по талии.

[^^^]

26

Сюртук – длинное двубортное легкое пальто, обычно в талию. Этот вид мужской одежды появился в России в начале XIX в.

[^^^]

27

Томпаковая луковица – часы, корпус которых был изготовлен из сплава меди с цинком (от фр. tombac).

[^^^]

28

Коленкор – сильно крахмаленная или пропитанная особым составом хлопчатобумажная ткань (от фр. calicot).

[^^^]

29

Фалбара – здесь: оборка по краю чепца. От искаж. «фалбала», «фалбола», «фалборка» – подзор на кровати или широкая оборка по периметру платья.

[^^^]

30

Кринолин – здесь: нижняя юбка из ткани, изготовленной из конского волоса. Кринолины (от фр. *crinoline*) стали носить во Франции в 1840-е гг., поддевая их под юбку платья, чтобы придать ей пышную форму.

[^^^]

31

...в праздничном немецком платье... – в нарядном платье иностранного фасона.

[^^^]

32

...кофе внакладку... – положив сахар в кофе.

[^^^]

33

...бросилась в фартал... – побежала за помощью к квартальному чину. До 1881 г. полицейские части города в России делились на кварталы, которые возглавляли квартальные надзиратели.

[^^^]

34

Штос – излюбленная карточная игра в офицерской среде.

[^^^]

35

..штоф водки... – примерно 1,2 л водки.

[^^^]

36

...оболочки... – искаженное: болонки.

[^^^]

37

Ракаля – негодяй, бестия, наглый подлец.

[^^^]

38

...Фрицовской фабрикации... – немецкого производства.

[^^^]

39

Депозитка – здесь: денежная ассигнация.

[^^^]

40

...красную бумагу в десять Рублев... – В 1786 г. Екатерина II особым манифестом повелела печатать ассигнации в 10 руб. на красной бумаге «для лучшего различения». Такой цвет сохраняли купюры этого номинала вплоть до 1991 г.

[^^^]

41

Бубновый дом – кабак, игорный дом.

[^^^]

42

бубновая краля – молодая, беззаботная, незамужняя девушка.

[^^^]

43

...Же лонер, мадам! Милль пардон, мадам! (искаж. фр.) – Честь имею, мадам! Тысяча извинений, мадам!

[^^^]

44

... Маляд, бедное дитя! (искаж. фр.) – Больное, бедное дитя!

[^^^]

45

... в сновальщиках был... – работал на ткацкой фабрике на сновальном станке, готовящем основу под ткань.

[^^^]

46

Сибирка – арестантская комната при полицейском доме.

[^^^]

47

...покуривая Жуков... – табак фирмы «Жуков».

[^^^]

48

...в клад положить... – спрятать.

[^^^]

49

Прокурат – плут.

[^^^]

50

Стрекулятник – пройдоха, проныра, ловкач, обманщик.

[^^^]

51

Биргалль – пивная (от нем. Bierhalle – пивной зал).

[^^^]

52

Бурнус – накидка из плотной шерстяной материи.

[^^^]

53

Шлафор – длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями (от нем. Schlafrock – спальная одежда).

[^^^]

54

Шаромыга – плут, обманщик, мошенник, промышляющий на чужой счет.

[^^^]

55

«Барыня» – русская народная песня «Барыня ты моя».

[^^^]

56

Рацея – назидательная речь, длинное наставление (от лат. oratio – речь).

[^^^]

57

Сохранная расписка – здесь: расписка, которую выдает ростовщик при выдаче денег под залог имущества.

[^^^]

58

«Кормит коня сыто, сам ест сухари» – слова из старинной казацкой песни.

[^^^]

59

Синяя сахарная бумага – разновидность оберточной бумаги, которая использовалась в торговле для упаковки голов сахара. Листы бумаги имели треугольную форму и характерный синий цвет.

[^^^]

60

Гондобить – здесь: строить.

[^^^]

61

Ждановская жидкость – средство для уничтожения зловонного запаха, названное по имени инженера-технолога Н. И. Жданова, запатентовавшего изобретенный им состав в 40-е гг. XIX в.

[^^^]

62

Салоп на беличьих лапках – верхняя очень просторная одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или небольшими рукавами, скреплявшаяся на шее лентами или шнурами, выпущенными из-под мехового воротника (от фр. *salope* – свободный). В России салопы стали носить в конце XVIII в. Изготовление салопы требовало большого расхода ткани и меха. Верх накидки шили из бархата, дорогого сукна или шелка, подкладку делали «на вате» или из шкурок соболя, куницы, белки. В 1830-е гг. салопы вышли из моды, но вплоть до конца XIX в. в России они пользова-

лись популярностью в мелкокупеческой и мещанской среде.

[^^^]

63

Жидомор – здесь: лихоимец.

[^^^]

64

Сармат – здесь: поляк.

[^^^]

Исааком, Иаковом и Израилем клянусь... – Исаак в Ветхом Завете – патриарх еврейского народа. Сын Авраама, родившийся у него от Сарры, когда, согласно Библии, ей было 90, а ему – 100 лет. Бог повелел дать ему имя Исаак (евр. «она засмеялась»), поскольку его мать рассмеялась при мысли, что в столь преклонном возрасте у нее может родиться ребенок. Иаков (Израиль) – в Ветхом Завете патриарх, сын Исаака и Ревекки, внук Авраама, родоначальник двенадцати колен Израиля. Еще в утробе Ревекки Иаков и его брат-близнец Исаав стали соперничать. Вопросив об этом Бога, Ревекка узнала, что из ее утробы произойдут два различных народа и старший будет служить младшему. Первым на свет появился Исаав (первородный сын), а следом, держась за пятку Исава, – Иаков. Однако Иаков, хитрый и умный, воспользовавшись однажды усталостью и голодом Исава, вернувшегося с охоты, перекупил у него за чечевичную похлебку право первородства. Опасаясь гнева Исава, Иаков покинул родной дом. Живя в Харране

у брата матери Лавана, Иаков полюбил его младшую дочь Рахиль и отслужил за нее дяде семь лет. Но Лаван обманом дал ему в жены свою старшую дочь – Лию. Иаков отслужил еще семь лет, чтобы и Рахиль все же стала его женой. От двух дочерей Лавана и от двух их служанок у Иакова родились двенадцать сыновей. После долгих лет жизни на чужбине Иаков вместе со всем своим потомством решил вернуться домой. Во время ночевки в пути с Иаковом борется некто (Бог), но одолеть сына Иосифа ему не удалось. Неизвестный благословил Иакова и дал ему новое имя – Израиль (буквально – борющийся с Богом).

[^^^]

...под голубым околышем... – служил в Отдельном корпусе жандармов.

[^^^]

...у будки... – у будки квартального дежурного. Рядовые постовые полицейские именовались будочниками. Черно-бело-полосатые будки, где они несли службу, могли быть деревянными или каменными. Будочник нередко обитал в будке вместе с семьей, поэтому внутри помещения имелась нехитрая домашняя утварь. В 1862 г. вместо будочников были введены городовые.

[^^^]

Бутырь – будочник, постовой, дежурный.

[^^^]

...а простой народ с каждой минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя – вставка биографического характера. А. И. Левитов, мучаясь безденежьем, довольно часто был вынужден прибегать к состраданию квартальных постовых. Он «свел знакомство с будочниками, которые кормили его и угощали своим тютюном...» (Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятых годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 662).

[^^^]

70

«L'innocence» (фр.) – «невинность».

[^^^]

71

...a bon credit...(фр.) – в кредит на хороших условиях.

[^^^]

72

Цампа – главный персонаж шутки-водевиля Николая Александровича Ермолова (1829–1886) «Цампа Цампе – рознь!», поставленного на сцене Малого театра.

[^^^]

...при самом Денисе. – Имеется в виду Д. В. Давыдов (1784–1839) – поэт, герой Отечественной войны 1812 г.

[^^^]

Цыган Илюшка – речь идет о популярном в начале XIX в. цыганском исполнителе Илье Соколове. «Илюшку с хором» из цыган-вольноотпущенников А. Г. Орлова-Чесменского нередко приглашали в частные дома для выступлений (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 12. М.; Л., 1933. С. 474). В повести «Два гусара» (1856) Л. Н. Толстой так описывает замечательного исполнителя: «Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась пляска, т. е. цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пе- ла. <...> Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне,

аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевортывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой».

[^^^]

75

...простой кокоревщины – водки (от имени винного откупщика В. А. Кокорева).

[^^^]

76

Ерыжничать – вести беспутную, распутную жизнь.

[^^^]

77

Лекции по винокурению – В 1857 г. в Московский университет на кафедру технологии, открытую по ходатайству московского купечества, из Казанского университета был приглашен доктор естественных наук М. Я. Киттары (1825–1880), создавший вокруг себя школу специалистов-технологов. При отмене откупной системы Министерство финансов обратилось к Киттары с предложением прочесть курс винокурения для вновь назначаемых ак-

ЦИЗНЫХ ЧИНОВНИКОВ.

[^^^]

78

...устроиться в акциз – поступить на службу в
Акцизное управление.

[^^^]

79

Амфитрион – здесь: гостеприимный, щедрый
хозяин.

[^^^]

80

Раздабарывать – разговаривать, болтать.

[^^^]

81

Рахиль в Раме – Плач Рахили о своих детях в Раме, одном из городов Палестины, описан в Библии в Книге пророка Иеремии.

[^^^]

82

...гробы повапленные, т. е. расписные (от старославянского «вапить» – расписывать красками, красить). Выражение означало: «несуразные».

[^^^]

Драбант – здесь: верзила (от пол. drabant – телохранитель, вожатый).

[^^^]

...прозванного одними – мистером Скимполом из «Холодного дома», другими – Пляшущим Маколеем. Мистер Скимполь – персонаж из романа Ч. Диккенса «Холодный дом», тип обаятельного денди, живущего на чужой счет. Имя английского историка и политического деятеля Т. – Б. Маколея (1800–1859) в 60-х гг. XIX в. стало широко известно в России, так как его «История Англии» в 1860–1865 гг. была издана в русском переводе.

[^^^]

85

...Рим и его Форум – площадь в Риме между холмами Капитолием и Палатином, где была сосредоточена общественная и политическая жизнь древнего города. Окруженный великолепными базиликами и храмами, Форум является шедевром мировой архитектуры.

[^^^]

86

Голгофа – холм, где был распят Иисус Христос.

[^^^]

...как процессия попа Никиты на спор по Москве шла. – Имеется в виду шествие суздальского священника Никиты Добрынина (? – 1682) на диспут «о вере» в 1682 г. Этому активному члену «Кружка ревнителей благочестия» сторонники Никона дали прозвище «Пустосвят». Он яростно выступал против церковных реформ патриарха. В 1665 г. Пустосвят написал челобитную царю Алексею Михайловичу, доказывая незаконность внесенных по воле Никона исправлений, и требовал созыва «истинного собора» и «праведного суда с никонияны». Церковный собор 1666–1667 гг. лишил Никиту Пустосвята сана. Он принес покаяние, однако в 1682 г. вместе с другими раскольниками вновь выдвинул требование, чтобы церковь вернулась к «правоверию». 5 июля 1682 г. в Кремле состоялись «прения о вере», где Никита Пустосвят выступал в защиту древлего благочестия. На следующий день он был схвачен и казнен по приказу царевны Софьи.

[^^^]

88

«Ах, где ты была, моя нечужая?..» – куплет из старинной казацкой песни «Да и где же ты была, моя нечужая...»

[^^^]

89

«Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь!» – слова из старинной плясовой песни, которую часто исполняли цыганские хоры.

[^^^]

90

«...Ты взойди, ты взойди, солнце ясное!..» – слова старинной русской песни «Ты взойди, ты взойди, красно солнышко...».

[^^^]

91

Гонорарий – гонорар, вознаграждение за литературное произведение.

[^^^]

«Крым» – трактир, находившийся в доме Внукова на пустыре вблизи Цветного бульвара и в начале Трубной улицы. В. А. Гиляровский в произведении «Москва и москвичи» так описывал это злачное место: «Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты. Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громкогласный орган заводился вперемежку между хорами по требованию публики... Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир... <...> Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца...В

стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы...Из двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков...Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего «зала»...Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается...» (Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 125–127).

[^^^]

93

... не зажигал мою рублевую экономическую лампу... – речь идет о масляной лампе, которая давала ровный тусклый свет. Горючим для такого осветительного прибора служили деревянное, сурепное, маковое и другие сорта растительного масла.

[^^^]

Царев кабак – До первой половины XVI в. на Русине существовало других питейных заведений, кроме корчмы. В 1551 г. Иван Грозный, взяв Казань и узнав о существовании там «ханского кабака», приказал устроить подобное заведение в Москве для стрельцов. Затем питейные заведения появились и в других городах Московской Руси. В силу запрещения народу и посадским людям изготовлять горячительное зелье для собственных нужд, «царевы кабаки» давали большой доход казне. Они управлялись кабацкими головами и целовальниками. Впоследствии государство, желая сохранить доход, но снять с себя надзор, стало сдавать питейные заведения «на откуп» (Ресторанное дело. 1911. № 6. 15 июня; Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. Казань, 1913).

[^^^]

Циммермановская шляпа – шляпа, купленная в магазине головных уборов владельца шляпной фабрики Циммермана, расположенном в Санкт-Петербурге в доме церкви Св. Петра на Невском проспекте. Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников привлек внимание прохожих своим поношенным цилиндром производства этой фирмы: «А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во все горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная...» //Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Махачкала, 1970. С. 4–5.

...не бобер... – высокая шапка из сукна и меха бобра, «бобровка». Описание ее встречаем в воспоминаниях М. А. Рыбниковой о Л. Н. Толстом: «...В первый день Рождества иду я по Волхонке... Распахивается дверь, и выходит Толстой. Опять эти глаза, сердитые и взыскательные, но это как будто и не он: бобровая шапка с черным бархатным верхом, великолепная шуба с громадным бобровым воротником. Повернулся и пошел по направлению к Хамовникам» (Рыбникова М. А. Толстой до толстовского музея: воспоминания // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 213).

[^^^]

97

...за воротник вигоневого мешка, приобретенного за 4 рубля у парикмахера... – имеется в виду пальто из вигони – ткани из хлопка и отходов шерстяного производства.

[^^^]

98

«Полицейские ведомости» – официальная газета «Ведомости с. – петербургского градоначальника и столичной полиции», издававшаяся в 1839–1917 гг.

[^^^]

...на Лубянке в доме духовной консистории. – Церковной жизнью Москвы и епархии руководила Московская духовная консистория (с 1744 г.), находившаяся в ведении Синода. Консистория производила управление и духовный суд под начальством московского митрополита. Духовная консистория имела присутствие и канцелярию. Присутствие состояло из священников, избираемых митрополитом. Каждый член руководил столом (отделом). В функции столов входили назначение и перемещение священников, сооружение и ремонт храмов, бракоразводные дела и т. д. Существовал и консисторский суд. Канцелярией консистории ведал утверждаемый Синодом секретарь. Духовная консистория наблюдала за хозяйственной деятельностью архиерейского дома, монастырей и церквей. На Лубянке в самом начале Мясницкой улицы во времена Екатерины Великой были строения Тайной экспедиции. В 1801 г. эти здания передали Приказу общественного призрения. В 1833 г. в них разместились Московская духовная

консистерия с ее ценнейшим архивом. Ряд строений консистория использовала в качестве доходных домов, сдавая помещения под квартиры и торговые заведения.

[^^^]

100

...мосье Пироне... – владелец обувного магазина в Москве...

[^^^]

101

...от Боргеза или Айе... – фирмы, производившие мужскую верхнюю одежду.

[^^^]

102

Калибер – рессорные дрожки.

[^^^]

103

Целковый – серебряный рубль.

[^^^]

104

Трынка – копейка серебром.

[^^^]

105

Чертоломы – здесь: драчуны, дебоширы.

[^^^]

106

Кантонист – здесь: военнообязанный.

[^^^]

107

...сверкающее произведение Фульды... – Среди москвичей известностью пользовалась ювелирная фирма Ф. Л. Фульда, английского подданного. С 1820-х гг. в Москве его магазин располагался в доме М. Д. Засецкого на Рождественке.

[^^^]

108

«Я, донской казак, в тяжкий плен попал...» – казацкая песня XVIII в.

[^^^]

109

трепак – пляска с дробным топотом и мелким перебором ногами.

[^^^]

110

...к барину на сени взяли... – взяли в господский дом в качестве прислуги.

[^^^]

111

..по оброку угнали... – заставили отработать оброк, чтобы расплатиться с помещиком.

[^^^]

112

Жолниржи (пол.) – солдаты.

[^^^]

113

Семитка – две копейки серебром.

[^^^]

114

Чуйка – здесь: болван, глупец.

[^^^]

115

«Санкт-Петербургские ведомости» – газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1728–1917 гг. С 1800 г. – ежедневное издание. В 1863 г. редактором газеты стал либеральный деятель В. Ф. Корт, который привлек к работе в газете литераторов демократического толка, в том числе и А. И. Левитова.

[^^^]

«Голос» – Политическая и литературная газета, ежедневно выходившая в Петербурге в 1863–1884 гг.

[^^^]

...о таких общественных ранах я буду заявлять... о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегельянец фон Чичерин. – В 1835 г. увидел свет сборник Н. Ф. Павлова (1803–1864) «Три повести», куда вошли произведения «Именины», «Аукцион», «Ятаган». Они имели большой успех у широкого читателя, но были сразу же запрещены к переизданию. Б. Н. Чичерин (1828–1904) – историк, юрист, общественный деятель, в конце 1860-1870-х гг., покинув Московский университет, работал в тамбовском земстве. В своих исторических и политических работах выступал как идеолог монархического государства и «прусского»

пути развития капитализма в России, опирался на реакционные положения правого гегельянства.

[^^^]

118

Кобылятник – здесь: негодник, поганец. Изначально – пренебрежительное прозвище человека низкого звания, который от бедности вынужден питаться кониной. О таких говорили «рожден в навозе».

[^^^]

тротуарная тумба – каменные или чугунные тумбы, спасавшие пешеходов, если сани зимой заносило на тротуар. В теплое время года на постаментах этих сооружений сидели предлагавшие разный товар торговли, унылые нищие, подгулявшие мастеровые или притомившиеся от долгого пути обыватели.

[^^^]

Грачевка – квартал между Цветным бульваром и Трубной улицей, имевший в середине XIX – начале XX в. в Москве скандальную известность. Писатель М. А. Воронов так характеризовал этот городской район: «Это исконная усыпальница всевозможных бедняков, без различия пола и возраста... На каждой сотне шагов вы непременно встретите полсотни кабаков, пивных лавок, ренсковых погребов и тому подобных учреждений, в которых ежедневно пропиваются и проматывают-

ся, вместе с старыми сапогами и негодными рукавицами, десятки жизней и легионы всевозможных умов, совестей, рассудков и иных атрибутов человека!» (Цит. по: Романюк С. К. Из истории московских переулков. М., 1988. С. 229–230). Узкие переулки Грачевки – Головин, Соболевский, Пильников, Большой Коловский – были «сплошь заняты полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательно красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна занавешивались изнутри...» (Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 76).

[^^^]

121

Весенним страницам Фета... – Фет (наст, фамилия Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – русский поэт-лирик, прозаик, публицист, переводчик.

[^^^]

122

Игнатий Лойола – Дон Иньиго Лопес де Рекальдо Лойола (1491–1556) – основатель «Общества Иисуса», впоследствии получившего название ордена иезуитов.

[^^^]

123

..словами Федора в «Свадьбе Кречинского»: «Было, батюшки мои, много всего было, да быльем поросло!»... – имеется в виду монолог персонажа пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» Федора, камердинера Кречинского.

[^^^]

124

Бутада – фраза, сказанная в раздражении.

[^^^]

...мы были с ним беспомощны, как матросы в море, претерпевшие кораблекрушение... – Здесь Левитов описывает ситуацию, которая случилась с ним в реальной жизни. «Случайно пришлось ему встретиться с одним из бывших своих товарищей по семинарии: тот не только не оказал поддержки Левитову, но не позволил даже бесприютному переночевать в своей хорошей квартире» (Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятых годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 662).

[^^^]

126

«Придет сюда она, это милое создание...» – вольное переложение слов Дон Кихота из романа Мигеля де Сервантеса (1547–1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

[^^^]

127

Дульцинея – поэтическое имя, придуманное Дон Кихотом для трактирной служанки Альдонсы, избранной им в «дамы сердца». Здесь слово употреблено с ироничным оттенком в контексте: «возлюбленная».

[^^^]

Кронштадтский чай – некрепкий чай. О нем говорили: «Такой светлый, что Кронштадт видно из Петербурга». Так, хозяйка квартиры далее объясняет: «...Я какой пью? Чуть только желтеется».

[^^^]

...снабженный талейрановской головой... – здесь: необычайно умный, одаренный. Имя Шарля Мориса де Талейрана-Перигора (1754–1838), французского государственного деятеля, дипломата, министра иностранных дел Франции с 1797 г. по 1807 г., в XIX в. было нарицательным и означало «человек выдающихся способностей».

[^^^]

...жило очень много французов, рабочих с Нижегородской железной дороги. – В 1857 г. Главное общество Российских железных дорог получило подряд на строительство Московско-Нижегородской железной дороги. Под вывеской этой фирмы скрывалось акционерное предприятие с первоначальным капиталом в 275 млн руб., за спиной которого стоял парижский банк «Креди Мобилье». Совет управления имел два комитета – в Петербурге и в Париже. Строительные и технические работы были поручены управлению французского инженера Карла Колиньона, поставившего своих специалистов на все командные посты вплоть до кондукторов. В августе 1862 г. рельсовый путь от Москвы до Нижнего Новгорода был открыт.

[^^^]

131

...mille diables!.. Bar-r-bar-r-re! (фр.) – тысяча чертей!..Неотесанная!

[^^^]

132

Ventrebleu!..monstre! (фр.) – Толстуха!..уродина!

[^^^]

133

Bah! (фр.) – Вот как!

[^^^]

134

Fichtre! (фр.) – Черт возьми!

[^^^]

135

Messieurs, messieurs! (фр.) – Господа, господа!

[^^^]

136

...небось так-то и в Севастополе действовали! – речь идет о героической обороне Севастополя в 1856 г. в ходе Крымской войны 1853–1856 гг., когда России противостояла коалиция Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии.

[^^^]

137

Клуб – здесь: игорный клуб.

[^^^]

138

...украшенных красными драпри... – с красными занавесками на окнах.

[^^^]

139

Мурластый – с большой некрасивой физиономией, мордой.

[^^^]

140

Зелененькая – кредитный билет трехрублевого достоинства.

[^^^]

141

Абцуг – в картежной игре: перекладывание пары карт вправо или влево.

[^^^]

142

...Выбирая понтерку... – ставя куш на карту.

[^^^]

143

Полукафтанье – кафтан с укороченными полами.

[^^^]

144

...плисовая шапочка... – круглая шапочка из плиса, разновидности бархата с несколько большей длиной ворса, которую носили священники.

[^^^]

145

Ерники – мошенники, жулики, обманщики.

[^^^]

146

Пролетка – легкий открытый четырехколесный двухместный экипаж, преимущественно одноконный.

[^^^]

147

...героя a la russe (фр.) – героя «в русском стиле», русского молодца.

[^^^]

148

...Бафра – сорт крепких турецких папирос «Бафра».

[^^^]

149

Подпершись фертом – упершись обеими руками в бока.

[^^^]

150

Кредитка – денежная купюра.

[^^^]

151

Аркадское семейство – здесь: идиллическое семейство, состоящее из счастливых, беспечных людей.

[^^^]

152

...лечу к Пуаре учиться гимнастике... – В Москве на Неглинной улице, в длинном двухэтажном строении, принадлежавшем князьям Касаткиным-Ростовским, с середины XIX в. находилась школа гимнастики и фехтования, основанная французом Яковом Пуаре.

[^^^]

153

Бонвиван – человек, живущий в свое удовольствие (от французского выражения «bon vivant»).

[^^^]

154

Тукманка – тумак, тычок в голову костяшками пальцев.

[^^^]

155

«У черта на куличках, у сатаны на рогах» –
очень далеко.

[^^^]

156

...усастая ермолка... – усатый господин в круг-
лой еврейской шапочке.

[^^^]

157

Флигарь (искаж.) – флигель.

[^^^]

158

Гродетуровое платье – тяжелое платье из плотной тафты.

[^^^]

159

...в муштр... – здесь: на обучение.

[^^^]

160

Жантильомы (искаж.) – джентльмены.

[^^^]

161

Канашка – фамильярное обозначение женщины, выражающее одобрительную оценку или восхищение ее пикантной внешностью.

[^^^]

162

Кутейник – презрительное наименование причетников и вообще церковников.

[^^^]

163

Приказный – мелкий чиновник из земского суда.

[^^^]

164

Дюма – Александр Дюма-отец (1802–1870) – французский драматург, поэт, писатель, журналист. Самыми известными из его произведений являются исторические романы «Три мушкетера» (1844), «Граф Монте-Кристо» (1845), «Королева Марго» (1847).

[^^^]

«Графиня Монсоро» – роман Александра Дюма-отца (1846), где писатель воскрешает события второй половины XVI в. – эпохи религиозных войн и правления Генриха III, последнего короля династии Валуа. История трагической любви благородного графа де Бюсси и прекрасной Дианы де Монсоро разворачивается на фоне придворных интриг, политических заговоров и религиозных раздоров.

[^^^]

166

...времен покорения Очакова... – Взятие Очакова было одним из героических событий Крымской кампании 1788 г.

[^^^]

167

Графиня дю Барри – Мария-Жанна дю Барри (1743–1783) – фаворитка французского монарха Людовика XV.

[^^^]

168

...эти храбрые шевалье д'Артаньяны, благородные Атосы, меланхолические Арамисы... – персонажи романа А. Дюма-отца «Три мушкетера».

[^^^]

169

...point d'Alençon (фр.) – алансонское шитое кружево.

[^^^]

170

Граф де Бюсси – главный герой романа А. Дюма-отца «Графиня де Монсоро».

[^^^]

171

...comt'ы и comtess'ы (фр.) – графы и графини.

[^^^]

172

Сабинки – сабинянки. Племя сабинов в древности обитало в центральной Италии. Согласно легенде, в Риме в первые годы после его основания Ромулом проживало очень мало женщин. Ромул устроил празднество, на которое пригласил сабинянок вместе с их семьями. Во время торжеств римляне похитили девушек. Это послужило поводом к войне. Когда же началось сражение, сабинянки бросились к воинам и прекратили кровопролитие.

[^^^]

173

...quelle cochonnerie! (фр.) – какое свинство!

[^^^]

174

«Смесь французского с нижегородским» – цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[^^^]

175

Жуир – гуляка (от фр. jouir – наслаждаться).

[^^^]

176

Дон Жуан – герой многих произведений литературы и искусства. Образ рыцаря-сластолюбца, нарушителя моральных и религиозных норм, посвятившего жизнь поискам чувственных наслаждений; создан средневековой легендой. Одна из первых литературных обработок: пьеса испанского драматурга Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость» (1630); его Дон Жуан, тщеславный соблазнитель женщин, оказался столь социально типичным, что привлек внимание многих писателей, музыкантов, художников. Обличительной антифеодальной сатирой прозвучала комедия Мольера «Дон Жуан, или Каменный пир» (1665). Герой оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан» (1787, либретто Л. да Понте) – своевольный мечтатель, искатель веч-

ной женственности. Это толкование развивали в XIX в. писатели-романтики (Э. Т. А. Гофман, А. Мюссе и др.). У Дж. Байрона (поэма «Дон Жуан», 1819–1823) Дон Жуан не столько ветреный жизнелюбец, сколько бунтарь во имя свободы личности. В трактовке А. С. Пушкина («Каменный гость», 1830) – это эгоист, попирающий человеческие законы и потому обреченный на гибель (Нусинов И. М. История литературного героя. М., 1958).

[^^^]

177

Шевалье де Мезон-Руж – герой одноименного романа А. Дюма-отца, написанного им в 1846 г. и посвященного событиям Великой французской революции.

[^^^]

...ma chere (фр.) – моя дорогая.

[^^^]

...он был неотличим от маршала Симона в известном «Вечном жиде». – Речь идет о герое романа французского писателя Эжена Сю «Вечный жид» (1844–1845). Автор так представляет бравого военного: «Маршал Пьер Симон, герцог де Линьи, был человек высокого роста, скромно одетый в синий сюртук, наглухо застегнутый, с красной ленточкой в петлице. Трудно было представить себе более честную, более открытую, более рыцарскую внешность; у него были широкий лоб, орлиный нос, твердо очерченный подбородок и загорелое под солнцем Индии лицо. В коротко остриженных волосах около висков пробивалась седина, но густые брови и пушистые длинные усы были совсем еще черные. Свободная смелая походка и резкие движения

свидетельствовали о горячем, воинственном нраве».

[^^^]

180

Comment ça va, топ colonel? (фр.) – Как дела, полковник?

[^^^]

181

acristi! (фр.). – Господи!

[^^^]

182

Позитивист – последователь позитивизма, учения, объявляющего единственным источником истинного знания эмпирические науки.

[^^^]

183

Расплюев – центральный персонаж пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854) и герой комедии-шутки «Смерть Тарелкина» (1869, сцен. назв. «Расплюевские веселые дни» – 1900). Социальная сущность этого героя была столь значительна, что Расплюев на долгие годы стал именем нарицательным. Историк Н. И. Костомаров говорил студентам университета: «Вы, господа, начинаете свое поприще Репетилковыми, а окончите его Расплюевыми». Мелкий шулер, вор, проходимец, готовый в любой момент залезть в чужой карман, он не столько смешон и жалок, сколько страшен. Казалось бы, Расплюеву на-

до сочувствовать: это – неудачник, которого сопровождают вечная нищета, побои, голод, унижения, жизнь «по коморкам и лазейкам», необходимость таскать в «гнездо птенцам» пищу. Между тем Расплюев – человек без морали и принципов, трусливый циник, не имеющий привязанностей, свободный от совести (Гроссман Л. Театр Сухова-Кобылина. М.; Л., 1940; Рудницкий К.Л. В. А. Сухова-Кобылин. М., 1957).

[^^^]

184

Дока – профессионал, мастер своего дела.

[^^^]

185

Лепорелло – персонаж трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость», слуга Дона Гуана.

[^^^]

186

Казенная палата – орган Министерства финансов, учрежденный в губерниях России в 1775 г. Вначале казенные палаты ведали государственными имуществами и строительной частью, а со 2-й половины XIX в. – счетоводством и отчетностью в губернских и уездных казначействах.

[^^^]

187

o beau mond'e (фр.) – о высшем свете.

[^^^]

188

Von jour, madame la comtesse! (фр.) – Доброе утро, госпожа графиня!

[^^^]

189

невообразимо патентованный – здесь: невообразимо роскошный.

[^^^]

...полковника и приятного господина называют еще камелиями в кепи. – Подразумевается, что молодой мужчина находится на содержании у своего пожилого благодетеля и оказывает ему услуги интимного свойства. «Камелиями» в России XIX в. называли женщин легкого поведения. Термин появился после выхода в свет романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848) о любви, жизни и гибели парижской куртизанки Маргариты Готье, прототипом которой явилась Альфонсина Плесси.

[^^^]

191

«Людская молвь и конский топот...» – Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

192

...кавалер из палочной академии... – переживший все тяготы военной службы в период 1808–1825 гг., когда граф А. А. Аракчеев активно восстанавливал дисциплину в армии, жестоко наказывая нерадивых солдат и офицеров, и позже при Николае I.

[^^^]

Марьи́на слободка – деревушка в пригороде Москвы, расположенная за Крестовской заставой, рядом с Марьиной Рощей. Знаток московской старины С. М. Любецкий сообщал в 1877 г., что еще недавно «хибарки марьинские окружены были душистыми белоствольными березами и кудрявыми палисадниками, находившимися у каждой избы». «В настоящее время, – замечал он, – она стоит обнаженная, на солнцепеке; кое-где около нее высятся тощие березки, рябинник и запыленные акации, а сзади пролегает Николаевская железная дорога, оглашаемая пронзительными свистками и пыхтением огнедышащих паровозов» (Любецкий СМ. Московские окрестности ближние и дальние, за всеми заставами, в историческом отношении и в современном их виде для выбора дач и гулянья. М., 2006. С. 40–41).

[^^^]

194

Хорей – двухсложный стихотворный размер, стопа которого содержит долгий и следующий за ним краткий, или ударный, и следующий за ним безударный слоги. В данном случае речь идет о незамысловатых куплетах, исполняемых под аккомпанемент гармонии.

[^^^]

195

Руже – французское красное вино фирмы «Les Rougeots».

[^^^]

...урезавший... до ризположения... – в крайней степени опьянения, напившийся до беспамятства.

[^^^]

..окромья Егория... – кроме знака отличия Военного ордена Св. Георгия. В 1807 г. Александр I «для поощрения храбрости и мужества» ввел знак отличия Военного ордена – серебряный Георгиевский крест, имевший только одну степень и носившийся на оранжево-черной «георгиевской» ленте. Награжденные солдаты, унтер-офицеры и матросы – их было более 113 тыс. – лишь числились при ордене Св. Георгия. В 1856 г. было учреждено четыре степени знака отличия Военного ордена: первая и вторая – золотые кресты, третья и четвертая – серебряные. «Полный бант» солдатских «Георгиев» имели немногие, а всего различными степенями Георгиевского крест-

ста было отмечено более 180 тыс. человек.

[^^^]

198

«Подвязавши под мышки передник...» – цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

[^^^]

199

И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди! – строки из стихотворения «Когда из мрака заблужденья...» Н. А. Некрасова.

[^^^]

Поронцы – порка.

[^^^]

Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце... Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля, о котором сказал еще Шамиссо... – имеется в виду герой романа немецкого писателя Адельберта Шамиссо (1781–1838) «Удивительная история Петра Шлемиля», который продал дьяволу свою тень, т. е. душу, и стал отверженным среди людей.

[^^^]

202

Островский – Александр Николаевич Островский (1823–1886), писатель, драматург, театральный деятель.

[^^^]

203

Vanitas vanitatum et omnia vanitas! (лат.) – Суета сует, и все суета!

[^^^]

204

...из-пид Пилтавы... – здесь: из Малороссии.

[^^^]

205

«Парижские тайны» – роман французского писателя Мари Жозефа Эжена Сю, увидевший свет в 1843 г.

[^^^]

206

Принц Рудольф Герольштейн – главный герой романа «Парижские тайны», благородно заступившийся за гризетку на улице Парижа.

[^^^]

207

Шуринер – персонаж романа «Парижские тайны», бывший каторжник.

[^^^]

208

Глунов – место действия повести М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».

[^^^]

209

Эжен Сю – автор романа «Парижские тайны».

[^^^]

210

Хохландия – Малороссия.

[^^^]

211

Иверская Божия Мать – здесь: часовня у Воскресенских ворот, где находится икона Иверской Божией Матери.

[^^^]

212

...вытаскивает серебряную луковицу... – вынимает серебряные карманные часы.

[^^^]

213

...с Горот'ами, Париж'ами и Аршавами... – московские рестораны.

[^^^]

214

«Ведомости Московской городской полиции» – официальная газета, выходившая в Москве с 1848 по 1917 г. В издании публиковались постановления городских властей, казенные объявления, а также обозрения культурной жизни города и сводки происшествий.

[^^^]

215

..et cetera (лат.) – и так далее.

[^^^]

216

«О прикладах, како пишутся кумплименты разные» – Имеется в виду книга «Приклады како пишутся комплименты разные», изданная в Москве в 1708 г. на немецком языке.

[^^^]

217

Asinus asinum fricat (лат.) – Осел трется об осле.

[^^^]

218

Лафит – сорт красного виноградного вина.

[^^^]

219

«Вдоль да по речке, вдоль по Казанке» – русская народная песня.

[^^^]

220

Гопак – национальный украинский танец.

[^^^]

221

«Черевикам, що купила, лыхо трепку за-
дам...» – украинская народная песня.

[^^^]

222

Джон Франклин (1786–1847) – английский полярный исследователь, морской офицер. В 1845 г. возглавил экспедицию на судах «Эребус» и «Террор» для поиска северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Поход закончился гибелью всех его участников в районе Земли Принца Уэльского.

[^^^]

223

Ходынка – Ходынское поле. С конца XVIII в. эта местность на окраине Москвы использовалась для проведения торжественных празднеств, народных гуляний и коронационных массовых шествий.

[^^^]

224

Вельзевул – В Новом Завете – «князь бесовский», Сатана.

[^^^]

225

«Миллион» – повесть писателя-разночинца
Н. Ф. Павлова.

[^^^]

226

Фатера (искаж.) – квартира.

[^^^]

227

Онамедни – на днях.

[^^^]

228

...нафабранные, так называемые «разусы»... – усы, намазанные фабрикой (нем. Farbe – краска для волос) для придания им лоска и жесткости.

[^^^]

229

Гольтяпа – беднота, городская голь.

[^^^]

230

...заварили хлебово... – «заварили кашу», затем хлопотливое дело.

[^^^]

231

...с фордеком... – со складным подъемным верхом.

[^^^]

232

...барынь... вольного обращения... – барынь легкого поведения, гулящих.

[^^^]

233

Глясе – шелковая материя, которая отликает то одним, то другим цветом.

[^^^]

234

Банжур (искаж.) – Приветствую!

[^^^]

235

Причт – состав лиц, служащих при церкви.

[^^^]

236

... чисто немецкий – западный, европейский.

[^^^]

237

Чуйка – здесь: длинный суконный кафтан, армяк прямого покроя.

[^^^]

238

...нежинские корешки... – смесь трубочного табака с травами.

[^^^]

239

...игольчатая октава... – здесь: одетый «с иголочки» кучер, ожидающий своего хозяина.

[^^^]

240

О, руссиш швейн! – О, русская свинья! (нем.)

[^^^]

241

...для блезиру... – ради шика, напоказ.

[^^^]

242

Одалиска – наложница, состоящая в гареме султана.

[^^^]

243

...гордые барские дома, выстроенные про себя... – особняки.

[^^^]

244

...аван суаре... – искаженное французское выражение «l'avant-soirée», что значит «под вечер», т. е. до званого обеда.

[^^^]

245

Забулдыга – беспутный, гуляка, пьяница, пропойца.

[^^^]

246

«Через черную грязь перепелицей...» – слова из русской народной песни «Во горнице, во светлице...».

[^^^]

Гарибальди – Джузеппе Гарибальди (1807–1882). Народный герой Италии, участник итальянской революции 1848–1849 гг., организатор обороны Римской республики в 1849 г. В 1848, 1859 и 1866 гг. во главе добровольческого отряда участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860 г. возглавил поход патриотов – «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу итальянской революции в 1859–1860 гг. Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. сражался добровольцем на стороне Франции.

[^^^]

248

«Развлечение» – литературный и юмористический журнал, выходивший в Москве в 1859–1918 гг.

[^^^]

249

...на железку... – здесь: на вокзал, в поездку по железной дороге.

[^^^]

250

Пятиалтынный – монета в 15 коп.

[^^^]

251

Четвертак – четверть рубля, 25 коп.

[^^^]

252

А то захотел дом без Троицы строить... – Имеется в виду пословица «Без Троицы дом не строится», употреблявшаяся в контексте «Бог Троицу любит».

[^^^]

253

Фанаберия – спесь, надменность.

[^^^]

254

Ажитированные – разгоряченные, возбужденные.

[^^^]

255

Осовел – одурел, впал в полубморочное состояние.

[^^^]

256

«Калинушку с малинушкой» – русская народная песня «Калинушку с малинушкой вода поняла, на ту пору матушка меня родила...»

[^^^]

257

«Камаринская» – русская плясовая песня.

[^^^]

258

...волшебница Добрада... – добрая вещунья из сказки В. А. Жуковского «Три пояса», действие в которой происходит во времена правления князя Владимира.

[^^^]

259

Любим Торцов – герой пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853, первонач. назв. «Гордым бог противится»).

[^^^]

260

«С пальцем девять, с огурцом – пятнадцать!» – Выражение, употребленное Любимом Торцовым, героем пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок», взято из лексикона уличных парикмахеров, приглашавших к себе клиентов словами: «Наше вам с кисточкой, с пальцем – девять, с огурцом – пятнадцать». Это означало, что бритье будет производиться с мылом и что при оттягивании щеки пальцем, засунутым в рот клиента, цена бритья будет девять грошей, а при употреблении для этой же цели огурца – пятнадцать.

[^^^]

261

Кацавейка – распашная короткая кофта, подбитая и отороченная мехом.

[^^^]

262

Почеломкаемся – поцелуемся.

[^^^]

263

Раб неключимый – раб Божий.

[^^^]

264

...непостижимо-бойкий и умный перебор «Барыни»... – русской народной песни «Барыня ты моя».

[^^^]

265

«Я птичкой быть желаю» – романс малоизвестного композитора Массловского «Я птичкой быть желаю, всегда чтобы летать...», сочиненный в 1791 г.

[^^^]

266

«Незабудочка-цветочек» – имеется в виду романс Г. А. Хованского «Незабудочка» (1796), написанный в традициях русской народной песни.

[^^^]

267

Царство благодати – согласно Библии, духовное Царство. Иисус Христос сказал Понтию Пилату: «Оно существует теперь, и мы можем во всякое время приходить к престолу благодати со своими нуждами и прошениями».

[^^^]

268

Третьеводни – позавчера.

[^^^]

269

...в три жилы гони... – гони изо всех сил.

[^^^]

270

...только и видно было, как засеребрился «морозной пылью его бобровый воротник» – неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

271

Греч – Николай Иванович Греч (1787–1867), журналист, издатель, беллетрист, переводчик.

[^^^]

272

Писемский – Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881), писатель. В 1877 г. вышел его роман «Мещане», рисующий нравы городских низов.

[^^^]

273

Шимовка – род жакета.

[^^^]

274

..ГВОЗДЬ ДВУХТЕСНЫЙ... – гвоздь, длина которого соответствовала толщине двух тесин (двух досок теса).

[^^^]

275

Зауряд – здесь: заодно.

[^^^]

Нанка – грубая хлопчатобумажная ткань желтоватого цвета.

[^^^]

«...будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, башни, огороды, купцы, лачужки, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах...» – цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

278

«Милые горы, к вам возвратился!» – слова арии цыганки Азученны из оперы Дж. Верди «Трубадур».

[^^^]

279

Жамки – мятные пряники.

[^^^]

280

Легонькое – начинка пирога из легкого.

[^^^]

281

«Италия» – ресторан в центре Москвы на Петровских линиях.

[^^^]

282

Головица – здесь: выдающийся человек, личность.

[^^^]

283

...«в самую плипорцию»... – в самый раз.

[^^^]

284

«Ради гостя, ради друга...» – строки из русской народной песни «Возле речки, возле мосту...».

[^^^]

285

Пехтура – пехота.

[^^^]

286

...сорока сороков... – все московские храмы.

[^^^]

287

Очищенная – водка.

[^^^]

288

...похерил... – уничтожил.

[^^^]

289

Медяница – безногая змеевидная ящерица.

[^^^]

290

Суконные бани – общедоступные бани у Каменного моста в Москве.

[^^^]

291

Иов я в жизни моей, как есть Иов. – Святой Иов Многострадальный почитается Русской православной церковью как пример смирения и праведности.

[^^^]

Шустров трактир – трактир на углу ул. Остоженки и 1-го Зачатьевского пер. В. А. Гиляровский писал о нем: «В первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий, простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик,

что в нем помещалось больше ста столов и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут». (Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 293).

[^^^]

293

Скимны – молодые львы, о которых в Ветхом Завете сказано: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе».

[^^^]

294

Фуляр – легкая шелковая ткань.

[^^^]

295

Дербанул – ударил.

[^^^]

296

Фешионебль – здесь: аристократ.

[^^^]

...мейн гер!... – мой господин (нем.).

[^^^]

[^^^]